ЭДГАР АЛЛАН ПО

ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ

The Fall of the House of Usher



Падение дома Ашеров (сборник)
Эдгар Аллан По

Аннотация
Эдгар Аллан По. Падение дома Ашеров (сборник)
Метценгерштейн
Рукопись, найденная в бутылке
Береника
Король Чума. Рассказ, содержащий аллегорию
Морелла
Лигейя
Падение Дома Ашеров
Черт на колокольне
Низвержение в Мальстрем
Убийство на улице Морг
Золотой жук
Колодец и маятник
Маска Красной Смерти
Тайна Мари Роже. (Дополнение к «Убийству на улице Морг»)
Сердце-обличитель
Черный кот
Заживо погребенные
Похищенное письмо
Овальный портрет

Аннотация

Эдгар Аллан По не нуждается в особенном представлении. Прозаик, поэт, литературный кри тик, этот человек навсегда вписал свое имя в зал славы мировой литературы. Создатель формы современного детектива, «отец современной психологической прозы», «певец темных сторон человеческой природы», способствовавший формированию и развитию научной фантастики и предвосхитивший литературу декаданса. По мнению исследователей его творчества, По окончательно завершил формирование не только американской, но и мировой новеллистики и у него больше общего с деятелями культуры XXI века, чем с современниками.

Эдгар Аллан По
Падение дома Ашеров (сборник)

© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

Метценгерштейн[1]

Pestis eram vivus – moriens tua mors ero[2].

Мартин Лютер

Ужас и рок преследовали человека извечно. Зачем же в таком случае уточнять, когда именно сбылось то пророчество, к которому я обращаюсь? Достаточно будет сказать, что в ту пору, о которой пойдет речь, в самых недрах Венгрии еще жива и крепка была вера в откровения и таинства учения о переселении душ. О самих этих откровениях и таинствах, заслуживают ли они доверия или ложны, умолчу. Полагаю, однако, что недоверчивость наша (как говаривал Лабрюйер обо всех наших несчастьях, вместе взятых) в значительной мере «vient de ne pouvoir

---

[1] Сноски: 1

© Перевод. В. Неделин, наследники, 2002

[2] Сноски: 2

При жизни был для тебя несчастьем; умирая, буду твоей смертью *(лат.)*.

être seule».[3]

Но в некоторых своих представлениях венгерская мистика придерживалась крайностей, почти уже абсурдных. Они, венгры, весьма существенно отличались от своих властителей с востока. И они, например, утверждали: «Душа (привожу дословно сказанное одним умнейшим и очень глубоким парижанином) ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste — un cheval, un chien, un homme même, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux»[4].

Распря между домами Берлифитцингов и Метценгерштейнов исчисляла свою давность веками. Никогда еще два рода столь же именитых не враждовали так люто и непримиримо. Первопричину этой вражды искать, кажется, следовало в словах одного древнего прорицания: «Страшен будет закат высокого имени, когда,

---

[3] Сноски: 3

Проистекает от того, что мы не умеем быть одни *(фр.).*

Учение о метампсихозе решительно поддерживает Мерсье в «L'an deux mille quatre cent quarante», а И. Дизраэли говорит, что «нет ни одной другой системы, столь же простой и восприятию которой наше сознание противилось бы так же слабо». Говорят, что ревностным поборником идеи метампсихоза был и полковник Итен Аллен, один из «ребят с Зеленой горы». — *Примеч. авт.*

[4] Сноски: 4

Лишь один раз вселяется в живое пристанище, будь то лошадь, собака, даже человек, впрочем, разница между ними не так уж велика *(фр.).*

подобно всаднику над конем, смертность Метценгерштейна восторжествует над бессмертием Берлифитцинга».

Конечно, сами по себе слова эти маловразумительны, если не бессмысленны вообще. Но ведь событиям столь же бурным случалось разыгрываться, и притом еще на нашей памяти, и от причин, куда более ничтожных. Кроме же всего прочего смежность имений порождала раздоры, отражавшиеся и на государственной политике. Более того, близкие соседи редко бывают друзьями, а обитатели замка Берлифитцинг могли с бойниц своей твердыни смотреть прямо в окна дворца Метценгерштейн. Подобное же лицезрение неслыханной у обычных феодалов роскоши меньше всего могло способствовать умиротворению менее родовитых и менее богатых Берлифитцингов. Стоит ли удивляться, что при всей нелепости старого предсказания из-за него все же разгорелась неугасимая вражда между двумя родами, и без того всячески подстрекаемыми застарелым соперничеством и ненавистью. Пророчество это, если принимать его хоть сколько-нибудь всерьез, казалось залогом конечного торжества дома и так более могущественного, и, само собой, при мысли о нем слабейший и менее

влиятельный бесновался все более злобно.

Вильгельм, граф Берлифитцинг, при всей его высокородности, был к тому времени, о котором идет наш рассказ, немощным, совершенно впавшим в детство старцем, не примечательным ровно ничем, кроме безудержной, закоснелой ненависти к каждому из враждебного семейства, да разве тем еще, что был столь завзятым лошадником и так помешан на охоте, что при всей его дряхлости, преклонном возрасте и старческом слабоумии у него, бывало, что ни день, то снова лов.

Фредерик же, барон Метценгерштейн, еще даже не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер совсем молодым. Мать, леди Мари, ненадолго пережила супруга. Фредерику в ту пору шел восемнадцатый год. В городах восемнадцать лет — еще не возраст; но в дремучей глуши, в таких царственных дебрях, как их старое княжество, каждый взмах маятника куда полновесней.

В силу особых условий, оговоренных в духовной отцом, юный барон вступал во владение всем своим несметным богатством сразу же после кончины последнего. До него мало кому из венгерской знати доставались такие угодья. Замкам его не было счета. Но все их затмевал своей

роскошью и грандиозностью размеров дворец Метценгерштейн. Угодья его были немерены, и одна только граница дворцового парка тянулась целые пятьдесят миль, прежде чем замкнуться.

После вступления во владение таким баснословным состоянием господина столь юного и личности столь заметной недолго пришлось гадать насчет того, как он проявит себя. И верно, не прошло и трех дней, как наследник переиродил самого царя Ирода и положительно посрамил расчеты самых загрубелых из своих видавших виды холопов. Гнусные бесчинства, ужасающее вероломство, неслыханные расправы очень скоро убедили его трепещущих вассалов, что никаким раболепством его не умилостивишь, а совести от него и не жди, и, стало быть, не может быть ни малейшей уверенности, что не попадешь в безжалостные когти местного Калигулы. На четвертую ночь запылали конюшни в замке Берлифитцинг, и стоустая молва по всей округе прибавила к страшному и без того списку преступлений и бесчинств барона еще и поджог.

Но пока длился переполох, поднятый этим несчастьем, сам юный вельможа сидел, видимо, весь уйдя в свои думы, в огромном, пустынном верхнем зале дворца Метценгерштейн. Бесцен-

ные, хотя и выцветшие от времени гобелены, хмуро смотревшие со стен, запечатлели темные, величественные лики доброй тысячи славных предков. Здесь прелаты в горностаевых мантиях и епископских митрах по-родственному держали совет с всесильным временщиком и сувереном о том, как не давать воли очередному королю, или именем папского всемогущества отражали скипетр сатанинской власти. Там высокие темные фигуры князей Метценгерштейн на могучих боевых конях, скачущих по телам поверженных врагов, нагоняли своей злобной выразительностью страх на человека с самыми крепкими нервами; а здесь обольстительные фигуры дам невозвратных дней лебедями проплывали в хороводе какого-то неземного танца, и его напев, казалось, так и звучит в ушах.

Но пока барон прислушивался или старался прислушаться к оглушительному гаму в конюшнях Берлифитцинга или, может быть, замышлял уже какое-нибудь бесчинство поновей и еще отчаянней, взгляд его невзначай обратился к гобелену с изображением огромного коня диковинной масти, принадлежавшего некогда сарацинскому предку враждебного рода. Конь стоял на переднем плане, замерев, как статуя,

а чуть поодаль умирал его хозяин, заколотый кинжалом одного из Метценгерштейнов.

Когда Фредерик сообразил, наконец, на что невольно, сам собой обратился его рассеянный взгляд, губы его исказила дьявольская гримаса. Но оцепенение не прошло. Напротив, он и сам не мог понять, что за неодолимая тревога застилает, словно пеленой, все, что он видит и слышит. И нелегко ему было примирить свои дремотные, бессвязные мысли с сознанием, что все это творится с ним не во сне, а наяву. Чем больше присматривался он к этой сцене, тем невероятней казалось, что ему вообще удастся оторвать от нее глаза — так велика была притягательная сила картины. Но шум за стенами дворца вдруг стал еще сильней, и когда он с нечеловеческим усилием заставил себя оторваться от картины, то увидел багровые отблески, которые горящие конюшни отбрасывали в окна дворцового зала.

Но, отвлекшись было на миг, его завороженный взгляд сразу послушно вернулся к той же стене. К его неописуемому изумлению и ужасу, голова коня-великана успела тем временем изменить свое положение. Шея коня, прежде выгнутая дугой, когда он, словно скорбя, склонял голову над простертым телом своего повелителя, теперь

вытянулась во всю длину по направлению к барону. Глаза, которых прежде не было видно, смотрели теперь настойчиво, совсем как человеческие, пылая невиданным кровавым огнем, а пасть разъяренной лошади вся ощерилась, скаля жуткие, как у мертвеца, зубы.

Пораженный ужасом, барон неверным шагом устремился к выходу. Едва только он распахнул дверь, ослепительный красный свет, сразу заливший весь зал, отбросил резкую, точно очерченную тень барона прямо на заколыхавшийся гобелен, и он содрогнулся, заметив, что тень его в тот миг, когда он замешкался на пороге, в точности совпала с контуром безжалостного, ликующего убийцы, сразившего сарацина Берлифитцинга.

Чтобы рассеяться, барон поспешил на свежий воздух. У главных ворот он столкнулся с тремя конюхами. Выбиваясь из сил, несмотря на смертельную опасность, они удерживали яростно вырывающегося коня огненно-рыжей масти.

— Чья лошадь? Откуда? — спросил юноша резким, но вдруг сразу охрипшим голосом, ибо его тут же осенило, что это бешеное животное перед ним — живой двойник загадочного скакуна в гобеленовом зале.

— Она ваша, господин, — отвечал один из конюхов, — во всяком случае, другого владельца пока не объявилось. Мы переняли ее, когда она вылетела из горящих конюшен в замке Берлифитцинг — вся взмыленная, словно взбесилась. Решив, что это конь из выводных скакунов с графского завода, мы отвели было его назад. Но тамошние конюхи говорят, что у них никогда не было ничего похожего, и это совершенно непонятно — ведь он чудом уцелел от огня.

— Отчетливо видны еще и буквы «В. Ф. Б.», выжженные на лбу, — вмешался второй конюх, — я решил, что они безусловно обозначают имя: «Вильгельм фон Берлифитцинг», но все в замке в один голос уверяют, что лошадь не их.

— Весьма странно! — заметил барон рассеянно, явно думая о чем-то другом. — А лошадь действительно великолепна, чудо что за конь! Хотя, как ты правильно заметил, норовиста, с такой шутки плохи; что ж, ладно, — беру, — прибавил он, помолчав, — такому ли наезднику, как Фредерик Метценгерштейн, не объездить хоть самого черта с конюшен Берлифитцинга!

— Вы ошибаетесь, господин; лошадь, как мы, помнится, уже докладывали, не из графских конюшен. Будь оно так, уж мы свое дело знаем и не

допустили бы такой оплошности, не рискнули бы показаться с ней на глаза никому из благородных представителей вашего семейства.

— Да, конечно, — сухо обронил барон, и в тот же самый миг к нему, весь красный от волнения, подлетел слуга, примчавшийся со всех ног из дворца. Он зашептал на ухо господину, что заметил исчезновение куска гобелена. И принялся сообщать какие-то подробности, но говорил так тихо, что изнывающие от любопытства конюхи не расслышали ни слова.

В душе у барона, пока ему докладывали, казалось, царила полнейшая сумятица. Скоро он, однако, овладел собой; на лице его появилось выражение злобной решимости, и он распорядился сейчас же запереть зал, а ключ передать ему в собственные руки.

— Вы уже слышали о жалком конце старого охотника Берлифитцинга? — спросил кто-то из вассалов, когда слуга скрылся, а огромного скакуна, которого наш вельможа только что приобщил к своей собственности, уже вели, беснующегося и рвущегося, по длинной аллее от дворца к конюшням.

— Нет! — отозвался барон, резко повернувшись к спросившему. — Умер? Да что вы говорите!

— Это так, ваша милость, и для главы вашего семейства это, по-моему, не самая печальная весть.

Мимолетная улыбка скользнула по губам барона.

— И как же он умер?

— Он бросился спасать своих любимцев из охотничьего выезда и сам сгорел.

— В са-мом де-ле! — протянул барон, который, казалось, медленно, но верно проникался сознанием правильности какой-то своей догадки.

— В самом деле, — повторил вассал.

— Прискорбно! — сказал юноша с полным равнодушием и не спеша повернул во дворец.

С того самого дня беспутного юного барона Фредерика фон Метценгерштейна словно подменили. Правда, его теперешний образ жизни вызывал заметное разочарование многих хитроумных маменек, но еще меньше его новые замашки вязались с понятиями аристократических соседей. Он не показывался за пределами своих владений, и на всем белом свете не было у него теперь ни друга, ни приятеля, если, правда, не считать той непонятной, неукротимой огненно-рыжей лошади, на которой он теперь разъезжал постоянно и которая, единственная, по какому-то загадочному праву именовалась

его другом.

Однако еще долгое время бесчисленные приглашения от соседей сыпались ежедневно. «Не окажет ли барон нашему празднику честь своим посещением?...», «Не соизволит ли барон принять участие в охоте на кабана?». «Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не прибудет», — был высокомерный и краткий ответ.

Для заносчивой знати эти бесконечные оскорбления были нестерпимы. Приглашения потеряли сердечность, становились все реже, а со временем прекратились совсем. По слухам, вдова злополучного графа Берлифитцинга высказала даже уверенность, что «барон, видимо, отсиживается дома, когда у него нет к тому ни малейшей охоты, так как считает общество равных ниже своего достоинства; и ездит верхом, когда ему совсем не до езды, так как предпочитает водить компанию с лошадью». Это, разумеется, всего лишь нелепый образчик вошедшего в семейный обычай злословия, и только то и доказывает, какой бессмыслицей могут обернуться наши слова, когда нам неймется высказаться повыразительней.

Люди же более снисходительные объясняли внезапную перемену в поведении молодого вельможи естественным горем безвременно

осиротевшего сына, забыв, однако, что его зверства и распутство начались чуть ли не сразу же после этой утраты. Были, конечно, и такие, кто высказывал, не обинуясь, мысль о самомнении и надменности. А были еще и такие — среди них не мешает упомянуть домашнего врача Метценгерштейнов, — кто с полным убеждением говорил о черной меланхолии и нездоровой наследственности; среди черни же в ходу были неясные догадки еще более нелестного толка.

Действительно, ни с чем не сообразное пристрастие барона к его новому коню, пристрастие, которое словно бы переходило уже в одержимость от каждого нового проявления дикости и дьявольской свирепости животного, стало в конце концов представляться людям благоразумным каким-то чудовищным и совершенно противоестественным извращением. В полуденный зной или в глухую ночную пору, здоровый ли, больной, при ясной погоде или в бурю, юный Метценгерштейн, казалось, был прикован к седлу этой огромной лошади, чья безудержная смелость была так под стать его нраву.

Были также обстоятельства, которые вкупе с недавними событиями придавали этой мании наездника и невиданной мощи коня какой-то

мистический, зловещий смысл. Замерив аккуратнейшим образом скачок лошади, установили, что действительная его длина превосходит самые невероятные предположения людей с самым необузданным воображением настолько, что разница эта просто не укладывается в уме. Да к тому же еще барон держал коня, так и не дав ему ни имени, ни прозвища, а ведь все его лошади до единой носили каждая свою и всегда меткую кличку. Конюшня ему тоже была отведена особая, поодаль от общих; а что же касается ухода за конем, то ведь никто, кроме самого хозяина, не рискнул бы не то что подступиться к коню, а хотя бы войти к нему в станок, за ограду. Не осталось без внимания также и то обстоятельство, что перенять-то его, когда он вырывался с пожарища у Берлифитцинга, трое конюхов переняли, обратав его арканом и цепною уздою, но ни один из них не мог сказать, не покривив душой, что во время отчаянной схватки или после ему удалось хотя бы тронуть зверя. Не стоит приводить в доказательство поразительного ума, проявленного благородным и неприступным животным, примеры, тешившие праздное любопытство. Но были и такие подробности, от которых становилось не по себе самым отъявленным скептикам и людям,

которых ничем не проймешь; и рассказывали, будто временами лошадь начинала бить землю копытом с такой зловещей внушительностью, что толпа зевак, собравшихся вокруг поглазеть, в ужасе кидалась прочь, — будто тогда и сам юный Метценгерштейн бледнел и шарахался от быстрого, пытливого взгляда ее человечьих глаз.

Однако из всей челяди барона не было никого, кто усомнился бы в искренности восхищения молодого вельможи бешеным нравом диковинного коня, — таких не водилось, разве что убогий уродец паж, служивший общим посмешищем и мнения которого никто бы и слушать не стал. Он же (если его догадки заслуживают упоминания хотя бы мимоходом) имел наглость утверждать, будто хозяин, хотя это и не всякому заметно со стороны, каждый раз, вскакивая в седло, весь дрожит от безотчетного ужаса, а после обычной долгой проскачки возвращается каждый раз с лицом, перекошенным от злобного ликования.

Однажды, ненастной ночью, пробудившись от глубокого сна, Метценгерштейн с упорством маньяка вышел из спальни и, стремительно вскочив в седло, поскакал в дремучую лесную чащу. Это было делом настолько привычным, что никто и не обратил на отъезд барона осо-

бого внимания, но домочадцы всполошились, когда через несколько часов, в его отсутствие высокие, могучие зубчатые стены твердыни Метценгерштейнов вдруг начали давать трещины и рушиться до основания под напором могучей лавины синевато-багрового огня, справиться с которым нечего было и думать.

Так как пожар заметили, когда пламя успело разгореться уже настолько, что отстоять от огня хотя бы малую часть здания было уже делом явно безнадежным, то пораженным соседям оставалось лишь безучастно стоять кругом в немом, если не сказать благоговейном изумлении. Но вскоре новое страшное явление заставило все это сборище тут же забыть о пожаре, засвидетельствовав тем самым, насколько увлекательней для толпы вид человеческих страданий, чем самые захватывающие зрелища разгула стихий.

В дальнем конце длинной аллеи вековых дубов, которая вела из леса к парадному подъезду дворца Метценгерштейн, показался скакун, мчащий всадника с непокрытой головой и в растерзанной одежде таким бешеным галопом, что за ним не угнаться бы и самому Князю Тьмы.

Лошадь несла, уже явно не слушаясь всадника. Искаженное мукой лицо, сведенное судорогой те-

ло говорили о нечеловеческом напряжении всех сил; но кроме одного-единственного короткого вскрика ни звука не сорвалось с истерзанных, искусанных в бессильной ярости губ. Миг — и громкий, настойчивый перестук копыт покрыл рев пламени и завывания ветра; еще мгновение — и скакун единым махом пролетел в ворота и через ров, мелькнул по готовой вот-вот рухнуть дворцовой лестнице и сгинул вместе с всадником в огненном смерче.

И сразу же унялась ярость огненной бури, малопомалу все стихло. Белесое пламя еще облекало саваном здание и, струясь в мирную заоблачную высь, вдруг вспыхнуло, засияло нездешним светом, и тогда тяжело нависшая над зубчатыми стенами туча дыма приняла явственные очертания гигантской фигуры коня.

1832

Рукопись, найденная в бутылке[5]

Тому, кому осталось жить не более мгновенья, Уж больше нечего терять.

Филипп Кино. Атис

Об отечестве моем и семействе сказать мне почти нечего. Несправедливость изгнала меня на чужбину, а долгие годы разлуки отдалили от родных. Богатое наследство позволило мне получить изрядное для тогдашнего времени образование, а врожденная пытливость ума дала возможность привести в систему сведения, накопленные упорным трудом в ранней юности. Превыше всего любил я читать сочинения немецких философов-моралистов — не потому, что красноречивое безумие последних внушало мне неразумный восторг, а лишь за ту легкость, с какою привычка к логическому мышлению помогала обнаруживать ложность их построений. Меня часто упрекали в сухой рассудочности, недостаток фантазии вменялся мне в вину как некое преступление, и я

---

[5] Сноски: 5

© Перевод. М. Беккер, наследники, 2002

всегда слыл последователем Пиррона. Боюсь, что чрезмерная приверженность к натурфилософии и вправду сделала меня жертвою весьма распространенного заблуждения нашего века — я имею в виду привычку объяснять все явления, даже те, которые меньше всего поддаются подобному объяснению, принипами этой науки. Вообще говоря, казалось почти невероятным, чтобы ignes fatui[6] суеверия могли увлечь за суровые пределы истины человека моего склада. Я счел уместным предварить свой рассказ этим небольшим вступлением, дабы необыкновенные происшествия, которые я намереваюсь изложить, не были сочтены скорее плодом безумного воображения, нежели действительным опытом человеческого разума, совершенно исключившего игру фантазии как пустой звук и мертвую букву.

Проведши много лет в заграничных путешествиях, я не имел причин ехать куда бы то ни было, однако же, снедаемый каким-то нервным беспокойством, — словно сам дьявол в меня вселился, — я в 18... году выехал из порта Батавия, что на богатом и густонаселенном острове Ява, в качестве пассажира корабля, совершавшего

---

[6] Сноски: 6
Блуждающие огни *(лат.).*

плавание вдоль островов Зондского архипелага. Корабль наш, великолепный парусник водоизмещением около четырехсот тонн, построенный в Бомбее из малабарского тикового дерева и обшитый медью, имел на борту хлопок и хлопковое масло с Лаккадивских островов, а также копру, пальмовый сахар, топленое масло из молока буйволиц, кокосовые орехи и несколько ящиков опиума. Погрузка была сделана кое-как, что сильно уменьшало остойчивость судна.

Мы покинули порт при еле заметном ветерке и в течение долгих дней шли вдоль восточного берега Явы. Однообразие нашего плавания лишь изредка нарушалось встречей с небольшими каботажными судами с тех островов, куда мы держали свой путь.

Однажды вечером я стоял, прислонившись к поручням на юте, и вдруг заметил на северо-западе какое-то странное одинокое облако. Оно поразило меня как своим цветом, так и тем, что было первым, какое мы увидели со дня отплытия из Батавии. Я пристально наблюдал за ним до самого заката, когда оно внезапно распространилось на восток и на запад, опоясав весь горизонт узкою лентой тумана, напоминавшей длинную полосу низкого морского берега. Вскоре после

этого мое внимание привлек темно-красный цвет луны и необычайный вид моря. Последнее менялось прямо на глазах, причем вода казалась гораздо прозрачнее обыкновенного. Хотя можно было совершенно ясно различить дно, я бросил лот и убедился, что под килем ровно пятнадцать фадомов. Воздух стал невыносимо горячим и был насыщен испарениями, которые клубились, словно жар, поднимающийся от раскаленного железа. С приближением ночи замерло последнее дыхание ветерка и воцарился совершенно невообразимый штиль. Ничто не колебало пламени свечи, горевшей на юте, а длинный волос, который я держал указательным и большим пальцем, не обнаруживал ни малейшей вибрации. Однако капитан объявил, что не видит никаких признаков опасности, а так как наш корабль сносило лагом к берегу, он приказал убрать паруса и отдать якорь. На вахту никого не поставили, и матросы, большей частью малайцы, лениво растянулись на палубе. Я спустился вниз — признаться, не без дурных предчувствий. И в самом деле, все свидетельствовало о приближении тайфуна. Я поделился своими опасениями с капитаном, но он не обратил никакого внимания на мои слова и ушел, не удостоив меня

ответом. Тревога, однако, не давала мне спать, и ближе к полуночи я снова поднялся на палубу. Поставив ногу на верхнюю ступеньку трапа, я вздрогнул от громкого гула, напоминавшего звук, производимый быстрым вращением мельничного колеса, но прежде чем смог определить, откуда он исходит, почувствовал, что судно задрожало всем своим корпусом. Секунду спустя огромная масса вспененной воды положила нас на бок и, прокатившись по всей палубе от носа до кормы, унесла в море все, что там находилось.

Между тем этот неистовый порыв урагана оказался спасительным для нашего корабля. Ветер сломал и сбросил за борт мачты, вследствие чего судно медленно выпрямилось, некоторое время продолжало шататься под страшным натиском шквала, но в конце концов стало на ровный киль.

Каким чудом избежал я гибели — объяснить невозможно. Оглушенный ударом волны, я постепенно пришел в себя и обнаружил, что меня зажало между румпелем и фальшбортом. С большим трудом поднявшись на ноги и растерянно оглядевшись, я сначала решил, что нас бросило на рифы, ибо даже самая буйная фантазия не могла бы представить себе эти огромные вспе-

ненные буруны, словно стены, вздымавшиеся ввысь. Вдруг до меня донесся голос старого шведа, который сел на корабль перед самым отплытием из порта. Я что было силы закричал ему в ответ, и он, шатаясь, пробрался ко мне на корму. Вскоре оказалось, что в живых остались только мы двое. Всех, кто находился на палубе, кроме нас со шведом, смыло за борт, что же касается капитана и его помощников, то они, по-видимому, погибли во сне, ибо их каюты были доверху залиты водой. Лишенные всякой помощи, мы вдвоем едва ли могли предпринять что-либо для безопасности судна, тем более что вначале, пораженные ужасом, с минуты на минуту ожидали конца. При первом же порыве урагана наш якорный канат, разумеется, лопнул, как тонкая бечевка, и лишь благодаря этому нас тут же не перевернуло вверх дном. Мы с невероятной скоростью неслись вперед, и палубу то и дело захлестывало водой. Кормовые шпангоуты были основательно расшатаны, и все судно было сильно повреждено, однако, к великой нашей радости, мы убедились, что помпы работают исправно и что балласт почти не сместился. Буря уже начала стихать, и мы не усматривали большой опасности в силе ветра, а, напротив, со страхом ожидали той минуты,

когда он прекратится совсем, в полной уверенности, что мертвая зыбь, которая за ним последует, непременно погубит наш потрепанный корабль. Но это вполне обоснованное опасение как будто ничем не подтверждалось. Пять суток подряд, — в течение коих единственное наше пропитание составляло небольшое количество пальмового сахара, который мы с великим трудом добывали на баке, — наше разбитое судно, подгоняемое шквальным ветром, который хотя и уступал по силе первым порывам тайфуна, был тем не менее гораздо страшнее любой пережитой мною прежде бури, мчалось вперед со скоростью, не поддающейся измерению. Первые четыре дня нас несло с незначительными отклонениями на юго-юго-восток, и мы, по-видимому, находились уже недалеко от берегов Новой Голландии. На пятый день холод стал невыносимым, хотя ветер изменил направление на один румб к северу. Взошло тусклое желтое солнце; поднявшись всего лишь на несколько градусов над горизонтом, оно почти не излучало света. Небо было безоблачно, но ветер свежел и налетал яростными порывами. Приблизительно в полдень — насколько мы могли судить — наше внимание опять привлек странный вид солнца. От него исходил не свет,

а какое-то мутное, мрачное свечение, которое совершенно не отражалось в воде, как будто все его лучи были поляризованы. Перед тем как погрузиться в бушующее море, свет в середине диска внезапно погас, словно стертый какой-то неведомою силой, и в бездонный океан канул один лишь тусклый серебристый ободок.

Напрасно ожидали мы наступления шестого дня — для меня он и по сей час еще не наступил, а для старого шведа не наступит никогда. С этой поры мы были объяты такой непроглядною тьмой, что в двадцати шагах от корабля невозможно было ничего разобрать. Все плотнее окутывала нас вечная ночь, не нарушаемая даже фосфорическим свечением моря, к которому мы привыкли в тропиках. Мы также заметили, что, хотя буря продолжала свирепствовать с неудержимою силой, вокруг больше не было обычных вспененных бурунов, которые сопровождали нас прежде. Везде царил только ужас, непроницаемый мрак и вихрящаяся черная пустота. Суеверный страх постепенно овладел душою старого шведа, да и мой дух тоже был объят немым смятением. Мы перестали следить за кораблем, считая это занятие более чем бесполезным, и, как можно крепче привязав друг друга к основанию сломанной

бизань-мачты, с тоскою взирали на бесконечный океан. У нас не было никаких средств для отсчета времени и никакой возможности определить свое местоположение. Правда, мы ясно видели, что продвинулись на юг дальше, чем кто-либо из прежних мореплавателей, и были чрезвычайно удивлены тем, что до сих пор не натолкнулись на обычные для этих широт льды. Между тем каждая минута могла стать для нас последней, ибо каждый огромный вал грозил опрокинуть наше судно. Высота их превосходила всякое воображение, и я считал за чудо, что мы до сих пор еще не покоимся на дне пучины. Мой спутник упомянул о легкости нашего груза и обратил мое внимание на превосходные качества нашего корабля, но я невольно ощущал всю безнадежность надежды и мрачно приготовился к смерти, которую, как я полагал, ничто на свете не могло оттянуть более чем на час, ибо с каждою милей мертвая зыбь усиливалась и гигантские черные валы становились все страшнее и страшнее. Порой у нас захватывало дух при подъеме на высоту, недоступную даже альбатросу, порою темнело в глазах при спуске в настоящую водяную преисподнюю, где воздух был зловонен и сперт и ни единый звук не нарушал дремоту морских чудовищ.

Мы как раз погрузились в одну из таких пропастей, когда в ночи раздался пронзительный вопль моего товарища. «Смотрите, смотрите! — кричал он мне прямо в ухо, — о, всемогущий Боже! Смотрите!» При этих словах я заметил, что стены водяного ущелья, на дне которого мы находились, озарило тусклое багровое сияние; его мерцающий отблеск ложился на палубу нашего судна. Подняв свой взор кверху, я увидел зрелище, от которого кровь заледенела у меня в жилах. На огромной высоте прямо над нами, на самом краю крутого водяного обрыва вздыбился гигантский корабль водоизмещением не меньше четырех тысяч тонн. Хотя он висел на гребне волны, во сто раз превышавшей его собственную высоту, истинные размеры его все равно превосходили размеры любого существующего на свете линейного корабля или судна Ост-Индской компании. Его колоссальный тускло-черный корпус не оживляли обычные для всех кораблей резные украшения. Из открытых портов торчали в один ряд медные пушки, полированные поверхности которых отражали огни бесчисленных боевых фонарей, качавшихся на снастях. Но особый ужас и изумление внушило нам то, что, презрев бушевавшее с неукротимой яростью море, корабль

этот несся на всех парусах навстречу совершенно сверхъестественному ураганному ветру. Сначала мы увидели только нос корабля, медленно поднимавшегося из жуткого темного провала позади него. На одно полное невыразимого ужаса мгновение он застыл на головокружительной высоте, как бы упиваясь своим величием, затем вздрогнул, затрепетал и — обрушился вниз.

В этот миг в душу мою снизошел непонятный покой. С трудом пробравшись как можно ближе к корме, я без всякого страха ожидал неминуемой смерти. Наш корабль не мог уже больше противостоять стихии и зарылся носом в надвигавшийся вал. Поэтому удар падавшей вниз массы пришелся как раз в ту часть его корпуса, которая была уже почти под водой, и как неизбежное следствие этого меня со страшною силой швырнуло на ванты незнакомого судна.

Когда я упал, это судно сделало поворот оверштаг, и, очевидно благодаря последовавшей затем суматохе, никто из команды не обратил на меня внимания. Никем не замеченный, я без труда отыскал грот-люк, который был слегка приоткрыт, и вскоре получил возможность спрятаться в трюме. Почему я так поступил, я, право, не могу сказать. Быть может, причиной моего

стремления укрыться был беспредельный трепет, охвативший меня при виде матросов этого корабля. Я не желал вверять свою судьбу существам, которые при первом же взгляде поразили меня своим зловещим и странным обличьем. Поэтому я счел за лучшее соорудить себе тайник в трюме и отодвинул часть временной переборки, чтобы в случае необходимости спрятаться между огромными шпангоутами.

Едва успел я подготовить свое убежище, как звук шагов в трюме заставил меня им воспользоваться. Мимо моего укрытия тихой, нетвердой поступью прошел какой-то человек. Лица его я разглядеть не мог, но имел возможность составить себе общее представление об его внешности, которая свидетельствовала о весьма преклонном возрасте и крайней немощи. Колени его сгибались под тяжестью лет, и все его тело дрожало под этим непосильным бременем. Слабым, прерывистым голосом бормоча что-то на неизвестном мне языке, он шарил в углу, где были свалены в кучу какие-то диковинные инструменты и полуистлевшие морские карты. Вся его манера являла собою смесь капризной суетливости впавшего в детство старика и величавого достоинства бога. В конце концов он возвратился на палубу, и боль-

ше я его не видел.

…Душой моей владеет новое чувство, имени которого я не знаю, ощущение, не поддающееся анализу, ибо для него нет объяснений в уроках былого, и даже само грядущее, боюсь, не подберет мне к нему ключа. Для человека моего склада последнее соображение убийственно. Никогда — я это знаю твердо, — никогда не смогу я точно истолковать происшедшее. Однако нет ничего удивительного в том, что мое истолкование будет неопределенным — ведь оно обращено на предметы столь абсолютно неизведанные. Дух мой обогатился каким-то новым знанием, проник в некую новую субстанцию.

Прошло уже немало времени с тех пор, как я вступил на палубу этого ужасного корабля, и мне кажется, что лучи моей судьбы уже начинают собираться в фокус. Непостижимые люди! Погруженные в размышления, смысл которых я не могу разгадать, они, не замечая меня, проходят мимо. Прятаться от них в высшей степени бессмысленно, ибо они упорно не желают видеть. Не далее как сию минуту я прошел прямо перед глазами у первого помощника; незадолго перед тем я осмелился проникнуть в каюту самого капитана и вынес оттуда письменные принадлежности,

которыми пишу и писал до сих пор. Время от времени я буду продолжать эти записки. Правда, мне может и не представиться оказия передать их людям, но я все же попытаюсь это сделать. В последнюю минуту я вложу рукопись в бутылку и брошу ее в море.

Произошло нечто, давшее мне новую пищу для размышлений. Не следует ли считать подобные явления нечаянной игрою случая? Я вышел на палубу и, не замечаемый никем, улегся на куче старых парусов и канатов, сваленных на дне шлюпки. Раздумывая о превратностях своей судьбы, я машинально водил кистью для дегтя по краю аккуратно сложенного лиселя, лежавшего возле меня на бочонке. Сейчас этот лисель поднят, и мои бездумные мазки сложились в слово ОТКРЫТИЕ.

В последнее время я сделал много наблюдений по части устройства этого судна. Несмотря на изрядное вооружение, оно, по-моему, никак не может быть военным кораблем. Его архитектура, оснастка и вообще все оборудование опровергают предположение подобного рода. Чем оно не может быть, я хорошо понимаю, а вот чем оно может быть, боюсь, сказать невозможно. Сам не знаю почему, но, когда я внимательно изучаю его

необычные обводы и своеобразный рангоут, его огромные размеры и избыток парусов, строгую простоту его носа и старинную форму кормы, в уме моем то и дело проносятся какие-то знакомые образы и вместе с этой смутной тенью воспоминаний в памяти безотчетно всплывают древние иноземные хроники и века давно минувшие.

Я досконально изучил тимберсы корабля. Он построен из неизвестного мне материала. Это дерево обладает особым свойством, которое, как мне кажется, делает его совершенно непригодным для той цели, которой оно должно служить. Я имею в виду его необыкновенную пористость, даже независимо от того, что он весь источен червями (естественное следствие плавания в этих морях), не говоря уже о трухлявости, неизменно сопровождающей старость. Пожалуй, мое замечание может показаться слишком курьезным, но это дерево имело бы все свойства испанского дуба, если бы испанский дуб можно было каким-либо сверхъестественным способом растянуть.

При чтении последней фразы мне приходит на память афоризм одного старого, видавшего виды голландского морехода. Когда кто-нибудь высказывал сомнение в правдивости его слов, он, бывало, говаривал: «Это так же верно, как то, что

есть на свете море, где даже судно растет подобно живому телу моряка».

Час назад, набравшись храбрости, я решился подойти к группе матросов. Они не обращали на меня ни малейшего внимания и, хотя я затесался в самую их гущу, казалось, совершенно не замечали моего присутствия. Подобно тому, кого я в первый раз увидел в трюме, все они были отмечены печатью глубокой старости. Колени их дрожали от немощи, дряхлые спины сгорбились, высохшая кожа шуршала на ветру, надтреснутые голоса звучали глухо и прерывисто, глаза были затянуты мутной старческой пеленою, а седые волосы бешено трепала буря. Вся палуба вокруг них была завалена математическими инструментами необычайно замысловатой, устаревшей конструкции.

Недавно я упомянул о том, что подняли лисель. С этого времени корабль шел в полный бакштаг, продолжая свой зловещий путь прямо на юг под всеми парусами и поминутно окуная ноки своих брам-рей в непостижимую для человеческого ума чудовищную бездну вод. Я только что ушел с палубы, где совершенно не мог устоять на ногах, между тем как команда, казалось, не испытывала

никаких неудобств. Чудом из чудес представляется мне то обстоятельство, что огромный корпус нашего судна раз и навсегда не поглотила пучина. Очевидно, мы обречены постоянно пребывать на краю вечности, но так никогда и не рухнуть в бездну. С гребня валов, фантастические размеры которых в тысячу раз превосходят все, что мне когда-либо доводилось видеть, мы с легкой стремительностью чайки соскальзываем вниз, и колоссальные волны возносят над нами свои головы, словно демоны адских глубин, однако демоны, коим дозволены одни лишь угрозы, но не дано уничтожать. То, что мы все время чудом уходим от гибели, я склонен приписать единственной натуральной причине, которая может вызвать подобное следствие. Очевидно, корабль находится под воздействием какого-то сильного течения или бурного глубинного потока.

Я столкнулся лицом к лицу с капитаном, и притом в его же собственной каюте, но, как я и ожидал, он не обратил на меня ни малейшего внимания. Пожалуй, ни одна черта его наружности не могла бы навести случайного наблюдателя на мысль, что он не принадлежит к числу смертных, и все же я взирал на него с чувством благоговейного трепета, смешанного с изумлением. Он

приблизительно одного со мною роста, то есть пяти футов восьми дюймов, и крепко, но пропорционально сложен. Однако необыкновенное выражение, застывшее на его лице, — напряженное, невиданное, вызывающее нервную дрожь свидетельство старости столь бесконечной, столь несказанно глубокой, — вселяет мне в душу ощущение неизъяснимое. Чело его, на котором почти не видно морщин, отмечено, однако, печатью неисчислимого множества лет. Его седые бесцветные волосы — свидетели прошлого, а выцветшие серые глаза — пророчицы грядущего. На полу каюты валялось множество диковинных фолиантов с медными застежками, позеленевших научных инструментов и древних, давно забытых морских карт. Склонившись головою на руки, он вперил свой горячий, беспокойный взор в какую-то бумагу, которую я принял за капитанский патент и которая, во всяком случае, была скреплена подписью монарха. Он сердито бормотал про себя — в точности как первый моряк, которого я увидел в трюме, — слова какого-то чужеземного наречия, и, хотя я стоял почти рядом, его глухой голос, казалось, доносился до меня с расстояния в добрую милю.

Корабль и все находящееся на нем проникнуто

духом Старины. Моряки скользят взад-вперед, словно призраки погребенных столетий, глаза их сверкают каким-то лихорадочным, тревожным огнем, и, когда в грозном мерцании боевых фонарей руки их нечаянно преграждают мне путь, я испытываю чувства доселе не испытанные, хотя всю свою жизнь занимался торговлею древностями и так долго дышал тенями рухнувших колоннад Баальбека, Тадмора и Персеполя, что душа моя и сама превратилась в руину.

Оглядываясь вокруг, я стыжусь своих прежних опасений. Если я дрожал от шквала, сопровождавшего нас до сих пор, то разве не должна поразить меня ужасом схватка океана и ветра, для описания коей слова «смерч» и «тайфун», пожалуй, слишком мелки и ничтожны? В непосредственной близости от корабля царит непроглядный мрак вечной ночи и хаос беспенных волн, но примерно в одной лиге по обе стороны от нас виднеются там и сям смутные силуэты огромных ледяных глыб, которые, словно бастионы мироздания, возносят в пустое безотрадное небо свои необозримые вершины.

Как я и думал, корабль попал в течение, если это наименование может дать хоть какое-то понятие о бешеном грозном потоке, который, с неистовым

ревом прорываясь сквозь белое ледяное ущелье, стремительно катится к югу.

Постигнуть весь ужас моих ощущений, пожалуй, совершенно невозможно; однако страстное желание проникнуть в тайны этого чудовищного края превосходит даже мое отчаяние и способно примирить меня с самым ужасным концом. Мы, без сомнения, быстро приближаемся к какому-то ошеломляющему открытию, к разгадке некоей тайны, которой ни с кем не сможем поделиться, ибо заплатим за нее своею жизнью. Быть может, это течение ведет нас прямо к Южному полюсу. Следует признать, что многое свидетельствует в пользу этого предположения, на первый взгляд, по-видимому, столь невероятного.

Матросы беспокойным, неверным шагом с тревогою бродят по палубе, но на лицах их написана скорее трепетная надежда, нежели безразличие отчаяния.

Между тем ветер все еще дует нам в корму, а так как мы несем слишком много парусов, корабль по временам прямо-таки взмывает в воздух! Внезапно — о беспредельный чудовищный ужас! — справа и слева от нас льды расступаются, и мы с головокружительной скоростью начинаем описывать концентрические круги вдоль краев

колоссального амфитеатра, гребни стен которого теряются в непроглядной дали. Однако для размышлений об ожидающей меня участи остается теперь слишком мало времени! Круги быстро сокращаются — мы стремглав ныряем в самую пасть водоворота, и среди неистового рева, грохота и воя океана и бури наш корабль вздрагивает и — о Боже! — низвергается в бездну!

Примечание. «Рукопись, найденная в бутылке» была впервые опубликована в 1831 году, и лишь много лет спустя я познакомился с картами Меркатора, на которых океан представлен в виде четырех потоков, устремляющихся в (северный) Полярный залив, где его должны поглотить недра земли, тогда как самый полюс представлен в виде черной скалы, вздымающейся на огромную высоту.

1833

Береника[7]

Dicebant mihi sodales si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas[8].

Ибн Зайят

Несчастье многогранно. Многолико земное горе. Охватывая широкий горизонт подобно радуге, оно несет в себе столько же красок, как и эта небесная арка, — и столь же отличных друг от друга, и так же сливающихся воедино. Охватывая широкий горизонт подобно радуге! Почему в красоте усмотрел я воплощение безобразия, в залоге безмятежности — улыбку скорби? Но как в этике зло является следствием добра, так в жизни из радости рождается скорбь: воспоминания о прошлом блаженстве становятся нынешним страданием, и муками оборачиваются несбывшиеся восторги.

Я был крещен Эгеем, родовое же свое имя я

---

[7] Сноски: 7

© Перевод. И. Гурова, наследники, 2002

[8] Сноски: 8

Друзья говорили мне, что горе мое будет несколько облегчено, если я навещу могилу моей подруги *(лат.)*.

тут не упомяну. И все же в стране не найдется замка более древнего, чем угрюмые серые башни, унаследованные мною от длинной вереницы предков. Наш род слыл родом духовидцев, и многие причудливые особенности — в самой архитектуре дома, во фресках парадного зала, в гобеленах спален, в каменной резьбе, украшающей столбы оружейной палаты, и более всего в старинных портретах картинной галереи, в плане библиотеки и, наконец, в чрезвычайно своеобразном подборе книг этой библиотеки — с достаточной убедительностью оправдывают эту славу.

Самые ранние воспоминания моей жизни тесно связаны с этой комнатой и с этими фолиантами — о которых я в дальнейшем говорить не буду. Там умерла моя мать. Там родился я. Но к чему утверждать, будто я не жил прежде, будто душа не имеет предыдущего существования! Вы это отрицаете? Я не стану с вами спорить. Сам я в этом убежден, других же убеждать не хочу. Однако ведь есть воспоминание о воздушных образах, о духовных, исполненных бесконечного смысла глазах, о звуках, гармоничных и все-таки печальных; воспоминание, которого нельзя прогнать, воспоминание, подобное тени, смутное, измен-

чивое, неопределенное, зыбкое — подобное тени еще и в том, что от него нельзя избавиться, пока не затмится солнечный свет моего рассудка.

В этой комнате я родился. И когда от долгой ночи, которая казалась, но не была отсутствием существования, я пробудился в поистине волшебной стране, в чертогах воображения, в необъятных владениях монастырской мысли и эрудиции — удивительно ли, что я озирался по сторонам изумленным и жадным взором, что я праздно провел мое детство за книгами и растратил юность на размышления. Но удивительно другое: прошли годы, и расцвет молодости застал меня в отчем доме, и поразительно то, какими застойными стали источники моей жизни, поразительно то полное смещение, которое произошло в строе самых обычных моих мыслей. Материальный мир вокруг меня представлялся мне совокупностью видений, и только видений, тогда как прихотливые образы страны воображения сделались не просто пищей моего повседневного существования, но самим этим существованием, исчерпывая и замыкая его.

…Береника была моей двоюродной сестрой, и мы выросли вместе в стенах дома моих предков. Но как по-разному росли мы! Я — хилый и

угрюмый, она — грациозная, подвижная, полная радости и энергии; она гуляла по холмам и долинам, я склонялся над книгами в монастырском уединении библиотеки; я — углубленный в себя, телом и душой отдающийся самым напряженным и мучительным размышлениям, она — беспечно порхающая по жизни без мысли о тенях на ее тропе, о череде часов, безвозвратно уносящихся прочь на вороновых крыльях. Береника! Я повторяю ее имя — Береника! — и этот звук поднимает из серых руин памяти тысячи смятенных воспоминаний. И ее образ стоит сейчас перед моими глазами таким же, как в дни ее беззаботной и радостной юности. О великолепная и все же неизъяснимая красота! О сильфида садов Арнгейма! О наяда его источников! А затем… а затем тайна, и ужас, и повесть, которую не должно рассказывать. Болезнь, роковая болезнь обрушилась на нее, как смерч пустыни, и у меня на глазах все в ней переменилось: разум, привычки, характер и даже — неуловимо и ужасно — самая ее личность. Увы! Губитель явился и исчез, а жертва… что сталось с ней? Я больше не узнавал ее — не узнавал в ней Береники!

Среди многочисленной свиты недугов, порожденных самым первым и роковым, который

повлек за собой столь жуткое преображение нравственного и телесного облика моей кузины, можно упомянуть наиболее тягостный и упорный — разновидность эпилепсии, нередко завершающуюся оцепенением, подобным смерти, из которого она чаще всего восставала с неожиданной внезапностью. Тем временем моя собственная болезнь — мне велели называть ее только так и не иначе, — моя собственная болезнь овладевала мною все больше и обрела уже характер мономании, неизвестной прежде и необычайной; с каждым часом, с каждой минутой она набирала силу и в конце концов обрела надо мною полную и непостижимую власть. Эта мономания, раз уж я должен называть ее так, представляла собой болезненное возбуждение тех свойств сознания, которые метафизическая наука относит к сфере внимания. Весьма вероятно, что я не буду понят, но, боюсь, нет способа дать обычному читателю хотя бы слабое представление о той нервной интенсивности интереса, с каким я сосредоточивал всю силу моих мыслительных способностей (если не прибегать к специальным обозначениям) на самых тривиальных предметах.

Я мог часами раздумывать над какой-нибудь

прихотливой виньеткой на полях книги или над особенностями ее шрифта, мог почти весь летний день пристально рассматривать странную тень на гобелене или на полу, мог всю ночь напролет предаваться созерцанию неколеблющегося язычка пламени в лампе или мерцающих углей в камине, мог целые дни грезить над ароматным цветком, мог однотонно твердить самое простое слово, пока от непрерывного повторения звук его не переставал сообщать мозгу какой-либо смысл, мог полностью утрачивать ощущение физического бытия, долго и упрямо сохраняя неподвижность. Таковы были некоторые из наиболее простых и неопасных чудачеств, вызванных определенным состоянием рассудка, — хотя их отнюдь нельзя назвать единственными в своем роде, они тем не менее не поддаются ни анализу, ни объяснению.

И все же не поймите меня неправильно. Это глубокое, неоправданное и болезненное внимание, возбуждавшееся предметами, по своей природе самыми заурядными, не следует путать со склонностью к задумчивости, которая свойственна всем людям, и особенно тем, кто наделен пылкой фантазией. Его нельзя даже считать, как могло бы показаться на первый взгляд,

преувеличенной или доведенной до крайности вышеуказанной склонностью — нет, они различны и по самой своей сути не схожи. В первом случае мечтательная или пытливая натура, заинтересовавшись предметом, как правило, далеко не тривиальным, незаметно для себя увлекается идеями и заключениями, им подсказанными, и в конце концов, очнувшись от этих грез наяву, нередко упоительно прекрасных, обнаруживает, что incitamentum — побудительный толчок к размышлениям, их первопричина уже совершенно забыта. Что же касается меня, то таким толчком всегда и неизменно служили предметы самые тривиальные, хотя мое болезненное восприятие и наделяло их искаженной и несуществующей важностью. Почти никаких заключений я не выводил, и немногие возникавшие у меня мысли упрямо возвращались к исходному объекту, как к их центру и основе. Размышления эти никогда не бывали приятными, и по их завершении первопричина не только не оказывалась забытой, но, наоборот, вызывала именно тот неестественный и преувеличенный интерес, который и составлял главную особенность моей болезни. Короче говоря, как я уже упоминал раньше, у меня при этом особо возбуждалась сфера внимания, тогда

как у мечтателя действует сфера умозрительного мышления.

Книги, которые я тогда штудировал, если и не прямо усугубляли мою болезнь, то, как легко заметить, хорошо сочетались с ее главными свойствами благодаря тому, что в своей непоследовательности они питались преимущественно воображением. Среди прочих мне ясно вспоминается трактат благородного итальянца Целия Секунда Куриона «De Amplitudine Beati Regni Dei»[9], великий труд Блаженного Августина «О граде божьем» и «De Carne Christi»[10] Тертуллиана, чьей парадоксальной сентенции «Mortuus est Dei filius; credibile est quia ineptum est; et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est»[11] я посвятил много недель скрупулезных и бесплодных изысканий.

Таким образом, нетрудно заметить, что мой рассудок, утрачивавший равновесие только из-за пустяков, походил на тот океанский утес, о кото-

---

[9] Сноски: 9

«О величии блаженного царства Божия» *(лат.).*

[10] Сноски: 10

«О плоти Христовой» *(лат.).*

[11] Сноски: 11

Умер сын Божий; это достойно веры, ибо нелепо; и погребенный восстал из могилы; это несомненно, ибо невозможно *(лат.).*

ром повествует Птолемей Гефестион и который, стойко выдерживая натиск человеческих усилий и куда более яростные приступы волн и ветра, содрогался только от прикосновения цветка, называемого асфоделем. И, хотя поверхностный наблюдатель может счесть само собой разумеющимся, что изменения, которые злосчастный недуг вызвал в духовном облике Береники, должны были бы давать мне много поводов для тех напряженных и болезненных размышлений, природу коих я попытался объяснить, это ни в малейшей степени не соответствовало действительному положению вещей. Бесспорно, в светлые промежутки, когда моя болезнь несколько утихала, несчастье Береники причиняло мне страдания, и, глубоко скорбя над таким крушением этой прекрасной и кроткой жизни, я, разумеется, часто с горечью задумывался о чудодейственных причинах, столь внезапно приведших к подобному странному преображению. Но эти размышления были свободны от влияния моей болезни и сходны с теми, каким при подобных обстоятельствах предавалось бы большинство совершенно здоровых людей. Верная своей природе, моя болезнь находила обильную пищу в менее важных, но более заметных переме-

нах телесного облика Береники — в необычайном и пугающем изменении ее наружности.

Нет никакого сомнения, что в дни расцвета ее несравненной красоты я не питал к ней любви. В моем странном ущербном существовании мои чувства никогда не возникали в сердце и все мои страсти всегда были порождением рассудка. В сером полусвете раннего утра, в кружевных тенях леса в полдень и в безмолвии моей библиотеки вечером она то являлась моим глазам, то исчезала, и я видел ее не как живую Беренику из плоти и крови, но как Беренику сонных грез; не как земное существо, порождение земли, но как абстрактную идею такого существа, не как источник восхищения, но как повод для анализа, не как предмет любви, но как тему для сложнейших, хотя и рассеянных размышлений. А теперь… теперь я содрогался от ее присутствия и бледнел, когда она приближалась ко мне, и все же, горько сострадая ее нынешнему злополучному состоянию, я напомнил себе, что она давно меня любила, и в роковую минуту просил ее стать моей женой.

И вот, когда срок нашей свадьбы уже приближался, на исходе некоего зимнего дня — одного из тех не по времени теплых, тихих и туманных дней, которые называют кормилицей прекрас-

ной Альционы[12], — я сидел (и, как мне казалось, в одиночестве) в кабинете за библиотекой. Однако, подняв глаза, я увидел перед собой Беренику.

Мое ли возбужденное воображение, туман ли, разлитый в воздухе, сумрак ли комнаты, серые ли покровы, окутывавшие ее фигуру, — что придало ей такую неясность и зыбкость? Не знаю. Она молчала… как и я — ни за какие сокровища мира не мог бы я произнести ни единого слова. Ледяной холод разлился по моим членам, гнетущая тревога овладела мной, жгучее любопытство томило мою душу, и, откинувшись в кресле, я на несколько минут замер без движения, устремляя на Беренику пристальный взгляд. Увы, в очертаниях этой исхудалой фигуры нельзя было обнаружить ни единой прежней линии. Наконец мой пылающий взор обратился на ее лицо. Лоб был высок, очень бледен и странно безмятежен; на него ниспадали некогда иссиня-черные волосы, скрывая впадины у висков под бесчисленными завитками — желтоватыми, отвратительно дисгармонирующими в своей гротескности с глубокой меланхоличностью

[12] Сноски: 12

«Юпитер в зимние месяцы дважды ниспосылает семь теплых дней, и люди назвали эту благодатную и ласковую погоду кормилицей прекрасной Альционы» (Симонид). — *Примеч. авт.*

всего лица. Глаза были лишены жизни, лишены блеска и, казалось, лишены зрачков — и, не выдержав их стекленеющего взгляда, я посмотрел на узкие, сморщенные губы. Они раздвинулись, и в непонятной улыбке моему взору открылись зубы изменившейся Береники. О, если бы Бог не судил мне видеть их! О, если бы, увидев их, я тут же умер!

Стук захлопнувшейся двери вывел меня из задумчивости, и я обнаружил, что моя кузина покинула библиотеку. Но белый жуткий призрак ее зубов, увы, не покинул моего смятенного мозга, и изгнать его оттуда не удавалось. Краткого мгновения ее улыбки оказалось достаточно, чтобы каждая точка на их поверхности, каждый оттенок их эмали, каждая зазубринка на их краях навеки запечатлелись в моей памяти. И теперь я видел их даже еще более ясно, чем тогда. Зубы! Зубы! Они были и тут, и там, и повсюду, зримые, ощутимые, куда бы я ни посмотрел — длинные, узкие, неимоверно белые, обрамленные шевелящимися бледными губами, как в первый миг их ужасного обнажения. Моя мономания вспыхнула с яростной силой, и тщетно пытался я совладать с ее странной и необоримой властью. Из всех бесчисленных предметов внешнего мира я был

способен думать только о зубах. Я жаждал их с исступленным безумием. Все остальное отступило и исчезло. Только они, только они одни стояли перед моим внутренним взором, и они, единственные и неповторимые, составляли всю сущность моих мыслей. Я рассматривал их при всевозможном освещении. Я поворачивал их под всевозможными углами. Я исследовал каждую их частность, я изучал каждую их особенность. Я думал об их форме. Я размышлял об изменениях в их природе. Я содрогался, приписывая им в воображении способность чувствовать и понимать и уменье даже без помощи губ выражать свои чувства. О мадемуазель Салле отлично сказали, что «tous ses pas étaient des sentiments»[13], а я серьезно думал о Беренике, что toutes ses dents étaient des idées[14]. Des idées! О, вот идиотическая мысль, погубившая меня! Des idées! А, вот почему я возжелал их с такой страстью! Я чувствовал, что рассудок вновь вернется ко мне и я обрету душевный покой, только став их обладателем.

Вот так я встретил исход вечера, а затем наступила тьма, и сомкнулась на свой срок, и исчезла,

---

[13] Сноски: 13
Каждый ее шаг был чувством *(фр.)*.

[14] Сноски: 14
Каждый ее зуб был мыслью *(фр.)*.

и вновь занялся день, и вот уже начали сгущаться туманы новой ночи, а я по-прежнему сидел неподвижно в уединении библиотеки, по-прежнему предаваясь размышлениям, и призрак зубов все так же сохранял страшную власть надо мной, с совершеннейшим и жутким правдоподобием кружа по комнате в меняющихся сочетаниях света и теней. Наконец в мои грезы ворвался вопль ужаса и смятения, а потом — гуд встревоженных голосов, к которому примешивались тихие стенания печали, а может быть, страдания. Я встал с кресла и, распахнув одну из дверей, увидел в галерее служанку, всю в слезах. Она сказала мне, что Береника… скончалась! Утром у нее начался эпилептический припадок, а сейчас, перед наступлением ночи, могила была уже готова принять ее и все приготовления к погребению были завершены.

Я обнаружил, что сижу в библиотеке, и вновь сижу там один. Мне казалось, что я очнулся от хаотичного и лихорадочного сна. Я знал, что теперь была полночь, и помнил, что после захода солнца Беренику похоронили. Но о тягостном промежутке между этими двумя моментами я не сохранил никакого точного или хотя бы примерного представления. И все же мысль об

этом промежутке была насыщена ужасом — ужасом тем более ужасным, что он был смутным, и страхом тем более страшным, что он был неопределенным. Это была леденящая душу страница моего существования, вся исписанная зыбкими, отвратительными и невнятными воспоминаниями. Я пытался разобраться в них, но тщетно, а время от времени, точно фантом умершего звука, в моих ушах раздавался пронзительный женский крик. Я что-то сделал — но что? Я задавал себе этот вопрос вслух, и шепчущее эхо под сводами отвечало мне: «Что?.. Что?..»

На столе возле меня горела лампа, а рядом с ней стояла небольшая шкатулка. В ней не было ничего примечательного, и я не раз видел ее прежде, так как она принадлежала нашему домашнему врачу. Но каким образом оказалась она здесь, на моем столе, и почему я содрогался, глядя на нее? Я не находил этому объяснения, и в конце концов мои глаза опустились на раскрытую книгу, остановившись на подчеркнутой фразе. Это были поразительные, но простые слова поэта Ибн Зайята: «Dicebant mihi sodales si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas». Так почему же, пока я перечитывал их, волосы на моей голове встали дыбом и кровь застыла в

моих жилах?

Раздался легкий стук в дверь, и в библиотеку, бледный, как обитатель могилы, на цыпочках вошел слуга. Его лицо было искажено ужасом, и он заговорил со мной дрожащим, хриплым, еле слышным голосом. Что сказал он? Я уловил отдельные фразы. Он говорил о безумном вопле, нарушившем безмолвие ночи, о том, как сбежались слуги, о том, как они пошли туда, откуда донесся звук… Тут его голос стал пронзительно отчетливым, и он зашептал мне про осквернённую могилу, про обезображенное тело в саване — но еще дышавшее… еще содрогающееся… еще живущее!

Он поглядел на мою одежду — она была выпачкана глиной и забрызгана кровью. Я молчал, и он осторожно взял мою руку — на ней были следы человеческих ногтей. Он указал на какой-то предмет у стены. Я несколько минут глядел на него — это был заступ. С криком я прыгнул к столу и схватил шкатулку, которая стояла на нем. Но у меня не было сил ее открыть. Она выскользнула из моих дрожащих пальцев, ударилась об пол и разлетелась вдребезги. И из нее со стуком выпали инструменты, которыми пользуются дантисты, и еще — тридцать два маленьких белых костяных на вид кусочка, которые рассыпались по всему полу.

1835

Король Чума[15]
Рассказ, содержащий аллегорию

То боги позволяют венценосцам,
Что их в сословье подлом возмутит.

Бакхерст. Трагедия о Феррексе и Порексе

Однажды в октябре, около двенадцати часов ночи, в пору доблестного царствования третьего из Эдуардов, два матроса из команды «Беззаботной», торговой шхуны, курсирующей между Слюйсом и Темзою, а тогда стоявшей на якоре именно в Темзе, были весьма изумлены, обнаружив себя сидящими в пивной, расположенной в приходе св. Андрея, что в Лондоне, — каковая пивная в качестве вывески имела изображение «Развеселого матросика».

Комната, неудобная, закопченная, низкая и во всех других смыслах схожая с заведениями подобного рода в те времена, — все же, по мнению

---

[15] Сноски: 15

© Перевод. В. Рогов, наследник, 2016

гротескных групп, там и сям в ней расположившихся, в достаточной мере отвечала своему назначению.

Из них самую любопытную, а быть может и самую бросающуюся в глаза компанию, составляли, по-моему, два наших матроса.

Тот, кто казался старшим и кого его товарищ называл характерною кличкою «Рангоут», был и самый высокий из двоих. Рост его достигал едва ли не шести с половиною футов, и его постоянная сутулость казалась неизбежным последствием столь чудовищной высоты. Избыток роста, однако, более чем с лихвой искупался изъянами иного рода. Он был чрезвычайно худ и мог бы, как утверждали его товарищи, в пьяном виде служить вымпелом, а в трезвом — бушпритом. Но эти и подобные им шутки, видимо, никогда не оказывали действия ни на единый musculus risorius[16] матроса. Выражение его лица, скуластого, горбоносого, подуздоватого, с огромными белыми глазами навыкате, хотя и тупо равнодушное ко всему сущему, при этом было столь серьезно, что не поддавалось ни описанию, ни воспроизведению.

---

[16] Сноски: 16
Мышцу смеха *(лат.)*.

Матрос помоложе, если судить по наружности, являл собою полную противоположность своему спутнику. Он был не выше четырех футов. Неуклюжее, коренастое тело поддерживали толстые кривые ноги, а необычно короткие и плотные руки с громадными кулаками болтались по бокам наподобие ластов морской черепахи. Поблескивали глубоко посаженные глазки неопределенного цвета. Нос утопал в круглом, пухлом, багровом лице; а толстая верхняя губа покоилась на еще более толстой нижней с видом самодовольной уверенности, усугублявшимся от привычки их обладателя время от времени облизываться. Он, по всей очевидности, относился к своему товарищу с чувством полууважительным, полускептическим; и порою смотрел ему в лицо, как заходящее алое солнце смотрит снизу вверх на утесы Бен Невиса.

Многообразны и богаты событиями были в тот вечер скитания достойной пары по окрестным питейным заведениям. Самая обильная казна способна оскудеть, и наши друзья пришли в этот кабак с пустыми карманами.

В то самое время, когда, собственно, и начинается наше повествование, Рангоут и друг его Хью Брезент сидели посередине зала, положив

локти на большой дубовый стол и подперев щеки ладонями. Из-за громадной бутыли «пенного», за которую еще не было заплачено, взирали они на многознаменательные слова «Мела нет», к их изумлению и негодованию начертанные над дверью тем самым минералом, наличие которого надпись пыталась отрицать. Не то чтоб можно было по всей строгости счесть питомцев моря наделенными даром расшифровывать письмена — даром, среди простонародья их дней почитаемым немногим менее каббалистическим, нежели искусство писания, — но, если сказать правду, в самой форме букв был некий перекос — крен в подветренную сторону — который, по мнению обоих матросов, предвещал долгие шторма; и привел их к решению, если пользоваться аллегорическими словами самого Рангоута, «пустить в ход помпы, поставить паруса и бежать впереди ветра».

Соответственным образом расправившись с остатками эля и запахнув короткие бушлаты, они наконец рванулись на улицу. Хотя Брезент дважды закатывался в камин, приняв его за дверь, все же в конце концов их побег завершился удачею — и половина первого ночи застала наших, готовых на любые проделки, героев бегущими

со всех ног по темному переулку к лестнице св. Андрея и преследуемыми взъяренной хозяйкой «Развеселого матросика».

В эпоху, когда протекало действие нашего богатого событиями повествования, а также на протяжении многих предыдущих и последующих лет, вся Англия, а столица ее в особенности, периодически оглашалась ужасным криком: «Чума!» Город был в огромной мере опустошен — и по тем страшным кварталам, сопредельным Темзе, где среди темных, узких, загаженных переулков, по преданию, родился Демон Чумы, рыскали одни лишь Тревога, Ужас и Суеверие.

Волею короля такие кварталы объявлены были запретными, и нарушать их жуткий покой возбранялось под страхом смерти. Но ни указ государя, ни огромные барьеры, возведенные у начала улиц, ни перспектива смерти, почти с полной вероятностью настигавшей несчастного, которого никакая беда не в силах была удержать от дерзновенной попытки, — ничто не спасало от еженощных грабежей опустелые и обезлюдевшие жилища, очищаемые от всего, сделанного из железа, меди или свинца и способного принести хоть какой-нибудь доход.

Помимо всего прочего, обнаруживалось, как

правило, после того, как каждою зимою убирали барьеры, что замки, засовы и тайные погреба весьма неудовлетворительно охраняли те обильные запасы вин и крепких напитков, которые их владельцы, боясь риска и хлопот, сопряженных с их перевозкой из лавок в запретных кварталах, решились доверить на время выезда столь ненадежной защите.

Но лишь весьма немногие из перепуганных жителей считали подобные происшествия делом рук человеческих. Духи Чумы, бесы мора, демоны заразы были в то время обычными пугалами; и каждый час рассказывали о них такие леденящие кровь истории, что все запретное скопление домов оказалось окутанным страхом, словно саваном, и часто самого грабителя спугивали ужасы, созданные его собственными преступлениями; и во всем обширном пространстве запретной части города царили мрак, тишина, зараза и смерть.

И один-то из этих ранее упомянутых зловещих барьеров, обозначавших границу запретных зачумленных кварталов, внезапно преградил путь Рангоуту и достойному Хью Брезенту, пробиравшимся по глухому переулку. О возвращении не могло быть и речи, исключалось и промедление,

ибо погоня настигала их. Вскарабкаться по грубо сколоченным доскам для заправских моряков было безделицей; и, вдвойне разгоряченные бегом и выпивкой, они не мешкая перемахнули через ограду и, подбадривая себя криками и улюлюканьем, вскоре потерялись в зловонных и запутанных переулках.

Да, не будь они пьяны до утраты рассудка, ужас положения, в которое они попали, наверное, остановил бы их нетвердые шаги. В холодном воздухе стоял туман. Булыжники, вывороченные из мостовых, в беспорядке валялись среди густой травы, доходившей до щиколоток. Развалины домов загромождали улицы. Всюду разносилось самое омерзительное и ядовитое зловоние, а тот жуткий свет, что и порою полуночи мерцает во влажной и зараженной атмосфере, позволял увидеть, как лежат в закоулках и тупиках или гниют в лишенных окон строениях трупы многих ночных мародеров, остановленных чумою в самый момент грабежа.

Но ничто видимое или ощущаемое не в силах было удержать людей, храбрых от природы, а тогда в особенности, полных до краев отвагой и «пенным», готовых следовать прямо — насколько позволила бы их валкая походка — прямо в зев

Смерти. Вперед, все вперед шествовал хмурый Рангоут, заставляя мрачное безлюдье вновь и вновь отзываться эхом на его вопли, подобные страшным воинственным кличам индейцев; и вперед, все вперед катился толстяк Брезент, уцепившись за бушлат своего более прыткого товарища и значительно превосходя его самые мощные голосовые усилия, издавая in basso[17] бычий рев во всю силу своих стенторовых легких.

Наконец, они, судя по всему, достигли средоточия заразы. С каждым их шагом или рывком переулки делались все зловоннее и омерзительнее, все у же и запутаннее. То и дело с гниющих крыш над головою низвергались огромные балки и камни, и тяжесть их падения говорила о громадной высоте окрестных домов; требовались немалые усилия для того, чтобы продираться сквозь частые кучи мусора, и совсем нередко рука натыкалась на скелет, а то и на труп, еще облеченный плотью.

Внезапно, когда матросы набрели на вход в высокое и зловещее здание, особо пронзительному крику возбужденного Рангоута ответил изнутри быстрый и нестройный хор бешеных,

---

[17] Сноски: 17
Басом *(ит.)*.

дьявольских воплей, похожих на смех. Не обескураженные этими звуками, хотя в подобное время и в подобном месте они могли бы остановить сердце, менее разгоряченное, двое пьяных очертя голову рванулись к двери, распахнули ее настежь и ввалились внутрь, шатаясь и изрыгая хулу.

Помещение, куда они попали, оказалось лавкою гробовщика, но сквозь открытый люк в углу недалеко от входа виднелся длинный ряд винных погребов, чья глубь, как свидетельствовал порою звук откупориваемых бутылок, была отменно заполнена надлежащим содержимым.

Посередине комнаты находился стол, в центре же его стоял ушат, видимо, с пуншем. Бутылки разных вин и напитков, а также кувшины, баклаги и сулеи всякого вида и разбора в обилии уснащали стол. Вокруг него на гробовых козлах восседала компания из шести человек. Попытаюсь описать их по порядку.

Лицом ко входу и несколько возвышаясь над своими сотрапезниками, сидел субъект, казавшийся председателем сборища. Он был высок и худ, и Рангоут пришел в изумление, увидев кого-то более тощего, нежели он сам. Лицо этого человека было желто, как шафран, — но лишь одна черта его была настолько яркою, чтобы

заслуживать подробного описания. Чертою этою был его лоб, столь необычно и отвратительно высокий, что он казался беретом или короною из плоти, нахлобученной ему на голову. Рот его был искривлен в пугающе приветливой улыбке, а глаза, как, впрочем, глаза всех присутствующих, остекленели от винных паров. Этот господин с головы до ног был облачен в роскошно вышитый гробовой покров из шелкового бархата, в который небрежно драпировался на манер испанского плаща. Он то и дело с бойким и умудренным видом кивал головою, сплошь утыканною черными перьями с плюмажей на катафалке; а в правой руке держал колоссальную человеческую бедренную кость, которой, казалось, он неведомо почему только что огрел кого-то из присутствующих.

Прямо напротив него и спиною к двери находилась дама нисколько не менее необычайного вида. Хотя столь же высокая, как только что описанный субъект, она, не в пример ему, не имела никакого права жаловаться на неестественную худобу. По всему, она пребывала в последней стадии водянки; и фигура ее весьма напоминала огромную бочку октябрьского пива, стоявшую рядом с нею в углу. Лицо ее было необычайно полное, красное и круглое; и облик ее отмечала

та же особенность или, вернее, тот же недостаток особенностей, что и упомянутый мною ранее применительно к председателю, — а именно то, что лишь одна черта ее лица была в достаточной мере выразительна для детальной характеристики; да и проницательный Брезент мигом заметил, что подобное замечание было бы справедливо относительно каждого из присутствующих: любой из них как бы монополизировал некую часть лица. У дамы, о которой идет речь, этой частью был рот. Начинаясь у правого уха, он, словно ужасающая пропасть, простирался до левого, и маленькие сережки то и дело в него попадали. Однако она всемерно тщилась держать его закрытым и сохранять достоинство, одета же была в свеженакрахмаленный и отутюженный саван, доходящий ей до подбородка и украшенный брыжами из гофрированного миткаля.

По правую руку от нее сидела крохотная барышня, которой она, видимо, покровительствовала. Дрожь исхудалых пальчиков этого нежного создания, ее мертвенно-бледные губы, едва заметный румянец на землистом лице — все непререкаемо свидетельствовало о скоротечной чахотке.

Тем не менее ее отличал крайний haut ton[18]; грациозная, dégagée[19], она была наряжена в просторный и красивый саван из тончайшего индийского батиста; локоны струились по ее шее; нежная улыбка играла на ее устах; но ее нос, чрезвычайно длинный, тонкий, гибкий и прыщавый, свисал гораздо ниже ее рта и, несмотря на то что она время от времени отодвигала его в сторону языком, придавал ее облику несколько двусмысленное выражение.

Напротив нее и слева от дамы, страдающей водянкою, сидел пухлый, сиплый, подагрический старичок, чьи щеки покоились на плечах своего владельца, как два огромных бурдюка с портвейном. Скрестив руки и положив забинтованную ногу на стол, он словно бы считал себя достойным некоторого уважения. Он, по всей очевидности, гордился каждым дюймом своей наружности, но особливо радовался, привлекая внимание к яркому кафтану. Кафтан этот, говоря по правде, должен был стоить ему немалых денег и сшит был отменно по мерке, а перекроен был из какой-то разноцветной хоругви с вышитым

---

[18] Сноски: 18
Светский тон, светские манеры *(фр.)*.

[19] Сноски: 19
Непринужденная *(фр.)*.

по ней знаменитым гербом — такие хоругви и в Англии, и в других странах, согласно обычаю, вывешивают на домах знатных особ, когда там кто-нибудь опочиет.

Рядом с ним и по правую руку от председателя находился господин в длинных белых чулках и коротких бумажных панталонах. Тело его нелепо сотрясалось, ибо на него, как решил Брезент, «ужасти напали». Его недавно выбритые челюсти были натуго соединены муслиновою повязкой; а руки были связаны подобным же образом, что мешало ему вволю угощаться спиртным на столе; предосторожность, по мнению Рангоута, необходимая, ежели судить по его особо ненасытному и запьянцовскому виду. Тем не менее его невиданные уши, которые никак нельзя было привязать, маячили в атмосфере помещения и иногда судорожно настораживались при звуке извлекаемой пробки.

В-шестых и в-последних, напротив него помещался весьма окостеневший субъект, который, будучи разбит параличом, должен был, если говорить серьезно, чувствовать себя весьма неловко в своем неудобном облачении. Облачен же он был довольно-таки необычно, в новый и нарядный гроб из красного дерева. Верхушка гроба давила

ему на череп, нависая на манер капюшона и придавая лицу его неописуемое своеобразие. По бокам гроба прорезаны были отверстия для рук — столь же ради удобства, сколь и для красоты; но подобное одеяние препятствовало облаченному в него сидеть так же прямо, как его сотрапезники; и он лежал, опираясь о козлы, под углом в сорок пять градусов, а его чудовищно выпученные глаза выкатывали ужасные белки к потолку, в абсолютном изумлении собственною величиною.

Перед присутствующими лежали черепа, служившие пиршественными кубками. Над головою висел человеческий скелет, привязанный веревкою за ногу к кольцу в потолке. Вторая нога, ничем не удерживаемая, торчала под прямым углом, и некрепко связанный скелет со стуком поворачивался по прихоти любого порыва ветра, случайно попадавшего в помещение. В черепной коробке этого мерзкого костяка помещались горячие угли, бросавшие прерывистый, но яркий свет на всю сцену; а гробы и другие похоронные принадлежности были высоко нагромождены по всей комнате и перед окнами, не давая проникнуть на улицу ни единому лучу.

При виде такого необыкновенного сборища и еще более необыкновенного убранства наши

матросы не в силах были соблюдать необходимый декорум. Рангоут облокотился о стену, челюсть его отвалилась более обычного, а глаза выпучились до отказа; а Хью Брезент, согнувшись, коснулся носом стола, охватил колени и разразился долгим, буйным и громким смехом, весьма несвоевременным и неумеренным.

Но длинный председатель, не возмущаясь таким крайне грубым поведением, очень милостиво улыбнулся незваным гостям — величаво кивнул им черными перьями — и, встав, взял каждого из них за руку и отвел к сиденьям, тем временем поставленным для пришедших кем-то из компании. Рангоут не оказал ни малейшего сопротивления, но уселся, как ему указывали; а кавалерственный Хью перенес свои козлы с места в головах стола поближе к маленькой чахоточной барышне в саване, превесело плюхнулся рядом с нею и, налив череп красного вина, залпом осушил его за продолжение знакомства. Окостеневший господин в гробу, казалось, был крайне возмущен таким дерзким поведением; и могли бы возникнуть серьезные последствия, но председатель, постучав по столу, привлек внимание всех присутствующих следующей речью:

— Наш приятный долг при настоящем, столь

счастливом событии…

— Тихо! — с очень серьезным видом перебил Рангоут. — Погодите-ка минуточку да скажите нам, кто вы такие есть, да какого черта вам здесь надобно, что разрядились вы по-бесовски да хлещете синюю погибель, которую припас на зиму мой корабельный дружок, гробовщик Вилл Вимбл!

В ответ на эту непростительно грубую выходку вся компания стала подниматься с мест и издавать те же бешеные, дьявольские вопли, что ранее привлекли матросов. Но председатель сдержался первым и, с превеликим достоинством повернувшись к Рангоуту, продолжал:

— Весьма охотно удовлетворим мы всякое проявление разумного любопытства со стороны столь высоких, хотя и неприглашенных гостей. Знайте же, что я монарх сих владений и самодержавно здесь царствую под титулом «Король Чума Первый».

Этот покой, который вы несомненно и кощунственно сочли за лавку гробовщика Вилла Вимбла, человека, нам неведомого, чье плебейское наименование ни разу доныне не отягощало наш августейший слух, — этот покой, говорю я, является тронным залом нашего дворца и отве-

ден для заседаний государственного совета и для иных возвышенных целей.

Благородная дама, сидящая напротив, — наша миропомазанная супруга, королева Чума. Другие высокопоставленные особы, лицезреть коих вы удостоились, все принадлежат к нашей фамилии, и их королевская кровь явствует из носимых ими титулов: его высочество эрцгерцог Чумоносный — его высочество герцог Чумовой — его высочество герцог Чумазый — и ее светлость эрцгерцогиня Чумичка.

Что до вашего вопроса о деле, ради которого мы держим здесь совет, — продолжал он, — да простится нам, ежели мы ответим, что оно касается только наших личных и августейших интересов и ни в коей мере не любопытно ни для кого, кроме нас самих. Но, принимая во внимание те права, на которые вы как гости и пришельцы можете претендовать, мы поясним вам, что сею ночью мы собрались тут, дабы путем глубоких исследований и подробных изучений рассмотреть, проанализировать и до конца определить не поддающийся уточнению характер — непостижимые качества и букет — оных бесценных сокровищ для вкуса, вин, элей и крепких напитков сей славной столицы; и этим не столько

осуществить наши желания, сколько обеспечить истинное благосостояние того неземного государя, что правит всеми нами, владения которого беспредельны, а имя которому — Смерть.

— А имя которому — Деви Джонс! — воскликнул Брезент, наливая и своей даме, и себе по черепу вина.

— Нечестивый смерд! — сказал председатель, обращая внимание на достойного Хью. — Нечестивый и подлый холоп! Мы сказали, что, принимая во внимание те права, кои даже применительно к твоей подлой особе мы не желаем нарушать, мы снизошли до ответа на твои невежественные и неразумные расспросы. За ваше кощунственное вторжение в наш совет мы почитаем нашим долгом приговорить тебя и твоего спутника к штрафу, взимаемому путем выпивания каждым из вас по галлону черного жгута — выпив каковое количество за процветание нашего королевства — и залпом — и преклонив колена — вы будете вольны или отправиться восвояси, или остаться и удостоиться чести быть допущенными к нашему столу, в соответствии с тем, как кому из вас заблагорассудится.

— Никак этого не будет, — отвечал Рангоут, которому достоинство и властность Короля Чумы,

несомненно, внушили известную почтительность, почему он встал и старался не шататься, пока говорил, — ежели вашему величеству угодно, то никак этого не будет, чтобы я да погрузил себе в трюм хотя бы четвертую часть того, что ваше величество только что изволили упомянуть. Не говоря ничего о грузе, что я утром принял на борт в виде балласта, и не упоминая всякие разные эли да водки, погруженные этим вечером в разных гаванях, я в настоящее время полон до отказа «пенным», принятым и сполна оплаченным под вывеской «Развеселого матросика». А поэтому да будет вашему величеству благоугодно считать желаемое сделанным — потому как я никоим образом не могу и не хочу проглотить хотя бы еще капельку — а менее всего хотя бы капельку того вонючего пойла, которое называется черным жгутом.

— Стоп! — перебил Брезент, изумленный длительностью речи своего спутника не менее, нежели причиною его отказа. — Стоп травить, Рангоут, салага ты этакая! Мои трюма еще вмещают, а вот ты, видать, малость перегружен; а касательно твоей доли, то чем тебе из-за нее шквал подымать, то уж лучше я у себя в трюме найду ей местечко, но…

— Подобное действие, — вмешался председатель, — отнюдь не соответствует условиям пени или приговора, распространяемого на обоих равномерно и, подобно установленному закону, ни в коей мере не подлежащего изменениям или пересмотру. Оговоренные условия должны быть выполнены в точности и без малейшего промедления — в противном случае мы повелеваем привязать вам шею к пяткам и надлежащим образом утопить за крамолу вон в той бочке октябрьского пива!

— Правильно! — правильно! — справедливый и правильный приговор! — достославное решение! — достойный, правильный, благочестивый суд! — разом закричала чумная фамилия.

Король поднял брови, от чего лоб его покрылся бесчисленными морщинами; подагрический старичок засопел наподобие кузнечных мехов; чахоточная барышня помавала носом; господин в бумажных панталонах навострил уши; дама в саване принялась ловить ртом воздух, как издыхающая рыба; а обитатель гроба еще более окостенел и завел глаза.

— Хе! хе! хе! — засмеялся Брезент, пренебрегая всеобщим волнением. — Хе! хе! хе! — хе! хе! хе! хе! — хе! хе! хе! — я говорил, — сказал он, — я

говорил, пока мистер Король Чума не начал встревать, что двумя-тремя галлонами черного жгута больше или меньше для такого крепкого суденышка с неперегруженными трюмами вроде меня — пустяк, но ежели дело дошло до того, чтобы пить здоровье Дьявола (накажи его господь) да ползать на коленях перед этим королишкой — а ведь доподлинно, как то, что я грешник, я про него знаю, что он не кто иной, как Тим Баламут, актерщик! — так это дело совсем другого сорта и вовсе свыше моего разумения.

Ему не дали спокойно договорить. При имени Тима Баламута все повскакали с мест.

— Измена! — закричал его величество Король Чума Первый.

— Измена! — сказал подагрический человечек.

— Измена! — завопила эрцгерцогиня Чумичка.

— Измена! — пробормотал господин с подвязанной челюстью.

— Измена! — пробурчал обитатель гроба.

— Измена! Измена! — заверещала ее большеротое величество; и, схватив сзади за штаны несчастного Брезента, который только начал наливать себе еще, она подняла его высоко в воздух и без лишних церемоний бросила в огромную разверстую бочку любимого им эля. Несколько

секунд он то всплывал, то погружался, как яблоко в пуншевой кастрюле, и наконец исчез в водовороте пены, которую ему легко удалось поднять, барахтаясь в напитке, и без того пенном.

Но рослый моряк взирал на поражение своего товарища без покорности. Сбросив Короля Чуму в погреб, отважный Рангоут выругался, захлопнул за ним люк и широкими шагами вышел на середину комнаты. Тут он сорвал качавшийся над столом скелет и начал им размахивать с такой энергией и охотой, что, пока погасал последний мерцающий в помещении свет, ему удалось вышибить мозги подагрическому господинчику. После этого, изо всех сил кинувшись на роковую бочку, полную октябрьским пивом и Хью Брезентом, он во мгновение ока опрокинул и покатил ее. И хлынул поток такой бурный — такой бешеный — такой напористый — что комнату затопило от стены до стены — нагруженные столы перевернулись — козлы попадали — ушат с пуншем был повергнут в камин — а дамы в истерику. Поплыли, переворачиваясь, гробы и похоронные принадлежности. Кувшины, баклаги и сулеи перемешались в беспорядке, оплетенные фляги с маху налетали на битые бутылки. Страдавший «ужастями» моментально

утонул — окостеневший господин отплыл в своем гробу — победоносный же Рангоут, схватив за талию толстую даму в саване, выскочил с нею на улицу и прямиком пустился к «Беззаботной», а за ним на всех парусах следовал бесстрашный Хью Брезент, который два-три раза чихнул, а теперь пыхтел и задыхался, волоча за собою эрцгерцогиню Чумичку.

1835

Морелла[20]

Ἁ ντο χατ' αντα, μετ' αντον μονοειδεζ αιει ων[21].

Платон. Пир, 211

Глубокую, но поистине странную привязанность питал я к Морелле, моему другу. Много лет назад случай познакомил нас, и с первой встречи моя душа запылала пламенем, прежде ей неведомым; однако пламя это зажег не Эрос, и горечь все больше терзала мой дух, пока я постепенно убеждался, что не могу постичь его неведомого смысла и не могу управлять его туманным пыланием. Но мы встретились, и судьба связала нас пред алтарем; и не было у меня слов страсти, и не было мысли о любви. Она же бежала общества людей и, посвятив себя только мне одному, сделала меня счастливым. Ибо размышлять есть счастье, ибо грезить есть счастье.

Начитанность Мореллы не знала пределов. Жизнью клянусь, редкостными были ее да-

---

[20] Сноски: 20

© Перевод. И. Гурова, наследники, 2002

[21] Сноски: 21

Собой, только собой, в своем вечном единстве *(гр.).*

рования, а сила ума — велика и необычна. Я чувствовал это и многому учился у нее. Однако уже вскоре я заметил, что она (возможно, из-за своего пресбургского воспитания) постоянно предлагала мне мистические произведения, которые обычно считаются всего лишь жалкой накипью ранней немецкой литературы. По непостижимой для меня причине они были ее постоянным и любимым предметом изучения, а то, что со временем я и сам занялся ими, следует приписать просто властному влиянию привычки и примера.

Рассудок мой — если я не обманываю себя — нисколько к этому причастен не был. Идеальное — разве только я себя совсем не знаю — ни в чем не воздействовало на мои убеждения, и ни мои поступки, ни мои мысли не были окрашены — или я глубоко заблуждаюсь — тем мистицизмом, которым было проникнуто мое чтение. Твердо веря в это, я полностью подчинился руководству моей жены и с недрогнувшим сердцем последовал за ней в сложный лабиринт ее изысканий. И когда… когда, склоняясь над запретными страницами, я чувствовал, что во мне просыпается запретный дух, Морелла клала холодную ладонь на мою руку и извлекала из остывшего пепла мертвой

философии приглушенные необычные слова, таинственный смысл которых выжигал неизгладимый след в моей памяти. И час за часом я сидел возле нее и внимал музыке ее голоса, пока его мелодия не начинала внушать страха — и на мою душу падала тень, и я бледнел и внутренне содрогался от этих звуков, в которых было столь мало земного. Вот так радость внезапно преображалась в ужас и воплощение красоты становилось воплощением безобразия, как Гинном стал Ге-Енной.

Нет нужды излагать содержание этих бесед, темы которых подсказывали упомянутые мною трактаты, но в течение долгого времени иных разговоров мы с Мореллой не вели. Люди, изучавшие то, что можно назвать теологической моралью, легко представят себе, о чем мы говорили, непосвященным же беседы наши все равно не были бы понятны. Буйный пантеизм Фихте; видоизмененное παλιγγενεδιζ[22] пифагорейцев и, главное, доктрина тождества, как ее излагал Шеллинг, — вот в чем впечатлительная Морелла обычно находила особую красоту. Тождество, называемое личным, мистер Локк,

---

[22] Сноски: 22
Вторичное рождение *(гр.).*

если не ошибаюсь, справедливо определяет как здравый рассудок мыслящего существа. А так как под «личностью» мы понимаем рациональное начало, наделенное рассудком, и так как мышлению всегда сопутствует сознание, то именно они и делают нас нами самими, в отличие от всех других существ, которые мыслят. Principium individuationis, представление о личности, которая исчезает — или не исчезает — со смертью, всегда меня жгуче интересовало. И не столько даже из-за парадоксальной и притягательной природы его следствий, сколько из-за волнения, с которым говорила о них Морелла.

Но уже настало время, когда непостижимая таинственность моей жены начала гнести меня, как злое заклятие. Мне стали невыносимы прикосновения ее тонких полупрозрачных пальцев, ее тихая музыкальная речь, мягкий блеск ее печальных глаз. И она понимала это, но не упрекала меня; казалось, что она постигала мою слабость, или мое безумие, и с улыбкой называла его Роком. И еще казалось, что она знает неведомую мне причину, которая вызвала мое постепенное отчуждение, но ни словом, ни намеком она не открыла мне ее природу. Однако она была женщиной и таяла с каждым днем. Пришло время,

когда на ее щеках запылали два алых пятна, а синие жилки на бледном лбу стали заметнее; и на миг моя душа исполнялась жалости, но в следующий миг я встречал взгляд ее говорящих глаз, и мою душу поражали то смятение и страх, которые овладевают человеком, когда он, охваченный головокружением, смотрит в мрачные глубины неведомой бездны.

Сказать ли, что я с томительным нетерпением ждал, чтобы Морелла наконец умерла? Да, я ждал этого, но хрупкий дух еще много дней льнул к бренной оболочке — много дней, много недель и тягостных месяцев, пока мои истерзанные нервы не взяли верх над рассудком и я не впал в исступление из-за этой отсрочки, с демонической яростью проклиная дни, часы и горькие секунды, которые словно становились все длиннее и длиннее по мере того, как угасала ее кроткая жизнь, — так удлиняются тени, когда умирает день.

Но однажды в осенний вечер, когда ветры уснули в небесах, Морелла подозвала меня к своей постели. Над всей землей висел прозрачный туман, мягкое сияние лежало на водах, и на пышную листву октябрьских лесов с вышины пала радуга.

— Это день дней, — сказала она, когда я приблизился. — Это день дней, чтобы жить и чтобы умереть. Дивный день для сынов земли и жизни… но еще более дивный для дочерей небес и смерти!

Я поцеловал ее лоб, а она продолжала:

— Я умираю, и все же я буду жить.

— Морелла!

— Не было дня, когда бы ты любил меня, но ту, которая внушала тебе отвращение при жизни, в смерти ты будешь боготворить.

— Морелла!

— Я говорю, что я умираю. Но во мне сокрыт плод той нежности — о, такой малой! — которую ты питал ко мне, к Морелле. И когда мой дух отлетит, дитя будет жить — твое дитя и мое, Мореллы. Но твои дни будут днями печали, той печали, которая долговечней всех чувств, как кипарис нетленней всех деревьев. Ибо часы твоего счастья миновали, и цветы радости не распускаются дважды в одной жизни, как дважды в год распускались розы Пестума. И более ты не будешь играть со временем, подобно Анакреонту, но, отлученный от мирта и лоз, понесешь с собой по земле свой саван, как мусульманин в Мекке.

— Морелла! — вскричал я. — Морелла, как мо-

жешь ты знать это!

Но она отвернула лицо, по ее членам пробежала легкая дрожь; так она умерла, и я больше не слышал ее голоса.

Но как она предрекла, ее дитя, девочка, которую, умирая, она произвела на свет, которая вздохнула, только когда прервалось дыхание ее матери, это дитя осталось жить. И странно развивалась она телесно и духовно, и была точным подобием умершей, и я любил ее такой могучей любовью, какой, думалось мне прежде, нельзя испытывать к обитателям земли.

Но вскоре небеса этой чистейшей нежности померкли и их заволокли тучи тревоги, ужаса и горя. Я сказал, что девочка странно развивалась телесно и духовно. Да, странен был ее быстрый рост, но ужасны, о, как ужасны были смятенные мысли, которые овладевали мной, когда я следил за развитием ее духа! И могло ли быть иначе, если я ежедневно обнаруживал в словах ребенка мышление и способности взрослой женщины? Если младенческие уста изрекали наблюдения зрелого опыта? И если в ее больших задумчивых глазах я ежечасно видел мудрость и страсти иного возраста? Когда, повторяю, все это стало очевидно моим пораженным ужасом чувствам, когда я уже был

не в силах скрывать это от моей души, не в силах далее бороться с жаждой уверовать, — можно ли удивляться, что мною овладели необычайные и жуткие подозрения, что мои мысли с трепетом обращались к невероятным фантазиям и поразительным теориям покоящейся в склепе Мореллы? Я укрыл от любопытных глаз мира ту, кого судьба принудила меня боготворить, и в строгом уединении моего дома с мучительной тревогой следил за возлюбленным существом, не жалея забот, не упуская ничего.

И по мере того как проходили годы и я день за днем смотрел на ее святое, кроткое и красноречивое лицо, на ее формирующийся стан, день за днем я находил в дочери новые черты сходства с матерью, скорбной и мертвой. И ежечасно тени этого сходства сгущались, становились все более глубокими, все более четкими, все более непонятными и полными леденящего ужаса. Я мог снести сходство ее улыбки с улыбкой матери, но я содрогался от их тождественности; я мог бы выдержать сходство ее глаз с глазами Мореллы, но они все чаще заглядывали в самую мою душу с властным и непознанным смыслом, как смотрела только Морелла. И очертания высокого лба, и шелковые кудри, и тонкие полупрозрачные

пальцы, погружающиеся в них, и грустная музыкальность голоса, и главное (о да, главное!), слова и выражения мертвой на устах любимой и живой питали одну неотвязную мысль и ужас — червя, который не умирал!

Так прошли два люстра ее жизни, и моя дочь все еще жила на земле безымянной. «Дитя мое» и «любовь моя» — отцовская нежность не нуждалась в иных наименованиях, а строгое уединение, в котором она проводила свои дни, лишало ее иных собеседников. Имя Мореллы умерло с ее смертью. И я никогда не говорил дочери о ее матери — говорить было невозможно. Нет, весь краткий срок ее существования внешний мир за тесными пределами ее затворничества оставался ей неведом. Но в конце концов обряд крещения представился моему смятенному уму спасением и избавлением от ужасов моей судьбы. И у купели я заколебался, выбирая ей имя. На моих губах теснилось много имен мудрых и прекрасных женщин и былых и нынешних времен, обитательниц моей страны и дальних стран, и много красивых имен женщин, которые были кротки душой, были счастливы, были добры. Так что же подвигло меня потревожить память мертвой и погребенной? Какой демон подстрекнул

меня произнести тот звук, одно воспоминание о котором заставляло багряную кровь потоками отхлынуть от висков к сердцу? Какой злой дух заговорил из недр моей души, когда среди сумрачных приделов и в безмолвии ночи я шепнул священнослужителю эти три слога — Морелла? И некто больший, нежели злой дух, исказил черты моего ребенка и стер с них краски жизни, когда, содрогнувшись при этом чуть слышном звуке, она возвела стекленеющие глаза от земли к небесам и, бессильно опускаясь на черные плиты нашего фамильного склепа, ответила:

— Я здесь.

Четко, так бесстрастно и холодно четко раздались эти простые звуки в моих ушах, и оттуда расплавленным свинцом, шипя, излились в мой мозг. Годы… годы могут исчезнуть бесследно, но память об этом мгновении — никогда! И не только не знал я более цветов и лоз, но цикута и кипарис склонялись надо мной ночью и днем. И более я не замечал времени, не ведал, где я, и звезды моей судьбы исчезли с небес, и над землей сомкнулся мрак, и жители ее скользили мимо меня, как неясные тени, и среди них всех я видел только — Мореллу! Ветры шептали мне в уши только один звук, и рокот моря повторял вовек — Морелла. Но она умерла; и сам отнес я ее в гробницу, и рассмеялся долгим и горьким смехом, не обнаружив в склепе никаких следов первой, когда положил там вторую Мореллу.

1835

Лигейя[23]

И в этом – воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог – ничто как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей.

Джозеф Гленвилл

И ради спасения души я не в силах был бы вспомнить, как, когда и даже где впервые увидел я леди Лигейю. С тех пор прошло много долгих лет, а память моя ослабела от страданий. Но, быть может, я не могу ныне припомнить все это потому, что характер моей возлюбленной, ее редкая ученость, необычная, но исполненная безмятежности красота и завораживающая и покоряющая выразительность ее негромкой музыкальной речи проникали в мое сердце лишь постепенно и совсем незаметно. И все же представляется мне,

---

[23] Сноски: 23

© Перевод. И. Гурова, наследники, 2002

что я познакомился с ней и чаще всего видел ее в некоем большом, старинном, ветшающем городе вблизи Рейна. Ее семья… о, конечно, она мне о ней говорила… И несомненно, что род ее восходит к глубокой древности. Лигейя! Лигейя! Предаваясь занятиям, которые более всего способны притуплять впечатления от внешнего мира, лишь этим сладостным словом — Лигейя! — воскрешаю я перед своим внутренним взором образ той, кого уже нет. И сейчас, пока я пишу, мне внезапно вспомнилось, что я никогда не знал родового имени той, что была моим другом и невестой, той, что стала участницей моих занятий и в конце концов — возлюбленной моею супругой. Почему я о нем не спрашивал? Был ли тому причиной шутливый запрет моей Лигейи? Или так испытывалась сила моей нежности? Или то был мой собственный каприз — исступленно романтическое жертвоприношение на алтарь самого страстного обожания? Даже сам этот факт припоминается мне лишь смутно, так удивительно ли, если из моей памяти изгладились все обстоятельства, его породившие и ему сопутствовавшие? И поистине, если дух, именуемый Романтической Страстью, если бледная Аштофет идолопоклонников-египтян и правда, как гласят их предания,

витает на туманных крыльях над роковыми свадьбами, то, бесспорно, она председательствовала и на моем брачном пиру.

Но одно дорогое сердцу воспоминание память моя хранит незыблемо. Это облик Лигейи. Она была высокой и тонкой, а в последние свои дни на земле — даже исхудалой. Тщетно старался бы я описать величие и спокойную непринужденность ее осанки или непостижимую легкость и грациозность ее походки. Она приходила и уходила подобно тени. Я замечал ее присутствие в моем уединенном кабинете, только услышав милую музыку ее тихого прелестного голоса, только ощутив на своем плече прикосновение ее беломраморной руки. Ни одна дева не могла сравниться с ней красотой лица. Это было сияние опиумных грез — эфирное, возвышающее дух видение, даже более фантасмагорически божественное, чем фантазии, которые реяли над дремлющими душами дочерей Делоса. И тем не менее в ее чертах не было той строгой правильности, которую нас ложно учат почитать в классических произведениях языческих ваятелей. «Всякая пленительная красота, — утверждает Бекон, лорд Веруламский, говоря о формах и родах красоты, — всегда имеет в своих

пропорциях какую-то странность». И все же хотя я видел, что черты Лигейи лишены классической правильности, хотя я замечал, что ее прелесть поистине «пленительна», и чувствовал, что она исполнена «странности», тем не менее тщетны были мои усилия уловить, в чем заключалась эта неправильность, и понять, что порождает во мне ощущение «странного». Я разглядывал абрис высокого бледного лба — он был безупречен (о, как холодно это слово в применении к величию столь божественному!), разглядывал его кожу, соперничающую оттенком с драгоценнейшей слоновой костью, его строгую и спокойную соразмерность, легкие выпуклости на висках и, наконец, вороново-черные, блестящие, пышные, завитые самой природой кудри, которые позволяли постигнуть всю силу гомеровского эпитета «гиацинтовые»! Я смотрел на тонко очерченный нос — такое совершенство я видел только на изящных монетах древней Иудеи. Та же нежащая взгляд роскошная безупречность, тот же чуть заметный намек на орлиный изгиб, те же гармонично вырезанные ноздри, свидетельствующие о свободном духе. Я взирал на сладостный рот. Он поистине был торжествующим средоточием всего небесного — великолепный изгиб короткой верхней губы,

тихая истома нижней, игра ямочек, выразительность красок и зубы, отражавшие с блеском почти пугающим каждый луч священного света, когда они открывались ему в безмятежной и ясной, но также и самой ликующе-ослепительной из улыбок. Я изучал лепку ее подбородка и находил в нем мягкую ширину, нежность и величие, полноту и одухотворенность греков — те контуры, которые бог Аполлон лишь во сне показал Клеомену, сыну афинянина. И тогда я обращал взор на огромные глаза Лигейи.

Для глаз мы не находим образцов в античной древности. И может быть, именно в глазах моей возлюбленной заключался секрет, о котором говорил лорд Веруламский. Они, мнится мне, несравненно превосходили величиной обычные человеческие глаза. Они были больше даже самых больших газельих глаз женщин племени, обитающего в долине Нурджахад. И все же только по временам, только в минуты глубочайшего душевного волнения эта особенность Лигейи переставала быть лишь чуть заметной. И в такие мгновения ее красота (быть может, повинно в этом было одно мое разгоряченное воображение) представлялась красотой существа небесного или не землей рожденного — красотой сказочной

гурии турков. Цвет ее очей был блистающе-черным, их осеняли эбеновые ресницы необычной длины. Брови, изогнутые чуть-чуть неправильно, были того же оттенка. Однако «странность», которую я замечал в этих глазах, заключалась не в их величине, и не в цвете, и не в блеске — ее следовало искать в их выражении. Ах, это слово, лишенное смысла! За обширность его пустого звучания мы прячем свою неосведомленность во всем, что касается области духа. Выражение глаз Лигейи! Сколько долгих часов я размышлял о нем! Целую ночь накануне Иванова дня я тщетно искал разгадки его смысла! Чем было то нечто, более глубокое, нежели колодец Демокрита, которое таилось в зрачках моей возлюбленной? Что там скрывалось? Меня томило страстное желание узнать это. О, глаза Лигейи! Эти огромные, эти сияющие, эти божественные очи! Они превратились для меня в звезды-близнецы, рожденные Ледой, и я стал преданнейшим из их астрологов.

Среди многих непонятных аномалий науки о человеческом разуме нет другой столь жгуче волнующей, чем факт, насколько мне известно, не привлекший внимания ни одной школы и заключающийся в том, что, пытаясь воскресить в памяти нечто давно забытое, мы часто словно

бы уже готовы вот-вот вспомнить, но в конце концов так ничего и не вспоминаем. И точно так же, вглядываясь в глаза Лигейи, я постоянно чувствовал, что сейчас постигну смысл их выражения, чувствовал, что уже постигаю его, — и не мог постигнуть, и он вновь ускользал от меня. И (странная, о, самая странная из тайн!) в самых обычных предметах вселенной я обнаруживал круг подобий этому выражению. Этим я хочу сказать, что с той поры, как красота Лигейи проникла в мой дух и воцарилась там, словно в святилище, многие сущности материального мира начали будить во мне то же чувство, которое постоянно дарили мне и внутри, и вокруг меня ее огромные сияющие очи. И все же мне не было дано определить это чувство, или проанализировать его, или хотя бы спокойно обозреть. Я распознавал его, повторяю, когда рассматривал быстро растущую лозу или созерцал ночную бабочку, мотылька, куколку, струи стремительного ручья. Я ощущал его в океане и в падении метеора. Я ощущал его во взорах людей, достигших необычного возраста. И были две-три звезды (особенно одна — звезда шестой величины, двойная и переменная, та, что соседствует с самой большой звездой Лиры), которые, когда я глядел на них в телескоп, рождали

во мне то же чувство. Его несли в себе некоторые звуки струнных инструментов и нередко — строки книг. Среди бесчисленных других примеров мне ясно вспоминается абзац в трактате Джозефа Гленвилла, неизменно (быть может, лишь своей причудливостью — как знать?) пробуждавший во мне это чувство: «И в этом — воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог — ничто как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей».

Долгие годы и запоздалые размышления помогли мне даже обнаружить отдаленную связь между этими строками в труде английского моралиста и некоторыми чертами характера Лигейи. Напряженность ее мысли, поступков и речи, возможно, была следствием или, во всяком случае, свидетельством той колоссальной силы воли, которая за весь долгий срок нашей близости не выдала себя никакими другими, более непосредственными признаками. Из всех женщин, известных мне в мире, она — внешне спокойная, неизменно безмятежная Лигейя — с наибольшим исступлением отдавалась в жертву диким коршу-

нам беспощадной страсти. И эту страсть у меня не было никаких средств измерить и постичь, кроме чудодейственного расширения ее глаз, которые и восхищали, и страшили меня, кроме почти колдовской мелодичности, модулированности, четкости и безмятежности ее тихого голоса, кроме яростной силы (вдвойне поражающей из-за контраста с ее манерой говорить) тех неистовых слов, которые она так часто произносила.

Я упомянул про ученость Лигейи — поистине гигантскую, какой мне не доводилось встречать у других женщин. В древних языках она была на редкость осведомлена, и все наречия современной Европы — во всяком случае, известные мне самому, — она тоже знала безупречно. Да и довелось ли мне хотя бы единый раз обнаружить, чтобы Лигейя чего-то не знала — пусть даже речь шла о самых прославленных (возможно, лишь из-за своей запутанности) темах, на которых покоится хваленая эрудиция Академии? И каким странным путем, с каким жгучим волнением только теперь я распознал эту черту характера моей жены! Я сказал, что такой учености я не встречал у других женщин, но где найдется мужчина, который бы успешно пересек все широчайшие пределы нравственных, физических

и математических наук? Тогда я не постигал того, что столь ясно вижу теперь, — что знания Лигейи были колоссальны, необъятны, и все же я настолько сознавал ее бесконечное превосходство, что с детской доверчивостью подчинился ее руководству, погружаясь в хаотический мир метафизики, исследованиям которого я предавался в первые годы нашего брака. С каким бесконечным торжеством, с каким ликующим восторгом, с какой высокой надеждой распознавал я, когда Лигейя склонялась надо мной во время моих занятий (без просьбы, почти незаметно), ту восхитительную перспективу, которая медленно разворачивалась передо мной, ту длинную, чудесную, нехоженую тропу, которая обещала привести меня к цели — к мудрости слишком божественной и драгоценной, чтобы не быть запретной.

Так сколь же мучительно было мое горе, когда несколько лет спустя я увидел, как мои окрыленные надежды безвозвратно улетели прочь! Без Лигейи я был лишь ребенком, ощупью бродящим во тьме. Ее присутствие, даже просто ее чтение вслух озаряло ясным светом многие тайны трансцендентной философии, в которую мы были погружены. Лишенные животворного

блеска ее глаз, буквы, сияющие и золотые, становились более тусклыми, чем свинец Сатурна. А теперь эти глаза все реже и реже освещали страницы, которые я штудировал. Лигейя заболела. Непостижимые глаза сверкали слишком, слишком ослепительными лучами; бледные пальцы обрели прозрачно-восковой оттенок могилы, а голубые жилки на высоком лбу властно вздувались и опадали от самого легкого волнения. Я видел, что она должна умереть, — и дух мой вел отчаянную борьбу с угрюмым Азраилом. К моему изумлению, жена моя боролась с ним еще более страстно. Многие особенности ее сдержанной натуры внушили мне мысль, что для нее смерть будет лишена ужаса, — но это было не так. Слова бессильны передать, как яростно сопротивлялась она беспощадной Тени. Я стонал от муки, наблюдая это надрывающее душу зрелище. Я утешал бы, я убеждал бы, но перед силой ее необоримого стремления к жизни, к жизни — только к жизни! — и утешения, и уговоры были равно нелепы. И все же до самого последнего мгновения, среди самых яростных конвульсий ее неукротимого духа она не утрачивала внешнего безмятежного спокойствия. Ее голос стал еще нежнее, еще тише — и все же мне не хотелось бы касаться

безумного смысла этих спокойно произносимых слов. Моя голова туманилась и шла кругом, пока я завороженно внимал мелодии, недоступной простым смертным, внимал предположениям и надеждам, которых смертный род прежде не знал никогда.

О, я не сомневался в том, что она меня любила, и мог бы без труда догадаться, что в подобной груди способна властвовать лишь любовь особенная. Однако только с приходом смерти постиг я всю силу ее страсти. Долгими часами, удерживая мою руку в своей, она исповедовала мне тайны сердца, чья более чем пылкая преданность достигала степени идолопоклонства. Чем заслужил я блаженство подобных признаний? Чем заслужил я мучение разлуки с моей возлюбленной в тот самый час, когда услышал их? Но об этом я не в силах говорить подробнее. Скажу лишь, что в этом более чем женском растворении в любви — в любви, увы, незаслуженной, отданной недостойному — я наконец распознал природу неутолимой жажды Лигейи, ее необузданного стремления к жизни, которая теперь столь стремительно отлетала от нее. И вот этой-то необузданной жажды, этого алчного стремления к жизни — только к жизни! — я не могу описать,

ибо нет слов, в которые его можно было бы воплотить.

В ночь своей смерти, в глухую полночь, она властным мановением подозвала меня и потребовала, чтобы я прочел ей стихи, сложенные ею лишь несколько дней назад. Я повиновался. Вот эти стихи:

Спектакль-гала! Чу, срок настал,
Печалью лет повит.
Под пеленою покрывал
Сокрыв снега ланит,
Сияя белизной одежд,
Сонм ангелов следит
За пьесой страха и надежд,
И музыка сфер гремит.

По своему подобью Бог
Актеров сотворил.
Игрушки страха и тревог
Напрасно тратят пыл:
Придут, исчезнут, вновь придут,
Покорствуя веленью сил,
Что сеют горе и беду

Движеньем кондоровых крыл.

Пестра та драма и глупа,
Но ей забвенья нет:
По кругу мечется толпа
За призраком вослед,
И он назад приводит всех
Тропой скорбей и бед.
Безумие и черный грех
И ужас – ее сюжет.

Но вдруг актеров хоровод
Испуганно затих.
К ним тварь багряная ползет
И пожирает их.
Ползет, свою являя власть,
Жертв не щадя своих.
Кровавая зияет пасть –
Владыка судьб людских.

Всюду тьма, им всем гибель – удел.
Под бури пронзительный вой
На груды трепещущих тел
Пал занавес – мрак гробовой.

Покрывала откинувши, рек
Бледных ангелов плачущий строй,
Что трагедия шла – «Человек»
И был Червь Победитель – герой.

— О Бог! — пронзительно вскрикнула Лигейя, вскакивая и судорожно простирая руки к небесам, когда я прочел последние строки. — О Бог! О Божественный Отец! Должно ли всегда и неизменно быть так? Ужели этот победитель ни разу не будет побежден сам? Или мы не часть Тебя и не едины в Тебе? Кто… кто постигает тайны воли во всей мощи ее? Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей!

Затем, словно совсем изнемогшая от этого порыва, она уронила белые руки и скорбно вернулась на одр смерти. И когда она испускала последний вздох, вместе с ним с ее губ срывался чуть слышный шепот. Я почти коснулся их ухом и вновь различил все те же слова Гленвилла: «Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей».

Она умерла, и я, сокрушенный печалью во прах, уже не мог долее выносить унылого уединения

моего жилища в туманном ветшающем городе на Рейне. Я не испытывал недостатка в том, что свет зовет богатством. Лигейя принесла мне в приданое больше, — о, много, много больше, — чем обычно выпадает на долю смертных. И вот после нескольких месяцев тягостных и бесцельных странствий я купил и сделал пригодным для обитания старинное аббатство, которое не назову, в одной из наиболее глухих и безлюдных областей прекрасной Англии. Угрюмое величие здания, дикий вид окрестностей, множество связанных с ними грустных стародавних преданий весьма гармонировали с той безысходной тоской, которая загнала меня в этот отдаленный и никем не посещаемый уголок страны. Однако, хотя наружные стены аббатства, увитые, точно руины, вековым плющом, были сохранены в прежнем своем виде, внутренние его помещения я с ребяческой непоследовательностью, а может быть, и в безотчетной надежде утишить терзавшее меня горе, отделал с более чем королевским великолепием. Ибо еще в детские годы я приобрел вкус к этим суетным пустякам, и теперь он вернулся ко мне, точно знамение второго детства, в которое ввергла меня скорбь. Увы, я понимаю, сколько зарождающегося безумия можно было бы обна-

ружить в пышно прихотливых драпировках, в сумрачных изваяниях Египта, в невиданных карнизах и мебели, в сумасшедших узорах парчовых ковров с золотой бахромой! Тогда уже я стал рабом опиума, покорно подчинившись его узам, а потому все мои труды и приказы расцвечивались оттенками дурманных грез. Но к чему останавливаться на этих глупостях! Я буду говорить лишь о том вовеки проклятом покое, куда в минуту помрачения рассудка я привел от алтаря как юную мою супругу, как преемницу незабытой Лигейи белокурую и синеглазую леди Ровену Тремейн из рода Тревейньон.

Каждая архитектурная особенность, каждое украшение этого брачного покоя — все они стоят сейчас перед моими глазами. Где были души надменных родителей и близких новобрачной, когда в жажде золота они допустили, чтобы невинная девушка переступила порог комнаты, вот так украшенной? Я сказал, что помню эту комнату во всех подробностях, — я, который столь непростительно забывчив теперь, когда речь идет о предметах величайшей важности; а ведь в этой фантастической хаотичности не было никакой системы, никакого порядка, которые могли бы помочь памяти. Комната эта, расположенная в

одной из высоких башен похожего на замок аббатства, была пятиугольной и очень обширной. Всю южную сторону пятиугольника занимало окно — гигантское цельное венецианское стекло свинцового оттенка, так что лучи и солнца, и луны, проходя сквозь него, придавали предметам внутри мертвенный оттенок. Над этим колоссальным окном по решетке на массивной стене вились старые виноградные лозы. Необыкновенно высокий сводчатый потолок из темного дуба был покрыт искусной резьбой — самыми химерическими и гротескными образчиками полуготического-полудруидического стиля. Из самого центра этого мрачного свода на единой золотой цепи с длинными звеньями свисала огромная курильница из того же металла сарацинской чеканки, с многочисленными отверстиями, столь хитро расположенными, что из них непрерывно ползли и ползли, словно наделенные змеиной жизнью, струи разноцветного огня.

Там и сям стояли оттоманки и золотые восточные канделябры, а кроме них — ложе, брачное ложе индийской работы из резного черного дерева, низкое, с погребально-пышным балдахином. В каждом из пяти углов комнаты вертикально стояли черные гранитные саркофаги из царских

гробниц Луксора; с их древних крышек смотрели изваяния незапамятной древности. Но наиболее фантасмагоричны были, увы, драпировки, которые, ниспадая тяжелыми волнами, сверху донизу закрывали необыкновенно — даже непропорционально — высокие стены комнаты. Это были массивные гобелены, сотканные из того же материала, что и ковер на полу, что и покрывала на оттоманках и кровати из черного дерева, что и ее балдахин, что и драгоценные свитки занавеса, частично затенявшего окно. Материалом этим была бесценная золотая парча. Через неравномерные промежутки в нее были вотканы угольно-черные арабески около фута в поперечнике. Однако арабески эти представлялись просто узорами только при взгляде из одной точки. При помощи способа, теперь широко применяемого и прослеживаемого до первых веков античности, им была придана способность изменяться. Тому, кто стоял на пороге, они представлялись просто диковинными уродствами; но стоило вступить в комнату, как арабески эти начинали складываться в фигуры, и посетитель с каждым новым шагом обнаруживал, что его окружает бесконечная процессия ужасных образов, измышленных суеверными норманнами или возникших в сонных видениях

грешного монарха. Жуткое впечатление это еще усиливалось благодаря тому, что позади драпировок был искусственно создан непрерывный и сильный ток воздуха, который, заставляя фигуры шевелиться, наделял их отвратительным и пугающим подобием жизни.

Вот в каких апартаментах, вот в каком свадебном покое провел я с леди Тремейн не осененные благословением часы первого месяца нашего брака — и провел их, не испытывая особой душевной тревоги. Я не мог не заметить, что моя жена страшится моего яростного угрюмого нрава, что она избегает меня и не питает ко мне любви. Но это скорее было мне приятно. Я ненавидел ее исполненной отвращения ненавистью, какая свойственна более демонам, нежели человеку. Память моя возвращалась (о, с каким мучительным сожалением!) к Лигейе — возлюбленной, царственной, прекрасной, погребенной. Я наслаждался воспоминаниями о ее чистоте, о ее мудрости, о ее высокой, ее эфирной натуре, о ее страстной, ее боготворящей любви. Теперь мой дух поистине и щедро пылал пламенем даже еще более неистовым, чем огонь, снедавший ее. В возбуждении моих опиумных грез (ибо я постоянно пребывал в оковах этого дурмана) я громко звал

ее по имени как в ночном безмолвии, так и в уединении лесных лужаек среди бела дня, словно необузданной тоской, глубочайшей страстью, всепожирающим жаром томления по усопшей я мог вернуть ее на пути, покинутые ею — ужели, ужели навеки? — здесь на земле.

В начале второго месяца нашего брака леди Ровену поразил внезапный недуг, и выздоровление ее было трудным и медленным. Терзавшая ее лихорадка лишала больную ночного покоя, и в тревожном полусне она говорила о звуках и движениях, которыми была наполнена комната в башне, но я полагал, что они порождались ее расстроенным воображением или, быть может, фантасмагорическим воздействием самой комнаты. В конце концов ей стало легче, а потом она и совсем выздоровела. Однако минул лишь краткий срок, и новый, еще более жестокий недуг опять бросил ее на ложе страданий; здоровье ее никогда не было крепким и теперь совсем расстроилось. С этого времени ее болезни приобретали все более грозный характер, и еще более грозным было их постоянное возобновление — все знания и все старания ее врачей оказывались тщетными. Усиление хронического недуга, который, по-видимому, укоренился так глубоко, что

уже не поддавался излечению человеческими средствами, по моим почти невольным наблюдениям сочеталось с равным усилением нервного расстройства, сопровождавшегося, казалось бы, беспричинной пугливостью. Она все чаще и все упорнее твердила о звуках — о чуть слышных звуках — и о странном движении среди драпировок, про которые упоминала прежде.

Как-то ночью на исходе сентября больная с большей, чем обычно, настойчивостью заговорила со мной об этом тягостном предмете. Она только что очнулась от беспокойной дремоты, и я с тревогой, к которой примешивался смутный ужас, следил за сменой выражений на ее исхудалом лице. Я сидел возле ее ложа черного дерева на одной из индийских оттоманок. Ровена приподнялась и тихим исступленным шепотом говорила о звуках, которые слышала в это мгновение — но которых я не слышал, о движении, которое она видела в это мгновение — но которого я не улавливал. За драпировками проносился сильный ветер, и я решил убедить Ровену (хотя, признаюсь, сам этому верил не вполне), что это почти беззвучное дыхание и эти чуть заметные изменения фигур на стенах были лишь естественными следствиями постоянного воздушного тока

за драпировками. Однако смертельная бледность, разлившаяся по ее лицу, сказала мне, что мои усилия успокоить ее останутся тщетными. Казалось, она лишается чувств, а возле не было никого из слуг. Я вспомнил, где стоял графин с легким вином, которое предписал ей врач, и поспешно пошел за ним в дальний конец комнаты. Но когда я вступил в круг света, отбрасываемого курильницей, мое внимание было привлечено двумя поразительными обстоятельствами. Я ощутил, как мимо, коснувшись меня, скользнуло нечто невидимое, но материальное, и заметил на золотом ковре в самом центре яркого сияющего круга, отбрасываемого курильницей, некую тень — прозрачное, туманное ангельское подобие: тень, какую могло бы отбросить призрачное видение. Но я был вне себя от возбуждения, вызванного особенно большой дозой опиума, и сочтя эти явления не стоящими внимания, ничего не сказал о них Ровене. Отыскав графин, я вернулся к ней, налил бокал вина и поднес его к ее губам. Однако она уже немного оправилась и взяла бокал сама, а я опустился на ближайшую оттоманку, не сводя глаз с больной. И вот тогда-то я совершенно ясно расслышал легкие шаги по ковру возле ее ложа, а мгновение спустя, когда Ровена готовилась

отпить вино, я увидел — или мне пригрезилось, что я увидел, как в бокал, словно из невидимого сокрытого в воздухе источника, упали три-четыре большие блистающие капли рубинового цвета. Но их видел только я, а не Ровена. Она без колебаний выпила вино, я же ничего не сказал ей о случившемся, считая, что все это могло быть лишь игрой воображения, воспламененного страхами больной, опиумом и поздним часом.

И все же я не могу скрыть от себя, что сразу же после падения рубиновых капель состояние Ровены быстро ухудшилось, так что на третью ночь руки прислужниц уже приготовили ее для погребения, а на четвертую я сидел наедине с ее укутанным в саван телом в той же фантасмагорической комнате, куда она вступила моей молодою женой. Перед моими глазами мелькали безумные образы, порожденные опиумом. Я устремлял тревожный взор на саркофаги в углах, на меняющиеся фигуры драпировок, на извивающиеся многоцветные огни курильницы в вышине. Вспоминая подробности недавней ночи, я посмотрел на то освещенное курильницей место, где я увидел тогда неясные очертания тени. Но на этот раз ее там не было, и, вздохнув свободнее, я обратил взгляд на бледную и неподвижную

фигуру на ложе. И вдруг на меня нахлынули тысячи воспоминаний о Лигейе — и с бешенством разлившейся реки в мое сердце вновь вернулась та невыразимая мука, с которой я глядел на Лигейю, когда такой же саван окутывал ее. Шли ночные часы, а я, исполненный горчайших дум о единственной и бесконечно любимой, все еще смотрел на тело Ровены.

В полночь — а может быть, позже или раньше, ибо я не замечал времени, — рыдающий вздох, тихий, но ясно различимый, заставил меня очнуться. Мне почудилось, что он донесся с ложа черного дерева, с ложа смерти. Охваченный суеверным ужасом, я прислушался, но звук не повторился. Напрягая зрение, я старался разглядеть, не шевельнулся ли труп, но он был неподвижен. И все же я не мог обмануться. Я бесспорно слышал этот звук, каким бы тихим он ни был, и душа моя пробудилась. С упорным вниманием я не спускал глаз с умершей. Прошло много минут, прежде чем случилось еще что-то, пролившее свет на тайну. Но наконец стало очевидным, что очень слабая, еле заметная краска разлилась по щекам и по крохотным спавшимся сосудам век. Пораженный неизъяснимым ужасом и благоговением, для описания которого в

языке смертных нет достаточно сильных слов, я ощутил, что сердце мое перестает биться, а члены каменеют. Однако чувство долга в конце концов заставило меня сбросить парализующее оцепенение. Нельзя было долее сомневаться, что мы излишне поторопились с приготовлениями к похоронам — что Ровена еще жива. Нужно было немедленно принять необходимые меры, но башня находилась далеко в стороне от той части аббатства, где жили слуги и куда они все удалились на ночь, — чтобы позвать их на помощь, я должен был бы надолго покинуть комнату, а этого я сделать не решался. И в одиночестве я прилагал все усилия, чтобы удержать дух, еще не покинувший тело. Но вскоре стало ясно, что они оказались тщетными, — краска исчезла со щек и век, сменившись более чем мраморной белизной, губы еще больше запали и растянулись в жуткой гримасе смерти, отвратительный липкий холод быстро распространился по телу, и его тотчас сковало обычное окостенение. Я с дрожью упал на оттоманку, с которой был столь страшным образом поднят, и вновь предался страстным грезам о Лигейе.

Так прошел час, а затем (могло ли это быть?) я вторично услышал неясный звук, донесшийся

со стороны ложа. Я прислушался, вне себя от ужаса. Звук раздался снова — это был вздох. Кинувшись к трупу, я увидел — да-да, увидел! — как затрепетали его губы. Мгновение спустя они полураскрылись, обнажив блестящую полоску жемчужных зубов. Изумление боролось теперь в моей груди со всепоглощающим страхом, который до этого властвовал в ней один. Я чувствовал, что зрение мое тускнеет, рассудок мутится, и только ценой отчаянного усилия я наконец смог принудить себя к исполнению того, чего требовал от меня долг. К этому времени ее лоб, щеки и горло слегка порозовели и все тело потеплело. Я ощутил даже слабое биение сердца. Она была жива! И с удвоенным жаром я начал приводить ее в чувство. Я растирал и смачивал спиртом ее виски и ладони, я пускал в ход все средства, какие подсказывали мне опыт и немалое знакомство с медицинскими трактатами. Но втуне! Внезапно розовый цвет исчез, сердце перестало биться, губы вновь сложились в гримасу смерти, и миг спустя тело обрело льдистый холод, свинцовую бледность, жесткое окостенение, угловатость очертаний и все прочие жуткие особенности, которые обретает труп, много дней пролежавший в гробнице.

И вновь я предался грезам о Лигейе, и вновь (удивительно ли, что я содрогаюсь, когда пишу эти строки?), вновь с ложа черного дерева до меня донесся рыдающий вздох. Но к чему подробно пересказывать невыразимые ужасы этой ночи? К чему медлить и описывать, как опять и опять почти до первых серых лучей рассвета повторялась эта жуткая драма оживления, прерываясь новым жестоким и, казалось бы, победным возвращением смерти? Как каждая агония являла черты борьбы с каким-то невидимым врагом и как каждая такая борьба завершалась неописуемо страшным преображением трупа? Нет, я сразу перейду к завершению.

Эта жуткая ночь уже почти миновала, когда та, что была мертва, еще раз шевельнулась — и теперь с большей энергией, чем прежде, хотя восставая из окостенения, более леденящего душу своей полной мертвенностью, нежели все предыдущие. Я уже давно отказался от всяких попыток помочь ей и, бессильно застыв, сидел на оттоманке, охваченный бурей чувств, из которых невыносимый ужас был, пожалуй, наименее мучительным и жгучим. Труп, повторяю, пошевелился, и на этот раз гораздо энергичней, чем раньше. Краски жизни с особой силой вспых-

нули на лице, члены расслабились, и, если бы не сомкнутые веки и не погребальные покровы, которые все еще сообщали телу могильную безжизненность, я мог бы вообразить, что Ровене удалось наконец сбросить оковы смерти. Но если даже в тот миг я не мог вполне принять эту мысль, то для сомнений уже не было места, когда, восстав с ложа, неверными шагами, не открывая глаз, словно в дурмане тяжкого сна, фигура, завернутая в саван, выступила на самую середину комнаты!

Я не вздрогнул, я не шелохнулся, ибо в моем мозгу пронесся вихрь невыносимых подозрений, рожденных обликом, осанкой, походкой этой фигуры, парализуя меня, превращая меня в камень. Я не шелохнулся и только глядел на это видение. Мысли мои были расстроены, были ввергнуты в неизъяснимое смятение. Неужели передо мной действительно стояла живая Ровена? Неужели это Ровена — белокурая и синеглазая леди Ровена Тремейн из рода Тревейньон? Почему, почему усомнился я в этом? Рот стягивала тугая повязка, но разве он не мог быть ртом очнувшейся леди Тремейн? А щеки — на них цвели розы, как в дни ее беззаботной юности… да, конечно, это могли быть щеки ожившей леди Тремейн. А подбородок

с ямочками, говорящими о здоровье, почему он не мог быть ее подбородком? Но в таком случае за дни своей болезни она стала выше ростом?! Какое невыразимое безумие овладело мной при этой мысли? Одним прыжком я очутился у ее ног. Она отпрянула от моего прикосновения, окутывавшая ее голову жуткая погребальная пелена упала, и гулявший по комнате ветер заиграл длинными спутанными прядями пышных волос — они были чернее вороновых крыл полуночи! И тогда медленно раскрылись глаза стоявшей передо мной фигуры.

— В этом… — пронзительно вскрикнул я, — да в этом я не могу ошибиться! Это они — огромные, и черные, и пылающие глаза моей потерянной возлюбленной… леди… ЛЕДИ ЛИГЕЙИ!

Падение Дома Ашеров[24]

Son coeur est un luth suspendu; Sitôt qu'on le touche il résonne[25].

Беранже

В течение всего унылого, темного, глухого осеннего дня, когда тучи нависали гнетуще низко, я в одиночестве ехал верхом по удивительно безрадостной местности и, когда сумерки начали сгущаться, наконец обнаружил в поле моего зрения Дом Ашеров. Не знаю отчего, но при первом взгляде на здание я ощутил невыносимую подавленность. Я говорю «невыносимую», ибо она никак не смягчалась полуприятным из-за своей поэтичности впечатлением, производимым даже самыми угрюмыми образами природы, исполненными запустения или страха. Я взглянул на представший мне вид — на сам дом и на незатейливый ландшафт поместья — на хмурые стены — на пустые окна, похожие на глаза, — на редкую,

[24] Сноски: 24

© Перевод. В. Рогов, наследник, 2016

[25] Сноски: 25

Его сердце — висящая лютня.
Коснешься — и она зазвучит *(фр.)*.

высохшую осоку — и на редкие белые стволы гнилых деревьев — и испытал совершенный упадок духа, который могу изо всех земных ощущений достойнее всего сравнить с тем, что испытывает, приходя в себя, курильщик опиума, — горький возврат к действительности — ужасное падение покрывала. Сердце леденело, замирало, ныло — ум безысходно цепенел, и никакие потуги воображения не могли внушить ему что-либо возвышенное. Что же — подумал я — что же так смутило меня при созерцании Дома Ашеров? Тайна оказалась неразрешимою; не мог я справиться и с призрачными фантазиями, что начали роиться, пока я размышлял. Мне пришлось вернуться к неудовлетворительному выводу о том, что, хотя и существуют очень простые явления природы, способные воздействовать на нас подобным образом, но анализ этой способности лежит за пределами нашего понимания. Быть может, подумалось мне, если бы хоть что-то в этом виде, так сказать, какие-то детали картины были расположены иначе, то этого оказалось бы достаточным, дабы изменить или вовсе уничтожить впечатление, им производимое; и, последовав этой мысли, я направил коня к крутому обрыву зловещего черного озера, невозмутимо мерцавшего рядом

с домом, и посмотрел вниз — но с еще большим содроганием — на отраженные, перевернутые стебли седой осоки, уродливые деревья и пустые, похожие на глазницы, окна.

И все же я предполагал провести несколько недель в этой мрачной обители. Владелец ее, Родерик Ашер, был один из близких товарищей моего отрочества; но с нашей последней встречи протекло много лет. Однако недавно ко мне издалека дошло письмо — письмо от него, — на которое, ввиду его отчаянной настоятельности, письменного ответа было бы недостаточно. Оно свидетельствовало о нервном возбуждении. Ашер писал о тяжком телесном недуге — об изнуряющем его душевном расстройстве — и о снедающем желании видеть меня, его лучшего, да и единственного друга, дабы попытаться веселостью моего общества хоть как-то облегчить болезнь. Именно тон, каким было высказано это, и гораздо большее — очевидная *пылкость* его мольбы — не оставили мне места для колебаний; и я незамедлительно откликнулся на призыв, который все еще почитал весьма необычным.

Хотя в отрочестве мы были очень близки, я по-настоящему очень мало знал о моем друге. Он всегда отличался чрезмерной и неизменной

замкнутостью. Однако я знал, что его весьма древний род с незапамятных времен отличался необычною душевною чувствительностью, выражавшейся на протяжении долгих веков в создании многочисленных высоких произведений искусства, а с недавних пор — в постоянной, щедрой, но ненавязчивой благотворительности, равно как и в страстной приверженности даже не к привычным и легко узнаваемым красотам музыки, но к ее изыскам. Узнал я и весьма замечательный факт: что родословное древо Ашеров никогда в течение многих столетий не давало прочных ветвей; иными словами, что весь род продолжался по прямой линии и что так было всегда, лишь с весьма незначительными и скоропреходящими исключениями. Быть может, раздумывал я, мысленно дивясь, сколь полно облик поместья соответствует общепризнанному характеру владельцев, и гадая о возможном влиянии, какое за сотни и сотни лет первое могло оказать на второй — быть может, именно отсутствие боковых ветвей рода и неизменный переход владений и имени по прямой линии от отца к сыну в конце концов так объединили первое со вторым, что название поместья превратилось в чудное и двузначное наименование

«Дом Ашеров» — наименование, которое объединяло в умах окрестных поселян и род, и родовой замок.

Я сказал, что мой несколько ребяческий опыт — взгляд на отражения в воде — лишь углубил необычное первоначальное впечатление. Несомненно, сознание быстрого роста моей суеверной — почему бы не назвать ее так? — моей суеверной подавленности лишь способствовало ему. Таков, как я давно знал, парадоксальный закон всех чувств, зиждущихся на страхе. И, быть может, лишь по этой причине, снова подняв глаза к самому дому от его отражения, я был охвачен странною фантазией — фантазией, воистину столь нелепою, что упоминаю о ней лишь с целью показать, сколь сильно был я подавлен моими ощущениями. Я так взвинтил воображение, что вправду поверил, будто и дом, и поместье обволакивала атмосфера, присущая лишь им да ближайшим окрестностям, — атмосфера, не имеющая ничего общего с воздухом небес, но поднявшаяся в виде испарений от гнилых деревьев, серой стены и безмолвного озера — нездоровая и загадочная, отупляющая, сонная, заметного свинцового оттенка.

Отогнав от души то, что *не могло* не быть

грезой, я с большею пристальностью осмотрел истинное обличье здания. Казалось, главною его чертою была крайняя ветхость. Века сильно переменили его цвет. Все здание покрывали плесень и мох, свисая из-под крыши тонкою, спутанною сетью. Но какого-либо явного разрушения не наблюдалось. Каменная кладка вся была на месте; и глазам представало вопиющее несоответствие между все еще безупречной соразмерностью частей и отдельными камнями, которые вот-вот раскрошатся. Многое напоминало мне обманчивую цельность старого дерева, долгие годы гнившего в каком-нибудь заброшенном склепе, не тревожимом ни единым дуновением извне. Однако, помимо этого свидетельства большого запустения, сам материал не обладал признаками непрочности. Быть может, взор дотошного наблюдателя разглядел бы едва заметную трещину, что зигзагом спускалась по фасаду от крыши и терялась в угрюмых водах озера.

Заметив все это, я по короткой аллее подъехал к дому. Слуга принял моего коня, и я вступил под готические арки, ведущие в холл. После этого неслышно ступающий лакей повел меня по темным и запутанным коридорам в кабинет своего господина. Многое по дороге туда, не знаю уж

каким образом, усиливало неясные ощущения, о которых я ранее говорил. Если все вокруг — резьба потолков, мрачные гобелены по стенам, эбеновая чернота полов, а также развешанное оружие и фантасмагорические латы, громыхавшие от моих шагов, — было мне привычно с детства или напоминало что-нибудь привычное — и я не мог этого не признать — я все же изумлялся, обнаруживая, какие неожиданные фантазии рождались во мне знакомыми предметами. На одной из лестниц нам повстречался домашний врач. Лицо его, как мне показалось, носило смешанное выражение низменной хитрости и растерянности. Он испуганно поздоровался со мною и пошел своей дорогой. Затем лакей распахнул дверь и ввел меня к господину.

Комната, в которой я очутился, была очень большая и высокая. Длинные, узкие, остроконечные окна находились так высоко от черного дубового пола, что до них никак нельзя было дотянуться. Слабые отблески красноватых лучей пробивались сквозь частые оконные переплеты, отчего более крупные предметы в комнате были достаточно видны; однако глаз тщетно пытался достичь отдаленных уголков покоя или углублений в сводчатом, покрытом резьбою потолке. На

стенах висели темные драпировки. Стояло много мебели, неудобной, старинной, изношенной. В обилии разбросанные книги и музыкальные инструменты не оживляли вида. Я почувствовал, что дышу атмосферою скорби. Все пронизывала суровая, глубокая и безысходная мрачность.

Когда я вошел, Ашер поднялся с дивана, где лежал, вытянувшись во весь рост, и приветствовал меня с веселостью и жаром, заключавшими в себе многое, как мне сперва показалось, от преувеличенной сердечности, от принужденных потуг пресыщенного светского человека. Но один взгляд на лицо его убедил меня в его совершенной искренности. Мы сели; и несколько мгновений, пока он молчал, я взирал на него наполовину с жалостью, наполовину в испуге. Нет, никогда за столь краткий срок не менялся человек так ужасно, как изменился Родерик Ашер! С трудом заставил я себя признать в изможденном существе, сидевшем предо мною, товарища моего раннего отрочества. Но все же лицо его было замечательно в любую пору. Мертвенный цвет лица; большие влажные глаза, полные несравненного блеска; губы, довольно тонкие и очень бледные, но поразительно красивые по рисунку; тонкий нос еврейского типа, но с необычно ши-

рокими для подобной формы ноздрями; изящно вылепленный подбородок, недостаточно выступающий вперед, что говорило о душевной слабости; волосы мягче и тоньше паутины — эти черты, в сочетании с непропорционально высоким лбом, составляли в совокупности облик, который нелегко забыть. А теперь сама преувеличенность главного характера этих черт и их выражения так их меняла, что я усумнился, с кем же я разговариваю. Ужасающая бледность кожи и сверхъестественный блеск в глазах более всего поразили и даже испугали меня. А шелковистые волосы, давно не чесанные, тонкие и почти невесомые, не обрамляли ему лицо, а как бы парили вокруг него, и я даже с усилием не мог объединить его фантастическое выражение с понятием о простом смертном.

В поведении моего друга меня сразу поразила некая непоследовательность — некий алогизм; и я скоро понял, что проистекал он от многих слабых и тщетных попыток унять постоянную дрожь — крайнее нервное возбуждение. К чему-то подобному я, правда, был подготовлен и его письмом, и некоторыми особенностями его отроческих лет, и выводами, сделанными из наблюдений над свойствами его необычного ор-

ганизма и темперамента. Он был то оживлен, то подавлен. Голос его резко переходил от неуверенной дрожи (когда бодрость совершенно угасала) к того рода энергической сжатости — тому крутому, неторопливому и гулкому произношению — тем тяжеловесным, уравновешенным, безукоризненно модулированным гортанным нотам, что можно заметить у безнадежных жертв алкоголя или неисправимых опиоманов в пору их наибольшей взволнованности.

Таким-то образом говорил он о цели моего посещения, о горячем желании повидать меня и об облегчении, им от меня ожидаемом. Он довольно пространно объяснил мне то, что считал природою своей болезни. То был, по его словам, врожденный и наследственный недуг, лекарство от которого он отчаялся найти — просто-напросто нервное расстройство, тут же прибавил он, которое, несомненно, скоро пройдет. Выражалось оно в обилии противоестественных ощущений. Иные из них меня заинтересовали и повергли в растерянность; хотя, быть может, повлияли отдельные его слова и общая манера повествования. Он очень страдал от болезненной обостренности чувств; он мог есть лишь самую пресную пищу; он мог носить одежду только из

определенной материи; всякий запах цветов угнетал его; свет, даже тусклый, терзал ему глаза; и лишь особые звуки струнных инструментов не вселяли в него ужас.

Я понял, что он во власти ненормальной разновидности страха. «Я погибну, — сказал он, — я *должен* погибнуть от этого прискорбного помешательства. Так, так, а не иначе, настигнет меня конец. Я боюсь грядущих событий, не их самих, а того, что они повлекут за собою. Дрожь пронизывает меня при мысли о любом, пусть самом ничтожном случае, способном воздействовать на мою непереносимую душевную чувствительность. Нет, меня отвращает не опасность, а ее абсолютное выражение — ужас. При моих плачевно расшатанных нервах я чувствую, что рано или поздно придет время, когда я вынужден буду расстаться сразу и с жизнью, и с рассудком, во время какой-нибудь схватки с угрюмым призраком — страхом».

Постепенно я узнал из несвязных и малопонятных намеков еще об одной необычной черте его душевного состояния. Он был окован некоторыми суеверными представлениями относительно своего жилища, откуда он в течение многих лет ни разу не выезжал, — относительно влияния,

о предполагаемой силе которого он поведал в выражениях, чрезмерно туманных, дабы их здесь пересказывать, — влияния, какое известные особенности зодчества и материала его фамильного замка ввиду многолетней привычки обрели над его душою, — таков был эффект, произведенный обликом серых башен и стен и тусклого озера, куда они все смотрели, на *духовное* начало его существования.

Однако он признался, хотя и не сразу, что столь обуявшая его необычная унылость во многом зависела от более естественной и более веской причины: от беспощадной и длительной болезни — говоря по правде, от несомненно приближающегося угасания — нежно любимой сестры, его единственного друга на протяжении долгих лет, последней из его родни на свете. Ее кончина, сказал он с незабываемой горечью, ее кончина оставит его (его, безнадежного, хрупкого) последним в древнем роде Ашеров. Пока он говорил это, леди Маделина (так ее звали) прошла по отдаленной части покоя и, не заметив моего присутствия, скрылась. Я смотрел на нее с полным изумлением и не без испуга; и все же не в силах был объяснить возникновение подобных чувств. Смотря на нее, я цепенел. Когда, наконец,

за нею закрылась дверь, я тотчас, бессознательно и нетерпеливо, повернулся к брату; но он закрыл лицо руками, и я только мог увидеть, что бледность еще сильнее обычного разлилась по его исхудалым пальцам, сквозь которые сочились обильные, жаркие слезы.

Болезнь леди Маделины долго ставила в тупик ее врачей. Устойчивая апатия, постепенное увядание и нередкие, хотя и краткие припадки отчасти каталептического характера составляли необычный диагноз. До сей поры она стойко сопротивлялась натиску болезни и отказывалась слечь; но в сумерки того дня, когда я приехал (как с невыразимым волнением поведал мне вечером ее брат), она сдалась обессиливающему могуществу разрушительницы; и я узнал, что мимолетный взгляд, брошенный мною на нее, вероятно, окажется последним и что я более не увижу ее — по крайней мере живую.

Несколько последующих дней ни Ашер, ни я не упоминали ее имени; и это время я был поглощен настойчивыми попытками рассеять уныние моего друга. Мы вместе занимались живописью и чтением, или я слушал, как во сне, буйные импровизации его говорящей гитары. И по мере того, как наша близость росла и росла, все глуб-

же допуская меня к тайникам его души, тем с большею горечью сознавал я тщетность любой попытки развеселить душу, из которой мрак, словно ее неотъемлемая и непременная особенность, изливался на все духовное и материальное единым и непрерывным излучением тоски.

Вовеки не покинет меня память о многих угрюмых часах, что я провел подобным образом наедине с властелином Дома Ашеров. И все же мне бы не удалась никакая попытка дать хотя бы слабое представление, в чем именно состояли занятия, в каких я под его водительством принимал участие. Его неуравновешенная, взвинченная мечтательность отбрасывала на все адский отблеск. Его длинные импровизированные надгробные плачи будут вечно звенеть у меня в ушах. Помимо всего прочего, память моя мучительно хранит некую удивительную извращенную вариацию на тему безумной мелодии из последнего вальса фон Вебера. Из картин, которые разрабатывала его изощренная фантазия и которые, мазок за мазком, наделялись зыбкостью, вселявшей в меня дрожь, тем более трепетную, что необъяснимую — из его картин (как живо ни стоят сейчас предо мною их образы) я тщетно пытался извлечь более, нежели малую долю,

поддающуюся словесному выражению. Полною простотою, нагою четкостью рисунка они приковывали и подчиняли внимание. Если когда-либо смертный способен был живописать идею, этот смертный был Родерик Ашер. По крайней мере для меня, в тогдашней обстановке, из чистых отвлеченностей, кои моему ипохондрическому другу удавалось запечатлеть на холсте, возникал невыносимый ужас, столь напряженный, что и тени его я не ощущал при созерцании безусловно блестящих, но все же чересчур конкретных грез Фюзели.

Одно из фантасмагорических творений моего друга, не столь беспощадно отвлеченное, хотя и в слабой степени, но может быть передано словами. Маленькая картина изображала внутренность неимоверно длинного прямоугольного склепа или подземного хода, низкого, с гладкими белыми стенами, без какого-либо узора или нарушения поверхности. Некоторые второстепенные детали рисунка давали почувствовать, что склеп этот пролегает на огромной глубине под землею. На всем его необозримом протяжении не виднелось ни единой отдушины, не было ни факелов, ни каких-либо других искусственных источников света; и все-таки по склепу лился поток

резких лучей, заливая его жутким и неуместным сиянием.

Я только что говорил о болезненном состоянии слухового нерва, делавшим для страдальца невыносимою всякую музыку, за исключением некоторых звучаний струнных инструментов. Быть может, узкая сфера, которою он был ограничен, — гитара — в значительной мере обусловила фантастичность его игры. Но пылкая *легкость* его импровизаций не может быть объяснена подобным образом. Должно быть, они являлись и в музыке, и в словах его безумных фантазий (ибо он нередко сопровождал музыку импровизированными стихами) итогом той напряженной умственной собранности и сосредоточенности, о коей я упоминал ранее как о наблюдаемой лишь в мгновения особой и чрезмерной взволнованности, искусственно вызванной. Слова одной из этих рапсодий я без труда запомнил. Быть может, она произвела на меня тем более сильное впечатление, пока он ее исполнял, что, как мне показалось, я впервые усмотрел в ней полное осознание Ашером того, что престол его высокого разума пошатнулся. Стихи, озаглавленные «Заколдованный чертог», звучали приблизительно, а быть может, и в точности, так:

I

II

III

IV

V

VI

Добрых ангелов обитель,
Расцветал зеленый лог;
Там, равнины повелитель,
Воздымал главу чертог.
Где владенья Мысли были,
Он стоял!
Ввек над лучшим краем крылий
Серафим не простирал.

Золотистые знамена
Осеняли светлый кров
(Было так во время оно,
В бездне веков);
И каждый ветерок, что вился
Вокруг знамен,
От пышной крыши уносился

Благоуханьем напоен.

Виден странникам в долине
Танец был сквозь два окна
Духов, полных благостыни;
Лютня там была слышна,
Что полнила волной гармоний
Роскошный зал –
Порфирородный там на троне
Властитель края восседал.

Сияли на вратах чертога
Рубины, перлы в те года –
Лилось там много, много, много
Искрящихся всегда
Прелестных Звуков без начала,
Чья цель была
Петь гимны, дабы в них звучала
Уму владетеля хвала.

Но в черных ризах злые духи
Напали на чертог царя;
(Ах, восскорбим: среди разрухи
Не запылает вновь заря!)

И прошлой славы ликованье
Во всем краю кругом –
Лишь полустертое преданье
О сгинувшем былом.

И видят путники в долине:
Сквозь окна льется красный свет
И чудища кружатся ныне
Под музыку, где лада нет;
А в своде врат поблекших вьется
Нечистых череда,
Хохочут – но не улыбнется
Никто и никогда.

Отлично помню, что эта баллада наводила нас на цепь размышлений, делавших ясною одну мысль Ашера, о коей упоминаю не ради ее новизны (ибо так думали и другие)[26], но из-за упорства, с каким он ее отстаивал. Мысль эта, в общем, сводилась к мнению о том, что все растительное наделено чувствительностью. Но в его расстроенном воображении эта идея приобрела более дерзновенный характер и, при некоторых

[26] Сноски: 26
Уотсон, д-р Персиваль, Спалланцани и в особенности епископ Ландафф. См. «Очерки по химии», том V. — *Примеч. авт.*

случаях, вторгалась в царство неорганической материи. У меня нет слов, дабы выразить всю меру и бесконечную полноту его убежденности. Представление это, однако, связано было (как я намекал ранее) с серыми камнями его дедовской усадьбы. Чувствительность этого дома, по его понятиям, образована была методою соединения камней, порядком их размещения, равно как и плесенью, покрывавшею их и стоящие окрест гнилые деревья — и прежде всего длительной, ничем не смущаемой незыблемостью целого и его удвоением в застывших водах озера. Свидетельство тому, что чувствительность эта существует, заключалось, по его словам (и, пока он говорил это, я вздрогнул), в постепенном, но зыбком сгущении неповторимой атмосферы вокруг озера и стен. Последствия можно было усмотреть, добавил он, в том безгласном, но неослабном и ужасающем влиянии, что долгие века ваяло судьбы его рода и сделало его таким, каким я теперь его вижу, — таким, каким он стал. Подобные мнения не нуждаются в комментариях, и я от них воздержусь.

Наши книги — книги, что многие годы составляли немаловажную часть умственной жизни больного, — как и следовало предпола-

гать, пребывали в строгом соответствии с его фантастическими понятиями. Мы внимательно перечитывали такие труды, как «Вер-Вер» и «Монастырь» Грессе; «Бельфагор» Макиавелли; «Небо и ад» Сведенборга; «Подземное путешествие Николаса Климма» Хольберга; «Хиромантию» Роберта Флада, Жана д'Эндажине и Делашамбра; «Путешествие в голубую даль» Тика и «Город Солнца» Кампанеллы. Любимою книгою Ашера был изданный в восьмую листа томик — «Директориум Инквизиторум», сочинение доминиканца Эймерика де Жиронна; а некоторые строки Помпония Мелы, посвященные древним африканским сатирам и эгипанам, могли на долгие часы повергнуть Ашера в грезы. Но более всего доставляло ему наслаждение изучать крайне редкую и любопытную книгу, напечатанную готическим шрифтом в четвертую листа, — руководство некоей забытой церкви — «Vigiliae Mortuorum secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae»[27].

Я не мог не подумать о странных обрядах, описанных в этой книге, и об ее неизбежном влиянии на больного, когда как-то вечером, отрывисто

---

[27] Сноски: 27

«Бдения по усопшим согласно хору Магонтинской церкви» *(лат.).*

уведомив меня о том, что леди Маделины не стало, он высказал намерение на две недели (до окончательного погребения) поместить ее тело в одном из бесчисленных склепов под центральной частью здания. Однако житейская причина, приводимая в обоснование столь необычайного решения, была такова, что я не счел себя вправе оспаривать ее. Он решился на подобный поступок (как он мне объяснил), размышляя об особом заболевании усопшей, о некоторых настоятельных и неотвязных расспросах со стороны ее врачей, а также ввиду того, что фамильное кладбище находилось далеко и в открытом месте. Не стану отрицать, что, припомнив зловещий вид врача, которого в день моего прибытия я встретил на лестнице, я не испытал желания противодействовать тому, что почел в крайнем случае лишь безвредною и вполне естественною предосторожностью.

По просьбе Ашера я сам участвовал в подготовке временного погребения. Мы вдвоем, без посторонних, отнесли гроб с телом. Склеп, куда мы его поместили (и который не отпирали так долго, что наши факелы, полупогасшие в спертом воздухе, не давали нам возможности много рассмотреть), был маленький, сырой, не допуска-

ющий решительно никакого света; пролегал он на большой глубине и прямо под тою частью здания, где находилась моя спальня. По-видимому, в далекие феодальные времена он нес худший из видов службы подземелья в донжоне, а впоследствии им пользовались для хранения пороха или какого-либо иного легковоспламеняющегося вещества, ибо часть пола и весь длинный сводчатый коридор, ведущий к склепу, были тщательно обиты медью. Массивная железная дверь также была укреплена подобным образом. От своего огромного веса она, двигаясь на шарнирах, издавала необычайно резкий скрежет.

Поместив нашу печальную ношу на козлы, стоявшие в этой обители ужаса, мы частично отодвинули еще не привинченную крышку гроба и стали взирать на лик лежащей в нем. Поразительное сходство брата с сестрою впервые бросилось мне в глаза; и Ашер, вероятно, угадав мои мысли, неясно произнес несколько слов, из коих я узнал, что они с усопшею — близнецы и что меж ними всегда существовала малопостижимая связь. Однако взоры наши недолго оставались прикованными к мертвой — ибо мы не могли смотреть на нее без содрогания. Болезнь, сгубившая ее во цвете лет, оставила, как это обычно бывает при

всех заболеваниях, по природе сугубо каталептических, легкое подобие румянца на щеках и груди умершей и ту подозрительно застывшую улыбку на устах, что так ужасает у мертвецов. Мы завинтили крышку и, заперев железную дверь, с трудом проследовали в немногим менее мрачные апартаменты наверху.

И вот, по прошествии нескольких тяжелых дней, характер умственного расстройства моего друга претерпел заметные изменения. Его обычная манера держаться исчезла. Его обычные занятия оказались заброшены или забыты. Он бесцельно метался из комнаты в комнату — торопливо, неровным шагом. Бледность его приобрела, если только это возможно, еще более жуткий оттенок — но блеск в глазах его совершенно погас. Ранее голос его иногда звучал глухо, но не теперь; дрожь, трепет, как бы внушенные крайним ужасом, слышались во всех его речах. Право, мне порою казалось, что его постоянно взволнованный ум пребывает в борении с некою гнетущею тайною и Ашер напрягается, тщась накопить достаточно сил, чтобы ее поведать. А порою мне приходилось относить все это просто-напросто к необъяснимым выходкам безумия, потому что я наблюдал, как долгие часы он с ви-

дом глубочайшей поглощенности сидел, уставясь в одну точку, будто прислушиваясь к некоему воображаемому звуку. Неудивительно, что его состояние ужасало и заражало меня. Я чувствовал, что мною медленно и неуловимо овладевает неистовое влияние его фантастических, но властных кошмаров.

Я в полной мере испытал власть подобных ощущений, отходя ко сну на седьмой или восьмой вечер после того, как мы отнесли леди Маделину в склеп. Сон и не приближался к моему ложу — а часы текли и текли. Я старался отогнать рассудком охватившую меня нервозность. Я пытался внушить себе, что многое, если не все, из ощущаемого мною порождено наводящим испуг влиянием мрачной обстановки в спальне — изодранными темными драпировками, которые под дыханием все возрастающей грозы рывками качались взад и вперед на стенах и непокойно шуршали вкруг столбов кровати. Но мои попытки были бесплодны. Неудержимый озноб постепенно пронизал меня всего; и, наконец, инкуб беспричинной тревоги сдавил мне сердце. Задыхаясь, я с усилием отогнал ее, приподнялся на подушках и, пристально всматриваясь в густую тьму спальни, прислушался — не знаю почему,

разве что бессознательно — к неким тихим и зыбким звукам, неведомо откуда с большими перерывами доходившим ко мне, когда буря притихала. Обуянный всемогущим чувством ужаса, необъяснимого и непереносимого, я торопливо оделся (ибо чувствовал, что тою ночью мне более не уснуть) и попытался избавиться от моего плачевного состояния, стремительно расхаживая взад и вперед по комнате.

Я успел пройти таким образом лишь несколько раз, когда внимание мое привлекли легкие шаги на смежной лестнице. Я вмиг узнал поступь Ашера. Еще мгновение, и он тихо постучался ко мне и вошел, держа лампу. Он был, по обыкновению, мертвенно-бледен — но в глазах его сквозил род безумной веселости — во всем его облике ясно угадывалась сдерживаемая истерия. Его вид ужаснул меня — но что угодно было предпочтительнее моего столь долгого одиночества, и я даже приветствовал его приход как несущий мне облегчение.

— И вы не видели? — отрывисто спросил он после того, как несколько мгновений смотрел, уставясь прямо перед собою, — так не видели? Но постойте! увидите. — Сказав это и осторожно прикрыв лампу, он подбежал к одному из окон и

рывком распахнул его грозе.

Буйная ярость ворвавшегося вихря чуть не сбила нас с ног. Да, ночь была бурная, но сурово прекрасная, неповторимая по безумной жути и красоте. Видимо, поблизости начался ураган, ибо направление ветра часто и резко менялось; а чрезвычайная плотность туч (они свисали так низко, что давили на башни замка) не мешала нам видеть, как, подобно живым существам, метались они, сталкиваясь, но не уносясь вдаль. Я сказал, что их чрезвычайная плотность не мешала нам это видеть — хотя не проглядывали ни звезды, ни луна, не сверкала и молния. Но под огромными скоплениями вздыбленных паров, как и на всем наземном вблизи от нас, мерцал неестественный свет, рожденный выделением газа, что обволакивал дом.

— Вам не надобно — вы не должны это видеть! — дрожа, сказал я Ашеру и с дружеской настойчивостью увел его от окна и усадил. — То, что так взбудоражило вас, всего лишь довольнотаки обычное электрическое явление — а быть может, его породили омерзительные гнилостные миазмы озера. Давайте закроем окно — воздух очень холодный и для вас опасный. Вот один из ваших любимых рыцарских романов. Я буду чи-

тать, а вы слушайте — и так мы вдвоем скоротаем эту ужасную ночь.

Старинный том, взятый мною, был «Безрассудное свидание», сочинение сэра Лонселота Кеннинга; но я назвал его любимым романом Ашера скорее в виде невеселой шутки, нежели всерьез; ибо, говоря по правде, немногое нашлось бы в этой неуклюжей, лишенной воображения и многословной книге, способное заинтересовать моего друга, исполненного высоких духовных идеалов. Однако это была единственная книга под рукой, и я питал смутную надежду, что волнение, охватившее его, может уменьшиться именно от крайней нелепости того, что я собирался читать. Суди я по чрезмерной, взвинченной живости, с какою он слушал или как бы слушал чтение, я мог бы поздравить себя с успехом моего замысла.

Я дошел до известного эпизода, когда герой повествования, Этельред, после тщетных попыток мирно войти в обиталище пустынника, решает ворваться туда силой. Тут, если помните, идут такие слова:

«И Этельред, от природы бесстрашный, а ныне еще более могучий от крепости выпитого вина, не стал долее вести речи с пустынником, упрямым и злобным, но, чувствуя, как льет дождь,

и опасаясь, что гроза усилится, поднял палицу и скоро проломил дверные доски, а в пробоину просунул руку в железной перчатке; он с силою рванул, дернул и начал крушить, так что гул, треск и грохот разбиваемой двери прокатился по всему лесу».

Дочитав эту фразу, я встрепенулся и на мгновение замолк, ибо мне почудилось (хотя я тотчас подумал, что моя возбужденная фантазия меня обманывает) — мне почудилось, будто из какой-то весьма отдаленной части замка до слуха моего дошло нечто, по точному своему подобию могущее быть эхом (но, разумеется, весьма приглушенным и тихим) именно того треска и грохота, что с такими подробностями описал сэр Лонселот. Несомненно, я заметил его благодаря совпадению; ибо при лязге оконных задвижек и обычном смешанном шуме все возрастающей грозы тот звук сам по себе, конечно же, ничем не мог бы заинтересовать или обеспокоить меня. Я продолжал:

«Но славный рыцарь Этельред, войдя в дверь, был разгневан и изумлен, не увидев и следа злобного пустынника; вместо него ужасный чешуйчатый дракон с огненным языком восседал, сторожа золотой чертог, вымощенный серебром;

а на стене висел щит из сверкающей меди с такою надписью:

Кто внидет сюда, тот в боях знаменит;

Кто дракона убьет, тот добудет щит.

И Этельред поднял палицу и ударил дракона по голове, а тот пал пред ним и испустил свой чумной дух с воплем столь гнусным и пронзительным, что Этельреду пришлось закрыть себе уши ладонями от мерзкого крика, подобного же никогда ранее не слыхивали».

Тут я снова замолк, теперь уже от потрясения — ибо никоим образом нельзя было сомневаться более, что я и на самом деле услышал (хотя и невозможно было сказать, откуда именно он шел) тихий и несомненно далекий, но резкий, долгий, то ли крик, то ли скрежет — точное соответствие возникшему в моем воображении сверхъестественному крику дракона, как описал его сочинитель.

Пусть при этом необычайном совпадении я был обуян тысячею разноречивых чувств, среди которых главенствовали изумление и крайний ужас, я все же сохранил достаточно присутствие духа, дабы не тревожить замечаниями чувстви-

тельные нервы моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он расслышал эти звуки; но, вне всякого сомнения, за последние несколько минут он странно переменился. Сидя вначале напротив меня, он постепенно повернул кресло так, чтобы находиться лицом к двери; и поэтому я видел его только в профиль, хотя не мог не заметить, что губы его шевелились, словно он что-то беззвучно шептал. Он уронил голову на грудь — но я знал, что он не спит, ибо глаза его были широко раскрыты и неподвижны. Опровергали эту мысль и его телодвижения — он раскачивался из стороны в сторону, плавно, но постоянно и единообразно. Быстро заметив все это, я продолжал читать сочинение сэра Лонселота:

«И тогда рыцарь, избежав свирепой ярости дракона, подумал о медном щите, ныне расколдованном, с коего спали чары, убрал с дороги простертый пред ним труп и отважно направился по серебряному замковому полу к стене, где висел щит; а щит не дожидался его прихода, но пал к его ногам на серебряный пол с оглушительным, устрашающим и звонким лязгом».

Не успел я произнести эти слова, как — словно бы и вправду в тот миг медный щит тяжко обрушился на серебряный пол — я услышал далекий,

гулкий, явно приглушенный лязг. Полностью утратив самообладание, я вскочил на ноги; но Ашер по-прежнему не переставал раскачиваться. Я кинулся к его креслу. Он с застывшим, каменным лицом неподвижно смотрел прямо перед собою. Но, как только я положил ему руку на плечо, он содрогнулся с головы до ног; болезненная улыбка затрепетала на его устах; и я увидел, что он забормотал — тихо, торопливо, бессвязно, как бы не сознавая моего присутствия. Низко наклонившись к нему, я наконец понял ужасающий смысл его слов.

— Не слышу? — нет, слышу и *слышал*. Давно — давно — давно — много минут, много часов, много дней я это слышу — и все же не смел, о, сжальтесь надо мною, несчастным! — я не смел — *не смел* говорить об этом! *Мы положили ее в могилу живою!* Разве я не говорил, что чувства мои обострены? Теперь я говорю вам, что слышал ее первое слабое движение в гулком гробу. Я слышал это — много, много дней назад — но я не смел — я *не смел говорить!* А теперь — сегодня — Этельред — ха! ха! — треск ломаемой двери пустынника, предсмертный крик дракона, лязг щита — не сказать ли лучше: взламывание гроба, скрежет железной двери ее тюрьмы, ее шаги

по медному полу склепа? Ох! Куда мне бежать? Или она сейчас не будет здесь? Или не торопится упрекать меня в поспешности? Не слышу ли я ее поступь на лестнице? Не чую ли тяжкое, странное биение ее сердца? Безумец! — Тут он яростно прянул на ноги и пронзительно закричал, как бы с надсадой извергая душу: — *Безумец! Говорят вам, что сейчас она стоит за дверью!*

И, точно сверхчеловеческая энергия его слов обладала силою заклинания, огромные старинные створы, на которые он указывал, тотчас же начали медленно раскрываться наружу, разверзая свой тяжкий эбеновый зев. Это было делом грозового порыва — но за дверьми и в самом деле высилась повитая саваном фигура леди Маделины Ашер. Кровь пятнала белое облачение, следы отчаянной борьбы виднелись повсюду на ее исхудалом теле. Один миг она стояла на пороге, дрожа и шатаясь, — а затем с тихим стенанием пала на грудь брата и в жестоких, теперь уж последних предсмертных схватках повлекла его на пол, труп и жертву предвиденных им ужасов.

Охваченный страхом, бежал я из того покоя, из того здания. Гроза еще бушевала во всю мочь, когда я очнулся и увидел, что пересекаю старую аллею. Вдруг ее пронизал жуткий свет, и я обернулся, дабы узнать, откуда исходит столь необычное сияние; ибо позади меня находился лишь огромный затененный дом. Сияла полная, заходящая, кроваво-красная луна, и яркие лучи ее пылали, проходя сквозь ту едва различимую трещину, о которой я говорил ранее, что она зигзагом спускалась по стене от крыши до фундамента. Пока я смотрел, трещина стремительно расширялась — дохнул бешеный ураган — передо мною разом возник весь лунный диск — голова моя пошла кругом при виде того, как разлетаются в стороны могучие стены — раздался долгий, бурливый, оглушительный звук, подобный голосу тысячи водных потоков, и глубокое тусклое озеро у моих ног безмолвно и угрюмо сомкнулось над обломками Дома Ашеров.

1839

Черт на колокольне[28]

Который час?
Известное выражение

* * *

Решительно всем известно, что прекраснейшим местом в мире является — или, увы, являлся — голландский городок Школькофремен. Но ввиду того, что он расположен на значительном расстоянии от больших дорог, в захолустной местности, быть может, лишь весьма немногие из моих читателей в нем побывали. Поэтому ради тех, кто в нем не побывал, будет вполне уместно, если я сообщу о нем некоторые сведения. Это тем более необходимо, что, надеясь пробудить общественное сочувствие к его жителям, я намереваюсь поведать здесь историю бедственных событий, недавно произошедших в его пределах. Никто из знающих меня не усомнится в том, что мой добровольный долг будет выполнен в полную меру моих способностей, с тем строгим

[28] Сноски: 28
© Перевод. В. Рогов, наследник, 2016

беспристрастием, скрупулезным изучением фактов и тщательным сличением источников, которыми всегда должен отличаться тот, кто претендует на звание историка.

Пользуясь помощью летописей купно с эпитафиями и медалями, я могу утверждать о Школькофремене, что он со своего основания находился совершенно в таком же состоянии, в каком пребывает в настоящее время.

Однако замечу, сокрушаясь, что о дате его основания я могу говорить лишь с той неопределенной определенностью, с какой математики иногда принуждены мириться в некоторых алгебраических формулах. Поэтому могу сказать одно: городок стар, как все на земле, и существует с сотворения мира.

С прискорбием сознаюсь, что происхождение названия «Школькофремен» мне также неведомо. Среди множества мнений об этом щекотливом вопросе — из коих некоторые остроумны, некоторые учены, а некоторые в достаточной мере им противоположны — не могу выбрать ни одного, которое можно бы счесть удовлетворительным. Быть может, гипотеза Шнапстринкена, почти совпадающая с гипотезой Тугодумма, при известных оговорках заслуживает предпочтения. Она

гласит: «Лексема «фремен» является этимологическим дублетом слова «ремень», что связывается с процветанием свиноводства в городе, а вследствие этого и производством изделий из свиной кожи». Однако я не желаю компрометировать себя, высказывая мнения о столь важной теме, и должен отослать интересующегося читателя к труду «Oratiunculae de Rebus Praeterveteris»[29], сочинения Брюхенгромма. Также смотри Вандерстервен. De Derivationibus[30] (стр. 27 — 5010, фолио, готич. изд., красный и черный шрифт, колонтитул и без арабской пагинации), где тоже можно ознакомиться с постраничными примечаниями Сорундвздора и комментариями Тшафкенхрюккена.

Несмотря на тьму, которой покрыты дата основания Школькофремена и происхождение его названия, как было сказано выше, не может быть сомнения, что он всегда выглядел совершенно так же, как и в нашу эпоху. Старейший из жителей не может заметить даже малейшего изменения в облике какой-либо его части; да и самое допущение подобной возможности сочли бы

---

[29] Сноски: 29
Небольшие речи о давнем прошлом *(лат.)*.

[30] Сноски: 30
Об образованиях *(лат.)*.

оскорбительным. Городок расположен в долине, имеющей форму правильного круга, — около четверти мили в окружности, — и со всех сторон его обступают отлогие холмы, перейти которые еще никто не отважился. Поэтому все горожане с достаточным основанием считают, что по ту сторону холмов вообще ничего нет.

По краям долины (совершенно ровной и полностью вымощенной плоскими кафлями) расположены, примыкая друг к другу, шестьдесят маленьких домиков. Домики эти фасадами выходят к центру долины, находящемуся ровно в шестидесяти ярдах от входа в каждый дом. Перед каждым домиком маленький садик, а в нем — идущая по кругу дорожка, солнечные часы и двадцать четыре кочана капусты. Все здания так схожи между собой, что никак нельзя отличить одно от другого. Ввиду большой древности архитектура у них довольно странная, тем не менее она весьма живописна. Выстроены они из огнеупорных кирпичиков — красных, с черными концами, так что стены похожи на большие шахматные доски. Коньки крыш обращены к центру площади; над первыми этажами, неуклюже громоздясь, выступают вторые. Окна узкие и глубокие, с маленькими стеклами и ча-

стым переплетом. Крыши обильно разубраны черепицей с длинными завитками. Деревянные части — темного цвета; и хоть на них много резьбы, но разнообразия в ее рисунке мало, ибо с незапамятных времен резчики Школькофремена умели изображать только два предмета — часы и капустный кочан. Но вырезывают они их отлично, и притом с поразительной изобретательностью — везде, где только найдется место для резца.

Жилища так же сходны между собой внутри, как и снаружи, и мебель расставлена по одному плану. Полы покрыты квадратными кафлями; стулья и столы сделаны из дерева, похожего на черное, с тонкими изогнутыми ножками. Полки над каминами высокие и черные, и на них имеются не только изображения часов и кочанов, но и настоящие часы, которые помещаются по середине полок; часы необычайно громко тикают; по концам полок, в качестве пристяжных, стоят цветочные горшки; в каждом горшке по капустному кочану. Между горшками и часами стоят толстопузые фарфоровые человечки; в животе у каждого из них большое круглое отверстие, в котором виден часовой циферблат.

Очаги в домах большие и глубокие, с изогну-

тыми таганами устрашающего вида. Над вечно горящим огнем — громадный котел, полный кислой капусты и свинины, за которым всегда наблюдает добрая хозяйка дома. Обычно это маленькая толстая старушка, голубоглазая и краснолицая, в огромном, похожем на сахарную голову чепце, украшенном лиловыми и оранжевыми лентами. На ней оранжевое платье из полушерсти, очень широкое сзади и очень короткое в талии, да и вообще не длинное, ибо доходит только до икр. Икры у нее толстоватые, щиколотки — тоже, но обтягивают их нарядные зеленые чулки. Ее туфли — из розовой кожи, с пышными пучками желтых лент, которым придана форма капустных кочанов. В левой руке у нее маленькие тяжелые голландские часы, в правой — половник для помешивания свинины с капустой. Рядом с ней стоит жирная полосатая кошка, к хвосту которой мальчики потехи ради привязали позолоченные игрушечные часы с репетицией.

Сами мальчики — их трое — присматривают за свиньей. Все они ростом в два фута. На них треуголки, доходящие до бедер лиловые жилеты, короткие панталоны из оленьей кожи, красные шерстяные чулки, тяжелые башмаки с большими

серебряными пряжками и длинные кафтаны с крупными перламутровыми пуговицами. У каждого в зубах трубка, а в правой руке — маленькие пузатые часы. Затянутся они — и посмотрят на часы, посмотрят — и затянутся. Тучная ленивая свинья то подбирает опавшие капустные листья, то пытается лягнуть позолоченные часы с репетицией, которые мальчишки привязали к ее хвосту, дабы она была такой же красивой, как и кошка.

У самой парадной двери, в обитых кожей креслах с высокой спинкой и такими же изогнутыми ножками, как у столов, сидит сам хозяин дома. Это весьма пухлый старичок с большими круглыми глазами и огромным двойным подбородком. Одет он так же, как и дети, — так что об этом можно не говорить. Вся разница в том, что трубка у него несколько крупнее и дыма он пускает больше. Как и у мальчиков, у него есть часы, но он их носит в кармане. Говоря по правде, ему надо следить кое за чем поважнее часов, — а за чем, я скоро объясню. Он сидит, положив правую ногу на левое колено, облик его строг, и по крайней мере один его глаз всегда прикован к некоей примечательной точке в центре долины.

Точка эта находится на башне городской ратуши. Советники ратуши — все очень маленькие,

кругленькие, масленые и смышленые человечки с большими, как блюдца, глазами и толстыми двойными подбородками, а кафтаны у них гораздо длиннее и пряжки на башмаках гораздо крупнее, нежели у простых обитателей Школькофремена. За время моего пребывания в городе у них состоялось несколько особых совещаний, и они приняли следующие три важных решения:

«Что изменять добрый старый порядок жизни нехорошо»;

«Что вне Школькофремена нет ничего даже сносного» и «Что мы будем сидеть возле наших часов и нашей капусты».

Над залом ратуши высится башня, а на башне есть колокольня, на которой находятся и находились с времен незапамятных гордость и диво этого города — знаменитые часы Школькофремена. Это и есть точка, к которой обращены взоры старичков, сидящих в кожаных креслах.

У часов семь циферблатов — по одному на каждую из сторон колокольни, — так что их легко увидеть отовсюду. Циферблаты большие, белые, а стрелки тяжелые, черные. Есть специальный звонарь, единственной обязанностью которого является надзор за часами; но эта обязанность — совершеннейший вид синекуры, ибо со школь-

кофременскими часами никогда еще ничего не случалось. До недавнего времени даже предположение об этом считалось ересью. С глубочайшей древности, упоминания о которой сохранились в архивах, большой колокол регулярно отбивал время. Да, впрочем, и все другие часы в городе тоже. Нигде так не следили за точным временем, как в этом городе. Когда большой колокол находил нужным сказать: «Двенадцать часов!» — все его верные последователи одновременно разверзали глотки и откликались, как само эхо. Короче говоря, добрые бюргеры любили кислую капусту, но своими часами они гордились.

Всех, чья должность является синекурой, в той или иной степени уважают, а так как у школькофременского звонаря совершеннейший вид синекуры, то и уважают его больше, нежели кого-нибудь на свете. Он главный городской сановник, и даже свиньи взирают на него снизу вверх с чувством почтения. Фалды его кафтана *гораздо* длиннее, трубка, пряжки на башмаках, глаза и живот *гораздо* больше, нежели у других городских старцев. Что до его подбородка, то он не только двойной, а даже тройной.

Вот я и описал счастливый уголок Школькофремен. Какая жалость, что столь прекрасная

картина должна была перемениться на обратную!

Давно уж мудрейшие обитатели его повторяли: «Из-за холмов добра не жди»; и в этих словах оказалось нечто пророческое. Два дня назад, когда до полудня оставалось пять минут, на кряже холмов с восточной стороны появился предмет весьма необычного вида. Такое происшествие, конечно, привлекло всеобщее внимание, и каждый старичок, сидевший в кожаных креслах, смятенно устремил один глаз на феномен, не отрывая второго глаза от башенных часов.

Когда до полудня оставалось всего три минуты, любопытный предмет на горизонте оказался миниатюрным молодым человеком чужеземного вида. Он с необычайной быстротой спустился с холмов, так что скоро все могли подробно рассмотреть его. Воистину это был самый большой ломака из всех, каких когда-либо видели в Школькофремене. Цветом лица он напоминал темный нюхательный табак, у него был длинный крючковатый нос, глаза — как горошины, и прекрасные зубы, которыми он, казалось, стремился перед всеми похвастаться, улыбаясь до ушей; бакены и усы скрывали остальную часть его лица. Голова была не покрыта, волосы аккуратно завернуты

в папильотки. На нем был плотно облегающий фрак (из заднего кармана которого высовывался длиннейший угол белого платка), черные кашемировые панталоны до колен, черные чулки и тупоносые черные лакированные туфли с громадными пучками черных атласных лент вместо бантов. С одной стороны он прижимал к себе локтем громадную шляпу, с другой — скрипку, почти в пять раз больше его самого. В левой руке у него была золотая табакерка, из которой он, сбегая с прискоком с холма и выделывая самые фантастические па, в то же время непрерывно брал табак и нюхал его с видом величайшего самодовольства. Вот это, доложу я вам, было зрелище для честных бюргеров Школькофремена!

Проще говоря, у этого малого, несмотря на его ухмылку, лицо было дерзкое и зловещее; и, когда он, выделывая курбеты, влетел в городок, тупые носки его туфель вызвали немалое подозрение; и многие бюргеры, видевшие его в тот день, согласились бы даже пожертвовать малой толикой, лишь бы заглянуть под белый батистовый платок, столь нагло свисавший из кармана его фрака. Но главным образом этот щеголеватый негодяй возбудил праведное негодование тем, что, откалывая тут фанданго, там джигу, казалось, не

имел ни малейшего понятия о необходимости соблюдать в танце правильный *счет.*

Добрые горожане, впрочем, и глаз-то как следует открыть не успели, когда этот негодяй — до полудня оставалось всего полминуты — врезался прямо в их гущу: тут «шассе», там «балансе», а потом, сделав пируэт и «па-де-зефир», вспорхнул прямо на башню, где пораженный звонарь сидел и курил, исполненный достоинства и отчаяния. А человечек тут же схватил его за нос и дернул как следует, нахлобучил ему на голову шляпу, закрыв ему глаза и рот, а потом замахнулся большой скрипкой и стал бить его так долго и старательно, что при соприкосновении столь по лой скрипки со столь толстым звонарем можно было подумать, будто целый полк барабанщиков выбивает сатанинскую дробь на башне школькофременской ратуши.

Кто знает, к какому отчаянному акту мести побудило бы жителей это бесчестное нападение, если бы не одно важное обстоятельство: до полудня оставалось только полсекунды. Колокол должен был вот-вот ударить, а внимательное наблюдение за своими часами было абсолютной и насущной необходимостью. Видимо, в тот самый миг пришелец проделывал с часами что-то

неподобающее. Но часы забили, и ни у кого не было времени следить за его действиями, ибо всем надо было считать удары колокола.

— Раз! — сказали часы.

— Расс! — отозвался каждый маленький старичок с каждого обитого кожей кресла в Школькофремене. «Расс!» — сказали его часы; «расс!» — сказали часы его фроу; и «расс!» — сказали часы мальчиков и позолоченные часики с репетицией на хвостах у кошки и у свиньи.

— Два! — продолжал большой колокол; и

— Тфа! — повторили все за ними.

— Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять! — сказал колокол.

— Три! Тшетире! Пиать! Тшесть! Зем! Фосем! Тефять! Тесять! — ответили остальные.

— Одиннадцать! — сказал большой.

— Отиннатсать! — подтвердили маленькие.

— Двенадцать! — сказал колокол.

— Тфенатсать! — согласились все, удовлетворенно понизив голос.

— Унд тфенатсать тшасофф и есть! — сказали все старички, поднимая часы.

Но большой колокол еще с ними не покончил.

— Тринадцать! — сказал он.

— Дер Тейфель! — ахнули старички, бледнея,

роняя трубки и снимая правые ноги с левых колен.

— Дер Тейфель! — стонали они. — «Дряннатсать! Дряннатсать! Майн Готт, сейтшас, сейтшас дряннатсать тшасофф!»

К чему попытки описать последовавшую ужасную сцену? Всем Школькофременом овладело прискорбное смятение.

— Што с моим шифотом? — взревели все мальчики. — Я целый тшас колотаю!

— Што с моей капустой? — визжали все фроу. — Она за тшас вся расфарилась!

— Што с моей трупкой? — бранились все старички. — Дондер унд блитцен; она целый тшас, как покасла! — И в гневе, они снова набили трубки и, откинувшись на спинки кресел, запыхтели так стремительно и свирепо, что вся долина мгновенно окуталась непроницаемым дымом.

В то же время все капустные кочаны покраснели, и, казалось, сам нечистый вселился во все, имеющее вид часов. Часы, вырезанные на мебели, заплясали, точно бесноватые; часы на каминных полках едва сдерживали ярость и не переставали отбивать тринадцать часов, а маятники так дрыгались и дергались, что страшно было смотреть. Но еще хуже то, что ни кошки, ни

свиньи не могли больше мириться с поведением часиков, привязанных к их хвостам, и выражали свое возмущение тем, что метались, царапались, повсюду совались, визжали и верещали, вопили и пищали, кидались людям в лицо и забирались под юбки, — словом, устроили самый омерзительный гомон и смятение, какое только может вообразить здравомыслящий человек. А в довершение всех зол негодный маленький шалопай на колокольне, по-видимому, старался вовсю. Время от времени мерзавца можно было увидеть сквозь клубы дыма. Он сидел в башне на упавшем навзничь звонаре. В зубах злодей держал веревку от колокола, которую дергал, мотая головой, и при этом поднимал такой шум, что у меня до сих пор в ушах звенит, как вспомню. На коленях у него лежала скрипка, которую он скреб обеими руками, немилосердно фальшивя, и страшно, стервец, рисовался, играя «Джуди О'Флан наган и Пэдди О'Рафферти».

При столь горестном положении вещей я с отвращением покинул этот город и теперь взываю о помощи ко всем любителям точного времени и кислой капусты. Направимся туда в боевом порядке и восстановим в Школькофремене былой уклад жизни, выставив этого малого с колокольни.

1839

Низвержение в Мальстрем[31]

Пути Господни в Природе и в Промысле Его не наши пути, и уподобления, к которым мы прибегаем, никоим образом несоизмеримы с необъятностью, неисчерпаемостью и непостижимостью Его деяний, глубина коих превосходит глубину Демокритова колодца.

Джозеф Гленвилл

* * *

Мы наконец взобрались на вершину самого высокого отрога. Несколько минут старик, по-видимому, был не в силах говорить от изнеможения.

— Еще не так давно, — наконец промолвил он, — я мог бы провести вас по этой тропе с такой же легкостью, как мой младший сын; но без малого три года тому назад со мной случилось происшествие, какого еще никогда не выпадало на долю смертного, и, уж во всяком случае, я

---

[31] Сноски: 31

© Перевод. М. Богословская, наследники, 2002

думаю, нет на земле человека, который, пройдя через такое испытание, остался бы жив и мог рассказать о нем. Шесть часов пережитого мною смертельного ужаса сломили мой дух и мои силы. Вы думаете, я глубокий старик, но вы ошибаетесь. Меньше чем за один день мои волосы, черные как смоль, стали совсем седыми, тело мое ослабло и нервы до того расшатались, что я дрожу от малейшего усилия и пугаюсь тени. Вы знаете, стоит мне только поглядеть вниз с этого маленького утеса, и у меня сейчас же начинает кружиться голова.

«Маленький утес», на краю которого он так непринужденно разлегся, что бо льшая часть его тела оказалась на весу и удерживалась только тем, что он опирался локтем на крутой и скользкий выступ, — этот маленький утес поднимался над пропастью прямой, отвесной глянцевито-черной каменной глыбой футов на полтораста выше гряды скал, теснившихся под нами. Ни за что на свете не осмелился бы я подойти хотя бы на пять-шесть шагов к его краю. Признаюсь, что рискованная поза моего спутника повергла меня в такое смятение, что я бросился ничком на землю и, уцепившись за торчавший около меня кустарник, не решался даже поднять глаза. Я не

мог отделаться от мысли, что вся эта скалистая глыба может вот-вот обрушиться от бешеного натиска ветра. Прошло довольно много времени, прежде чем мне удалось несколько овладеть собой и я обрел в себе мужество приподняться, сесть и оглядеться кругом.

— Будет вам чудить, — сказал мой проводник, — ведь я вас только затем и привел сюда, чтобы показать место того происшествия, о котором я говорил, потому что, если вы хотите послушать эту историю, надо, чтобы вся картина была у вас перед глазами.

— Мы сейчас находимся, — продолжал он с той же неизменной обстоятельностью, коей отличался во всем, — над самым побережьем Норвегии, на шестьдесят восьмом градусе широты, в обширной области Нордланд, в суровом краю Лофодена. Гора, на вершине которой мы с вами сидим, называется Хмурый Хельсегген. Теперь поднимитесь-ка немножко повыше — держитесь за траву, если у вас кружится голова, вот так, — и посмотрите вниз, вон туда, за полосу туманов под нами, в море.

Я посмотрел, и у меня потемнело в глазах: я увидел широкую гладь океана такого густого черного цвета, что мне невольно припомнилось

Mare Tenebrarum[32] в описании нубийского географа. Нельзя даже и вообразить себе более безотрадное, более мрачное зрелище. Направо и налево, далеко, насколько мог охватить глаз, тянулись гряды отвесных чудовищно-черных нависших скал, словно заслоны мира. Их зловещая чернота казалась еще чернее из-за бурунов, которые, высоко вздыбливая свои белые страшные гребни, обрушивались на них с неумолчным ревом и воем. Прямо против мыса, на вершине которого мы находились, в пяти-шести милях от берега, виднелся маленький плоский островок; вернее было бы сказать, что вы угадывали этот островок по яростному клокотанию волн, вздымавшихся вокруг него. Мили на две поближе к берегу виднелся другой островок, поменьше, чудовищно изрезанный, голый и окруженный со всех сторон выступающими там и сям темными зубцами скал.

Поверхность океана на всем пространстве между дальним островком и берегом имела какой-то необычайный вид. Несмотря на то что ветер дул с моря с такой силой, что небольшое судно, двигавшееся вдалеке под глухо зарифленным

---

[32] Сноски: 32
Море мрака *(лат.).*

триселем, то и дело пропадало из глаз, зарываясь всем корпусом в волны, все же это была не настоящая морская зыбь, а какие-то короткие, быстрые, гневные всплески во все стороны — и по ветру, и против ветра. Пены почти не было, она бурлила только у самых скал.

— Вот тот дальний островок, — продолжал старик, — зовется у норвежцев Вург. Этот, поближе, — Моске. Там, на милю к северу, — Амбаарен. Это Ифлезен, Гойхольм, Килдхольм, Суарвен и Букхольм. Туда подальше, между Моске и Бургом, — Оттерхольм, Флимен, Сандфлезен и Скархольм. Вот вам точные названия этих местечек, но зачем их, в сущности, понадобилось как-то называть, этого ни вам, ни мне уразуметь не дано. Вы слышите что-нибудь? Не замечаете вы никакой перемены в воде?

Мы уже минут десять находились на вершине Хельсеггена, куда поднялись из внутренней части Лофодена, так что мы только тогда увидели море, когда оно внезапно открылось перед нами с утеса. Старик еще не успел договорить, как я услышал громкий, все нарастающий гул, похожий на рев огромного стада буйволов в американской прерии; в ту же минуту я заметил, что эти всплески на море, или, как говорят моряки, «сечка», стре-

мительно перешли в быстрое течение, которое неслось на восток. У меня на глазах (в то время как я следил за ним) это течение приобретало чудовищную скорость. С каждым мгновением его стремительность, его напор возрастали. В какие-нибудь пять минут все море до самого Вурга заклокотало в неукротимом бешенстве, но сильнее всего оно бушевало между Моске и берегом. Здесь водная ширь, изрезанная, изрубцованная тысячью встречных потоков, вдруг вздыбившись в неистовых судорогах, шипела, бурлила, свистела, закручивалась спиралью в бесчисленные гигантские воронки и вихрем неслась на восток с такой невообразимой быстротой, с какой может низвергаться только водопад с горной кручи.

Еще через пять минут вся картина снова изменилась до неузнаваемости. Поверхность моря стала более гладкой, воронки одна за другой исчезли, но откуда-то появились громадные полосы пены, которых раньше совсем не было. Эти полосы разрастались, охватывая огромное пространство, и, сливаясь одна с другой, вбирали в себя вращательное движение осевших водоворотов, словно готовясь стать очагом нового, более обширного. Неожиданно — совсем неожиданно — он вдруг выступил совершенно

отчетливым и явственным кругом, диаметр которого, пожалуй, превышал полмили. Водоворот этот был опоясан широкой полосой сверкающей пены; но ни один клочок этой пены не залетал в пасть чудовищной воронки; внутренность ее, насколько в нее мог проникнуть взгляд, представляла собой гладкую, блестящую, черную, как агат, водяную стену с наклоном к горизонту под углом примерно в сорок пять градусов, которая бешено вращалась стремительными судорожными рывками и оглашала воздух таким душераздирающим воем — не то воплем, не то ревом, — какого даже могучий водопад Ниагары никогда не воссылает к небесам.

Гора содрогалась до самого основания, и утес колебался. Я приник лицом к земле и в невыразимом смятении вцепился в чахлую траву.

— Это, конечно, и есть, — прошептал я, обращаясь к старику, — великий водоворот Мальстрем?

— Так его иногда называют, — отозвался старик. — Мы, норвежцы, называем его Москестрем — по имени острова Моске, вон там, посредине.

Обычные описания этого водоворота отнюдь не подготовили меня к тому, что я теперь видел. Описание Ионаса Рамуса, пожалуй самое подроб-

ное из всех, не дает ни малейшего представления ни о величии, ни о грозной красоте этого зрелища, ни о том непостижимо захватывающем ощущении необычности, которое потрясает зрителя. Мне не совсем ясно, откуда наблюдал автор это явление и в какое время, — во всяком случае, не с вершины Хельсеггена и не во время шторма. Некоторые места из его описания стоит привести ради кое-каких подробностей, но язык его так беден, что совершенно не передает впечатления от этого страшного котла.

«Между Лофоденом и Моске, — говорит он, — глубина океана доходит до тридцати шести — сорока морских саженей; но по другую сторону, к Вургу, она настолько уменьшается, что здесь нет сколько-нибудь безопасного прохода для судов и они всегда рискуют разбиться о камни даже при самой тихой погоде. Во время прилива течение между Лофоденом и Моске бурно устремляется к берегу, но оглушительный гул, с которым оно во время отлива несется обратно в море, едва ли может сравниться даже с шумом самых мощных водопадов. Гул этот слышен за несколько десятков километров, а глубина и размеры образующихся здесь ям или воронок таковы, что судно, попадающее в сферу их притяжения, неми-

нуемо захватывается водоворотом, идет ко дну и там разбивается о камни; когда море утихает, обломки выносит на поверхность. Но это затишье наступает только в промежутке между приливом и отливом в спокойную погоду и продолжается всего четверть часа, после чего волнение снова постепенно нарастает. Когда течение бушует и ярость его еще усиливается штормом, опасно приближаться к этому месту на расстояние норвежской мили. Шхуны, яхты, корабли, вовремя не заметившие опасности, погибают в пучине. Часто случается, что киты, очутившиеся слишком близко к этому котлу, становятся жертвой яростного водоворота: и невозможно описать их неистовое мычание и рев, когда они тщетно пытаются выплыть. Однажды медведя, который плыл от Лофодена к Моске, затянуло в воронку, и он так ревел, что рев его был слышен на берегу. Громадные стволы сосен и елей, поглощенные течением, выносит обратно в таком растерзанном виде, что щепа на них торчит, как щетина. Это, несомненно, указывает на то, что дно здесь покрыто острыми рифами, о которые и разбивается все, что попадает в крутящийся поток. Водоворот этот возникает в связи с приливом и отливом, которые чередуются каждые шесть часов. В 1645

году, рано утром в мясопустое воскресенье, он бушевал с такой силой, что от домов, стоящих на берегу, не осталось камня на камне».

Что касается глубины, я не представляю себе, каким образом можно было определить ее в непосредственной близости к воронке. «Сорок саженей» указывают, по-видимому, на глубину прохода возле берегов Моске или Лофодена. Глубина в середине течения Москестрема, конечно, неизмеримо больше. И для этого не требуется никаких доказательств: достаточно бросить хотя бы один беглый взгляд в пучину водоворота с вершины Хельсеггена. Глядя с этого утеса на ревущий внизу Флегетон, я не мог не улыбнуться тому простодушию, с каким почтенный Ионас Рамус рассказывает, как о чем-то малоправдоподобном, о случаях с китами и медведями, ибо мне, признаться, казалось совершенно очевидным, что самый крупный линейный корабль, очутившись в пределах смертоносного притяжения, мог бы противиться ему не больше, чем перышко урагану, и был бы мгновенно поглощен водоворотом.

Попытки объяснить это явление казались мне, насколько я их помню, довольно убедительными. Но теперь я воспринял их совсем по-другому, и они отнюдь не удовлетворяли меня. По общему

признанию, этот водоворот, так же как и три других небольших водоворота между островами Ферё, обязан своим происхождением не чему иному, как столкновению волн, которые, во время прилива и отлива сдавленные между грядами скал и рифов, яростно взметаются вверх и обрушиваются с неистовой силой; таким образом, чем выше водяной столб, тем больше глубина его падения, и естественным результатом этого является воронка, или водоворот, удивительная способность всасывания коего достаточно изучена на менее грандиозных примерах. Вот что говорится по этому поводу в Британской энциклопедии. Кирхер и другие считают, что в середине Мальстрема имеется бездонная пропасть, которая выходит по ту сторону земного шара, в каком-нибудь очень отдаленном месте, например в Ботническом заливе, как утверждают. Это само по себе нелепое утверждение сейчас, когда вся картина была у меня перед глазами, казалось мне вполне правдоподобным, но когда я обмолвился об этом моему проводнику, я с удивлением услышал от него, что, хотя почти все норвежцы и придерживаются этого мнения, он сам не разделяет его. Что же касается приведенного выше объяснения, он просто сознался, что

не в состоянии этого понять; и я согласился с ним, потому что, как оно ни убедительно на бумаге, здесь, перед этой ревущей пучиной, оно кажется невразумительным и даже нелепым.

— Ну, вы достаточно нагляделись на водоворот, — сказал старик, — так вот теперь, если вы осторожно обогнете утес и сядете здесь, с подветренной стороны, где не так слышен этот рев, я расскажу вам одну историю, которая убедит вас, что я-то кое-что знаю о Москестреме…

Я примостился там, где он мне посоветовал, и он приступил к рассказу:

— Я и двое моих братьев владели когда-то сообща хорошо оснащенным парусным судном, тонн этак на семьсот, и на этом паруснике мы обычно отправлялись ловить рыбу к островам за Моске, ближе к Вургу. Во время бурных приливов в море всегда бывает хороший улов, надо только выбрать подходящую минуту и иметь достаточно мужества, чтобы не упустить ее; однако изо всех лофоденских рыбаков только мы трое ходили промышлять к островам. Обычно лов рыбы производится значительно ниже, к югу, где можно безо всякого риска рыбачить в любое время, поэтому все и предпочитают охотиться там. Но здесь, среди скал, были кое-какие местечки, где

мало того что водилась разная редкая рыба, но и улов был много богаче, так что нам иногда удавалось за один день наловить столько, сколько люди более робкого десятка не добывали и за неделю. Словом, это было своего рода отчаянное предприятие: вместо того чтобы вкладывать в него труд, мы рисковали головой, отвага заменяла нам капитал.

Мы держали наш парусник в небольшой бухте, примерно миль на пять выше отсюда по побережью, и обычно в хорошую погоду, пользуясь затишьем, которое длилось четверть часа, мы пересекали главное течение Мальстрема, намного выше водоворота, и бросали якорь где-нибудь около Оттерхольма или Сандфлезена, где не так бушует прибой. Мы оставались здесь, пока снова не наступало затишье, и тогда, снявшись с якоря, возвращались домой. Мы никогда не пускались в это путешествие, если не было надежного бейдевинда (такого, за который можно было поручиться, что он не стихнет до нашего возвращения), и редко ошибались в наших расчетах. За шесть лет мы только два раза вынуждены были простоять ночь на якоре из-за мертвого штиля — явление поистине редкое в здешних местах; а однажды нам пришлось целую неделю

задержаться на промысле, и мы чуть не подохли с голоду, потому что едва только мы прибыли на лов, как поднялся шторм и нечего было даже и думать о том, чтобы пересечь разбушевавшееся течение. Нас бы, конечно, все равно унесло в море, потому что шхуну так швыряло и крутило, что якорь запутался и волочился по дну; но, к счастью, мы попали в одно из перекрестных течений — их много здесь, нынче оно тут, а завтра нет, — и оно прибило нас к острову Флимен, где нам удалось стать на якорь.

Я не могу описать и двадцатую долю тех затруднений, с которыми нам приходилось сталкиваться на промысле (скверное это место, даже и в тихую погоду). Однако мы ухитрялись всегда благополучно миновать страшную пропасть Москестрема, хотя, признаюсь, у меня иной раз душа уходила в пятки, когда нам случалось очутиться в его водах на какую-нибудь минуту раньше или позже затишья. Бывало, что ветер оказывался слабее, чем нам казалось, когда мы выходили на лов, и наш парусник двигался не так быстро, как нам хотелось, а управлять им мешало течение. У моего старшего брата был сын восемнадцати лет, и у меня тоже было двое здоровых молодцов. Они, разумеется, были бы нам большой подмогой

в таких случаях — и на веслах, да и во время лова, — но, хотя сами мы всякий раз шли на риск, у нас не хватало духу подвергать опасности жизнь наших детей, потому что, сказать правду, это была смертельная опасность.

Через несколько дней исполнится три года с тех пор, как произошло то, о чем я вам хочу рассказать. Это случилось десятого июля тысяча восемьсот… года. Жители здешних мест никогда не забудут этого дня, ибо такого страшного урагана, какой свирепствовал в тот день, еще никогда не посылали небеса. Однако все утро и после полудня дул мягкий устойчивый юго-западный ветер и солнце светило ярко, так что самый что ни на есть старожил из рыбаков не мог предугадать того, что случилось.

Около двух часов пополудни мы втроем — два моих брата и я — пристали к островам и очень скоро нагрузили нашу шхуну превосходной рыбой, которая в этот день, как мы все заметили, шла в таком изобилии, как никогда. Было ровно семь по моим часам, когда мы снялись с якоря и пустились в обратный путь, чтобы пересечь опасное течение Стрема в самое затишье, а оно, как мы хорошо знали, должно было наступить в восемь часов.

Мы вышли под свежим ветром, который нас подгонял с штирборта, и некоторое время быстро двигались вперед, не думая ни о какой опасности, потому что и в самом деле не видели никаких причин для опасений. Вдруг ни с того ни с сего навстречу нам подул ветер с Хельсеггена. Это было что-то совсем необычное, никогда такого не бывало, и мне, сам не знаю почему, стало как-то не по себе. Мы поставили паруса под ветер, но все равно не двигались с места из-за встречного течения, и я уже собирался было предложить братьям повернуть обратно и стать на якорь, но в эту минуту, оглянувшись, мы увидели, что над горизонтом нависла какая-то необыкновенная, совершенно медная туча, которая росла с невероятной быстротой. Между тем налетевший на нас спереди ветер утих, наступил мертвый штиль, и нас только мотало во все стороны течением. Но это продолжалось так недолго, что мы даже не успели подумать, что бы это значило. Не прошло и минуты, как на нас налетел шторм, еще минута — небо заволокло, море вспенилось, и внезапно наступил такой мрак, что мы перестали видеть друг друга. Бессмысленно и пытаться описать этот ураган. Ни один из самых старых норвежских моряков не видал ничего подобного.

Мы успели убрать паруса, прежде чем на нас налетел шквал, но при первом же порыве ветра обе наши мачты рухнули за борт, будто их спилили, и грот-мачта увлекла за собой моего младшего брата, который привязал себя к ней из предосторожности.

Наше судно отличалось необыкновенной легкостью, оно скользило по волнам, как перышко. Палуба у него была сплошного настила, с одним только небольшим люком в носовой части; этот люк мы обычно задраивали, перед тем как переправляться через Стрем, чтобы нас не захлестнуло «сечкой». И если бы не эта предосторожность, то мы сразу пошли бы ко дну, потому что на несколько секунд совершенно зарылись в воду.

Каким образом мой старший брат избежал гибели, я не могу сказать, мне не пришлось его об этом спросить. А я, как только у меня вырвало из рук фок, бросился ничком на палубу и, упершись ногами в планшир, уцепился что было сил за рымболт у основания фок-мачты. Конечно, я это сделал совершенно инстинктивно, и это лучшее, что я мог сделать, потому что в ту минуту я не был способен думать.

На несколько секунд, как я уже вам говорил, нас совершенно затопило, и я лежал не дыша, цепля-

ясь обеими руками за рым. Когда я почувствовал, что силы изменяют мне, я приподнялся на колени, не выпуская кольца из рук, и голова моя оказалась над водой. В это время наше суденышко встряхнулось, точь-в-точь как пес, выскочивший из воды, и, извернувшись, вынырнуло из волн. Я был точно в столбняке, но изо всех сил старался овладеть собой и сообразить, что мне делать, как вдруг кто-то схватил меня за руку. Оказалось, это мой старший брат, и я страшно обрадовался, потому что я ведь уже был уверен, что его смыло за борт. Но радость моя мгновенно сменилась ужасом, когда он, приблизив губы к моему уху, выкрикнул одно слово: «Москестрем!»

Нельзя передать, что почувствовал я в эту минуту. Я затрясся с головы до ног, точно в каком-то страшном лихорадочном ознобе. Я хорошо понял, что означало в его устах это одно-единственное слово. Ветер гнал нас вперед, прямо к водовороту Стрема, и ничто не могло нас спасти.

Вы понимаете, что обычно, пересекая течение Стрема, мы всегда старались держаться как можно выше, подальше от водоворота, даже в самую тихую погоду, и при этом зорко следили за началом затишья, а теперь нас несло в самый котел, да еще при таком урагане. «Но ведь мы, наверно, по-

падем туда в самое затишье, — подумал я. — Есть еще маленькая надежда». И тут же обругал себя: только сумасшедший мог на что-то надеяться.

К этому времени первый бешеный натиск шторма утих, или, может быть, мы не так ощущали его, потому что ветер дул нам в корму, но зато волны, которые сперва ложились низко, прибитые ветром, и только пенились, теперь вздыбились и превратились в целые горы… В небе также произошла какая-то странная перемена. Кругом со всех сторон оно было черное, как деготь, и вдруг прямо у нас над головой прорвалось круглое оконце, и в этом внезапном просвете чистой, ясной, глубокой синевы засияла полная луна таким ярким светом, какого я никогда в жизни не видывал. Она озарила все кругом, и все выступило с необыкновенной отчетливостью — но Боже, какое зрелище осветила она своим сиянием!

Я несколько раз пытался заговорить с братом, но, непонятно почему, шум до такой степени усилился, что, как я ни старался, он не мог расслышать ни одного слова, несмотря на то что я изо всех сил кричал ему прямо в ухо. Вдруг он покачал головой и, бледный как смерть, поднял палец, словно желая сказать: «Слушай!»

Сперва я не мог понять, на что он хочет обратить мое внимание, но тотчас же у меня мелькнула страшная мысль. Я вытащил из кармана часы, поднял их на свет и поглядел на циферблат. Они остановились в семь часов! Мы пропустили время затишья, и водоворот Стрема сейчас бушевал вовсю.

Если судно сбито прочно, хорошо оснащено и не слишком нагружено, при сильном шторме в открытом море волны всегда словно выскальзывают из-под него; людям, непривычным к морю, это кажется странным, а у нас на морском языке это называется «оседлать волны».

Так вот, до сих пор мы очень благополучно «держались в седле», как вдруг огромная волна подхватила нас прямо под корму и, взметнувшись, потащила вверх, выше, выше, словно в самое небо. Я бы никогда не поверил, что волна может так высоко подняться. А потом, крутясь и скользя, мы стремглав полетели вниз, так что у меня захватило дух и потемнело в глазах, будто я падал во сне с высокой-высокой горы. Но, пока мы еще были наверху, я успел бросить взгляд по сторонам, и одного этого взгляда было достаточно. Я тотчас же понял, где мы находимся. Водоворот Москестрема лежал прямо перед нами, на

расстоянии всего четверти мили, но он был так не похож на обычный Москестрем, как вот этот водоворот, который вы видите, на мельничный ручей. Если бы я еще раньше не догадался, где мы и к чему мы должны быть готовы, я бы не узнал этого места. И я невольно закрыл глаза от ужаса. Веки мои судорожно сомкнулись сами собой.

Прошло не больше двух-трех минут, как вдруг мы почувствовали, что волны отхлынули и нас обдает пеной. Судно круто повернуло на левый борт и стремительно рванулось вперед. В тот же миг оглушительный грохот волн совершенно потонул в каком-то пронзительном вое, — представьте себе несколько тысяч пароходов, которые все сразу вместе гудят, выпуская пары. Мы очутились теперь в полосе пены, всегда окружающей водоворот, и я подумал, что нас, конечно, сейчас швырнет в бездну, которую мы только смутно различали, потому что кружили над ней с невероятной быстротой. Шхуна наша как будто совсем не погружалась в воду, а скользила, как пузырь, по поверхности зыби. Правый борт был обращен к водовороту, а слева громоздился необъятный, покинутый нами океан. Он высился подобно огромной стене, которая судорожно вздыблива-лась между нами и горизонтом.

Это может показаться странным, но теперь, когда мы уже очутились в самой пасти водяной бездны, я был спокойнее, чем тогда, когда мы еще только приближались к ней. Сказав себе, что надеяться не на что, я почти избавился от того страха, который так парализовал меня вначале. Должно быть, отчаяние взвинтило мои нервы.

Можно подумать, что я хвастаюсь, но я вам говорю правду: мне представлялось, как это должно быть величественно — погибнуть такой смертью и как безрассудно перед столь чудесным проявлением всемогущества божьего думать о таком пустяке, как моя собственная жизнь. Мне кажется, я даже вспыхнул от стыда, когда эта мысль мелькнула у меня в голове. Спустя некоторое время мысли мои обратились к водовороту, и мной овладело чувство жгучего любопытства. Меня положительно тянуло проникнуть в его глубину, и мне казалось, что для этого стоит пожертвовать жизнью. Я только очень сожалел о том, что никогда уже не смогу рассказать старым товарищам, оставшимся на суше, о тех чудесах, которые увижу. Конечно, это странно, что у человека перед лицом смерти возникают такие нелепые фантазии; я потом часто думал, что, может быть, это бесконечное кружение над

бездной несколько помутило мой разум.

Было, между прочим, еще одно обстоятельство, которое помогло мне овладеть собой: это отсутствие ветра, теперь не достигавшего нас. Как вы сами видели, полоса пены находится значительно ниже уровня океана — он громоздился над нами высокой, черной, необозримой стеной. Если вам никогда не случалось быть на море во время сильного шторма, вы не в состоянии даже представить себе, до какого исступления может довести ветер и хлестанье волн. Они слепят, оглушают, не дают вздохнуть, лишают вас всякой способности действовать и соображать. Но теперь мы были почти избавлены от этих неприятностей, — так осужденный на смерть преступник пользуется в тюрьме некоторыми маленькими льготами, которых он был лишен, когда участь его еще не была решена.

Сколько раз совершили мы круг по краю водоворота, сказать невозможно. Нас кружило, может быть, около часа; мы не плыли, а словно летели, подвигаясь все больше к середине пояса, потом все ближе и ближе к его зловещему внутреннему краю. Все это время я не выпускал из рук рыма. Мой старший брат лежал на корме, ухватившись за большой пустой бочонок, принайтованный к

корме; это была единственная вещь на палубе, которую не снесло за борт налетевшим ураганом. Но вот, когда мы уже совсем приблизились к краю воронки, брат вдруг выпустил из рук бочонок и, бросившись к рыму, вне себя от ужаса, пытался оторвать от него мои руки, так как вдвоем за него уцепиться было нельзя. Никогда в жизни не испытывал я такого огорчения, как от этого его поступка, хотя я и понимал, что у него, должно быть, отшибло разум, что он совсем помешался от страха. У меня и в мыслях не было вступать с ним в борьбу. Я знал, что никому из нас не поможет, будем мы за что-нибудь держаться или нет. Я уступил ему кольцо и перебрался на корму к бочонку. Сделать это не представляло большого труда, потому что шхуна наша в своем вращении держалась довольно устойчиво, не кренилась на борт и только покачивалась взад и вперед от гигантских рывков и содроганий водоворота. Едва я успел примоститься на новом месте, как вдруг мы резко опрокинулись на правый борт и стремглав понеслись в бездну. Я поспешно прошептал молитву и решил, что все кончено.

Во время этого головокружительного падения я инстинктивно вцепился изо всех сил в бочонок и закрыл глаза. В течение нескольких секунд

я не решался их открыть; я ждал, что вот-вот мы погибнем, и не понимал, почему я еще не вступил в смертельную схватку с потоком. Но секунды проходили одна за другой — я был жив. Я перестал чувствовать, что мы летим вниз; шхуна, казалось, двигалась совершенно так же, как и раньше, когда она была в полосе пены, с той только разницей, что теперь она как будто глубже сидела в воде. Я собрался с духом, открыл глаза и бросил взгляд сначала в одну, потом в другую сторону.

Никогда не забуду я ощущения благоговейного трепета, ужаса и восторга, охвативших меня. Шхуна, казалось, повисла, задержанная какой-то волшебной силой, на половине своего пути в бездну, на внутренней поверхности огромной круглой воронки невероятной глубины; ее совершенно гладкие стены можно было бы принять за черное дерево, если бы они не вращались с головокружительной быстротой и не отбрасывали от себя мерцающее, призрачное сияние лунных лучей, которые золотым потоком струились вдоль черных склонов, проникая далеко вглубь, в самые недра пропасти.

Сначала я был так ошеломлен, что не мог ничего разглядеть. Внезапно открывшееся мне

грозное величие — вот все, что я видел. Когда я немножко пришел в себя, взгляд мой невольно устремился вниз. В этом направлении для глаза не было никаких преград, ибо шхуна висела на наклонной поверхности воронки. Она держалась совершенно ровно, иначе говоря — палуба ее представляла собой плоскость, параллельную плоскости воды, но эта последняя круто опускалась, образуя угол больше сорока пяти градусов, так что мы как бы лежали на боку. Однако я не мог не заметить, что и при таком положении я почти без труда сохранял равновесие; должно быть, это объяснялось скоростью нашего вращения.

Лунные лучи, казалось, ощупывали самое дно пучины; но я по-прежнему не мог ничего различить, так как все было окутано густым туманом, а над ним висела сверкающая радуга, подобная тому узкому, колеблющемуся мосту, который, по словам мусульман, является единственным переходом из Времени в Вечность. Этот туман, или водяная пыль, возникал, вероятно, от столкновения гигантских стен воронки, когда они все сразу сшибались на дне; но вопль, который поднимался из этого тумана и летел к небесам, я не берусь описать.

Когда мы оторвались от верхнего пояса пены и

очутились в бездне, нас сразу увлекло на очень большую глубину, но после этого мы спускались отнюдь не равномерно. Мы носились кругами, но не ровным, плавным движением, а стремительными рывками и толчками, которые то швыряли нас всего на какую-нибудь сотню футов, то заставляли лететь так, что мы сразу описывали чуть не полный круг. И с каждым оборотом мы опускались ниже, медленно, но очень заметно.

Озираясь кругом и вглядываясь в огромную черную пропасть, по стенам которой мы кружились, я заметил, что наше судно было не единственной добычей, захваченной пастью водоворота.

Над нами и ниже нас виднелись обломки судов, громадные бревна, стволы деревьев и масса мелких предметов — разная домашняя утварь, разломанные ящики, доски, бочонки. Я уже говорил о том неестественном любопытстве, которое овладело мною, вытеснив первоначальное чувство безумного страха. Оно как будто все сильней разгоралось во мне, по мере того как я все ближе и ближе подвигался к страшному концу. Я с необычайным интересом разглядывал теперь все эти предметы, кружившиеся вместе с нами. Быть может, я был в бреду, потому что мне даже доставляло удовольствие загадывать, какой из

этих предметов скорее умчится в клокочущую пучину. Вот эта сосна, говорил я себе, сейчас непременно сделает роковой прыжок, нырнет и исчезнет, — и я был очень разочарован, когда остов голландского торгового судна опередил ее и нырнул первым. Наконец, после того как я несколько раз загадывал и всякий раз ошибался, самый этот факт — неизменной ошибочности моих догадок — натолкнул меня на мысль, от которой я снова весь задрожал с головы до ног, а сердце мое снова неистово заколотилось.

Но причиной этому был не страх, а смутное предчувствие надежды. Надежда эта была вызвана к жизни некоторыми воспоминаниями и в то же время моими теперешними наблюдениями. Я припомнил весь тот разнообразный хлам, которым усеян берег Лофодена, все, что когда-то было поглощено Москестремом и потом выброшено им обратно. Большей частью это были совершенно изуродованные обломки, истерзанные и искромсанные до такой степени, что щепа на них стояла торчком, но среди этого хлама иногда попадались предметы, которые совсем не были изуродованы. Я не мог найти этому никакого объяснения, кроме того, что из всех этих предметов только те, что превратились в обломки, были

увлечены на дно, другие же — потому ли, что они много позже попали в водоворот, или по какой-то иной причине — опускались очень медленно и не успевали достичь дна, так как наступал прилив или отлив. Я готов был допустить, что и в том и в другом случае они могли быть вынесены на поверхность океана, не подвергшись участи тех предметов, которые были втянуты раньше или почему-то затонули скорее. При этом я сделал еще три важных наблюдения. Первое: как общее правило, чем больше были предметы, тем скорее они опускались; второе: если из двух тел одинакового объема одно было сферическим, а другое какой-нибудь иной формы, сферическое опускалось быстрее; третье: если из двух тел одинаковой величины одно было цилиндрическим, а другое любой иной формы, цилиндрическое погружалось медленнее. После того как я спасся, я несколько раз беседовал на эту тему с нашим старым школьным учителем. От него я и научился употреблению этих слов — «цилиндр» и «сфера». Он объяснил мне, хоть я и забыл это объяснение, каким образом то, что мне пришлось наблюдать, являлось, в сущности, естественным следствием той формы, какую имели плывущие предметы, и почему так получалось, что цилиндр, попавший

в водоворот, оказывал большее сопротивление его всасывающей силе и втягивался труднее, чем какое-нибудь другое, равное ему по объему тело, обладающее любой иной формой[33].

Еще одно удивительное обстоятельство в большей мере подкрепляло мои наблюдения, оно-то главным образом и побудило меня воспользоваться ими для своего спасения: каждый раз, описывая круг, мы обгоняли то бочонок, то рею или обломок мачты, и многие из этих предметов, которые были на одном уровне с нами в ту минуту, когда я только что открыл глаза и увидел эти чудеса водоворота, теперь кружили высоко над нами и как будто почти не сдвинулись со своего первоначального уровня.

Я больше не колебался. Я решил привязать себя как можно крепче к бочонку для воды, за который я держался, отрезать найтов, прикреплявший его к корме, и броситься в воду. Я попытался знаками привлечь внимание брата, я показывал ему на проплывавшие мимо нас бочонки и всеми силами старался объяснить ему, что именно я собираюсь сделать. Мне кажется, он в конце концов понял мое намерение, но — так это было или

---

[33] Сноски: 33
См.: Архимед. «О плавающих предметах», т. 2. — *Примеч. авт.*

нет — он только безнадежно покачал головой и не захотел двинуться с места. Дотянуться до него было невозможно; каждая секунда промедления грозила гибелью. Итак, я скрепя сердце предоставил брата его собственной участи, привязал себя к бочонку той самой веревкой, которой бочонок был принайтован к корме, и не задумываясь бросился в пучину.

Результат оказался в точности таким, как я и надеялся. Так как я сам рассказываю вам эту историю и вы видите, что я спасся, и знаете из моих слов, каким образом мне удалось спастись, а следовательно, можете уже сейчас предугадать все, чего я еще не досказал, я постараюсь в немногих словах закончить мой рассказ. Прошел, быть может, час или немногим больше, после того как я покинул шхуну, которая уже успела спуститься значительно ниже меня, как вдруг она стремительно перевернулась три-четыре раза и, унося с собой моего милого брата, нырнула в пучину и навсегда исчезла из глаз в бушующей пене. Бочонок, к которому я был привязан, прошел чуть больше половины расстояния до дна воронки от того места, где я прыгнул, когда в самых недрах водоворота произошла решительная перемена. Покатые стены гигантской воронки стали вне-

запно и стремительно терять свою крутизну, их бурное вращение постепенно замедлялось. Туман и радуга мало-помалу исчезли, и дно пучины как будто начало медленно подниматься. Небо было ясное, ветер затих, и полная луна, сияя, катилась к западу, когда я очутился на поверхности океана против берегов Лофодена, над тем самым местом, где только что зияла пропасть Москестрема. Это было время затишья, но море после урагана все еще дыбилось громадными волнами. Течение Стрема подхватило меня и через несколько минут вынесло к рыбацким промыслам. Я был еле жив и теперь, когда опасность миновала, не в силах был вымолвить ни слова и не мог опомниться от пережитого ужаса. Меня подобрали мои старые приятели и товарищи, но они не узнали меня, как нельзя узнать выходца с того света. Волосы мои, еще накануне черные как смоль, стали, как вы сами видите, совершенно седыми. Говорят, будто и лицо у меня стало совсем другое. Я потом рассказал им всю эту историю, но они не поверили мне. Теперь я рассказал ее вам, но я сильно сомневаюсь, что вы поверите мне больше, чем беспечные лофоденские рыбаки.

1841

Убийство на улице Морг[34]

Что за песню пели сирены или каким именем назывался Ахилл, скрываясь среди женщин, – уж на что это, кажется, мудреные вопросы, а какая-то догадка и здесь возможна.

Сэр Томас Браун. Захоронения в урнах

Так называемые аналитические способности нашего ума сами по себе малодоступны анализу. Мы судим о них только по результатам. Среди прочего нам известно, что для человека, особенно одаренного в этом смысле, дар анализа служит источником живейшего наслаждения. Подобно тому как атлет гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так аналитик радуется любой возможности что-то прояснить или распутать. Всякая, хотя бы и нехитрая задача, высекающая искры из его таланта, ему приятна. Он обожает загадки, ребусы и криптограммы, обнаруживая в их решении проницательность,

---

[34] Сноски: 34

© Перевод. Р. Гальперина, наследники, 2002

которая уму заурядному представляется чуть ли не сверхъестественной. Его решения, рожденные существом и душой метода, и в самом деле кажутся чудесами интуиции. Эта способность решения, возможно, выигрывает от занятий математикой, особенно тем высшим ее разделом, который неправомерно и только в силу обратного характера своих действий именуется анализом, так сказать, анализом par excellence[35]. Между тем рассчитывать, вычислять — само по себе еще не значит анализировать. Шахматист, например, рассчитывает, но отнюдь не анализирует. А отсюда следует, что представление о шахматах как об игре, исключительно полезной для ума, основано на чистейшем недоразумении. И так как перед вами, читатель, не трактат, а лишь несколько случайных соображений, которые должны послужить предисловием к моему, не совсем обычному рассказу, то я пользуюсь случаем заявить, что непритязательная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат. В шахматах, где фигуры неравноценны и где им присвоены

---

[35] Сноски: 35
По преимуществу *(фр.)*.

самые разнообразные и причудливые ходы, сложность (как это нередко бывает) ошибочно принимается за глубину. Между тем здесь *решает* внимание. Стоит ему ослабеть, и вы совершаете оплошность, которая приводит к просчету или поражению. А поскольку шахматные ходы не только многообразны, но и многозначны, то шансы на оплошность соответственно растут, и в девяти случаях из десяти выигрывает не более способный, а более сосредоточенный игрок. Другое дело шашки, где допускается один только ход с незначительными вариантами; здесь шансов на недосмотр куда меньше, внимание не играет особой роли и успех зависит главным образом от сметливости. Представим себе для ясности партию в шашки, где остались только четыре дамки и, значит, ни о каком недосмотре не может быть и речи. Очевидно, здесь (при равных силах) победа зависит от удачного хода, от неожиданного и остроумного решения. За отсутствием других возможностей аналитик старается проникнуть в мысли противника, ставит себя на его место и нередко с одного взгляда замечает ту единственную (и порой до очевидности простую) комбинацию, которая может вовлечь его в просчет или сбить с толку.

Вист давно известен как прекрасная школа для того, что именуется искусством расчета; известно также, что многие выдающиеся умы питали, казалось бы, необъяснимую слабость к висту, пренебрегая шахматами как пустым занятием. В самом деле, никакая другая игра не требует такой способности к анализу. Лучший в мире шахматист — шахматист, и только, тогда как мастерская игра в вист сопряжена с умением добиваться победы и в тех более важных областях человеческой предприимчивости, в которых ум соревнуется с умом. Говоря «мастерская игра», я имею в виду ту степень совершенства, при которой игрок владеет всеми средствами, приводящими к законной победе. Эти средства не только многочисленны, но и многообразны и часто предполагают такое знание человеческой души, какое недоступно игроку средних способностей. Кто внимательно наблюдает, тот отчетливо и помнит, а следовательно, всякий сосредоточенно играющий шахматист может рассчитывать на успех в висте, поскольку руководство Хойла (основанное на простой механике игры) общепонятно и общедоступно. Чтобы хорошо играть в вист, достаточно, по распространенному мнению, соблюдать «правила» и обладать хорошей памятью. Однако

искусство аналитика проявляется как раз в том, что правилами игры не предусмотрено. Каких он только не делает про себя выводов и наблюдений! Его партнер, быть может, тоже; но перевес в этой обоюдной разведке зависит не столько от надежности выводов, сколько от качества наблюдения. Важно, конечно, знать, на что обращать внимание. Но наш игрок ничем себя не ограничивает. И хотя прямая его цель — игра, он не пренебрегает и самыми отдаленными указаниями. Он изучает лицо своего партнера и сравнивает его с лицом каждого из противников, подмечает, как они распределяют карты в обеих руках, и нередко угадывает козырь за козырем и онёр за онёром по взглядам, какие они на них бросают. Следит по ходу игры за мимикой игроков и делает уйму заключений, подмечая все оттенки уверенности, удивления, торжества или досады, сменяющиеся на их физиономиях. Судя по тому, как человек сгреб взятку, он заключает, последует ли за ней другая. По тому, как карта брошена, догадывается, что противник финтит, что ход сделан для отвода глаз. Невзначай или необдуманно оброненное слово; случайно упавшая или открывшаяся карта и как ее прячут — с опаской или спокойно; подсчет взяток и их расположение; растерянность,

колебания, нетерпение или боязнь — ничто не ускользает от якобы безразличного взгляда аналитика. С двух-трех ходов ему уже ясно, что у кого на руках, и он выбрасывает карту с такой уверенностью, словно все игроки раскрылись.

Способность к анализу не следует смешивать с простой изобретательностью, ибо аналитик всегда изобретателен, тогда как не всякий изобретательный человек способен к анализу. Умение придумывать и комбинировать, в котором обычно проявляется изобретательность и для которого френологи (совершенно напрасно, по-моему) отводят особый орган, считая эту способность первичной, нередко наблюдается даже у тех, чей умственный уровень в остальном граничит с кретинизмом, что не раз отмечалось писателями, живописующими быт и нравы. Между умом изобретательным и аналитическим существует куда большее различие, чем между фантазией и воображением, но это различие того же порядка. В самом деле, нетрудно заметить, что люди изобретательные — большие фантазеры и что человек с подлинно богатым воображением, как правило, склонен к анализу.

Дальнейший рассказ послужит для читателя своего рода иллюстрацией к приведенным сооб-

ражениям.

Весну и часть лета 18… года я прожил в Париже, где свел знакомство с неким мосье С.-Огюстом Дюпеном. Еще молодой человек, потомок знатного и даже прославленного рода, он испытал превратности судьбы и оказался в обстоятельствах столь плачевных, что утратил всю свою природную энергию, ничего не добивался в жизни и меньше всего помышлял о возвращении прежнего богатства. Любезность кредиторов сохранила Дюпену небольшую часть отцовского наследства, и, живя на ренту и придерживаясь строжайшей экономии, он кое-как сводил концы с концами, равнодушный к приманкам жизни. Единственная роскошь, какую он себе позволял, — книги, — вполне доступна в Париже.

Впервые мы встретились в плохонькой библиотеке на улице Монмартр, и так как оба случайно искали одну и ту же книгу, чрезвычайно редкое и примечательное издание, то, естественно, разговорились. Потом мы не раз встречались. Я заинтересовался семейной историей Дюпена, и он поведал ее мне с обычной чистосердечностью француза, рассказывающего вам о себе. Поразила меня и обширная начитанность Дюпена, а главное — я не мог не восхищаться неудержимым

жаром и свежестью его воображения.

Я жил тогда в Париже совершенно особыми интересами и, чувствуя, что общество такого человека неоценимая для меня находка, не замедлил ему в этом признаться. Вскоре у нас возникло решение на время моего пребывания в Париже поселиться вместе; а поскольку обстоятельства мои были чуть получше, чем у Дюпена, то я снял с его согласия и обставил в духе столь милой нам обоим романтической меланхолии сильно пострадавший от времени дом причудливой архитектуры в уединенном уголке Сен-Жерменского предместья; давно покинутый хозяевами из-за каких-то суеверных преданий, в суть которых мы не стали вдаваться, он клонился к упадку.

Если бы наш образ жизни в этой обители стал известен миру, нас сочли бы маньяками, хоть и безобидными маньяками. Наше уединение было полным. Мы никого не хотели видеть. Я скрыл от друзей свой новый адрес, а Дюпен давно порвал с Парижем, да и Париж не вспоминал о нем. Мы жили только в себе и для себя.

Одной из фантастических причуд моего друга — ибо как еще это назвать? — была влюбленность в ночь, в ее особое очарование; и я покорно

принял эту bizarrerie[36], как принимал и все другие, самозабвенно отдаваясь прихотям друга. Темноликая богиня то и дело покидала нас, и, чтобы не лишаться ее милостей, мы прибегали к бутафории: при первом проблеске зари захлопывали тяжелые ставни старого дома и зажигали два-три светильника, которые, курясь благовониями, изливали тусклое, призрачное сияние. В их бледном свете мы предавались грезам, читали, писали, беседовали, пока звон часов не возвещал нам приход истинной Тьмы. И тогда мы рука об руку выходили на улицу, продолжая дневной разговор, или бесцельно бродили до поздней ночи, находя в мелькающих огнях и тенях большого города ту неисчерпаемую пищу для умственных восторгов, какую дарит тихое созерцание.

В такие минуты я не мог не восхищаться аналитическим дарованием Дюпена, хотя и понимал, что это лишь неотъемлемое следствие ярко выраженной умозрительности его мышления. Да и Дюпену, видимо, нравилось упражнять эти способности, если не блистать ими, и он, не чинясь, признавался мне, сколько радости это ему доставляет. Не раз хвалился он с довольным смешком,

---

[36] Сноски: 36
Странность, чудачество *(фр.)*.

что люди в большинстве для него — открытая книга, и тут же приводил ошеломляющие доказательства того, как ясно он читает в моей душе. В подобных случаях мне чудилась в нем какая-то холодность и отрешенность; пустой, ничего не выражающий взгляд его был устремлен куда-то вдаль, а голос, сочный тенор, срывался на фальцет и звучал бы раздраженно, если бы не четкая дикция и спокойный тон. Наблюдая его в эти минуты, я часто вспоминал старинное учение о двойственности души и забавлялся мыслью о двух Дюпенах: созидающем и расчленяющем.

Из сказанного отнюдь не следует, что разговор здесь пойдет о неких чудесах; я также не намерен романтизировать своего героя. Описанные черты моего приятеля-француза были только следствием перевозбужденного, а может быть, и больного ума. Но о характере его замечаний вам лучше поведает живой пример.

Как-то вечером гуляли мы по необычайно длинной грязной улице в окрестностях Пале-Рояля. Каждый думал, по-видимому, о своем, и в течение четверти часа никто из нас не проронил ни слова. Как вдруг Дюпен, словно невзначай, сказал:

— Куда ему, такому заморышу! Лучше б он попытал счастье в театре «Варьете».

— Вот именно, — ответил я машинально.

Я так задумался, что не сразу сообразил, как удачно слова Дюпена совпали с моими мыслями. Но тут же опомнился, и удивлению моему не было границ.

— Дюпен, — сказал я серьезно, — это выше моего понимания. Сказать по чести, я поражен, я просто ушам своим не верю. Как вы догадались, что я думал о… — Тут я остановился, чтобы увериться, точно ли он знает, о ком я думал.

— …о Шантильи, — закончил он. — Почему же вы запнулись? Вы говорили себе, что при его тщедушном сложении нечего ему было соваться в трагики.

Да, это и составляло предмет моих размышлений. Шантильи, quondam[37] сапожник с улицы Сен-Дени, помешавшийся на театре, недавно дебютировал в роли Ксеркса в одноименной трагедии Кребийона и был за все свои старания жестоко освистан.

— Объясните мне, ради Бога, свой метод, — настаивал я, — если он у вас есть и если вы с его помощью так безошибочно прочли мои мысли. — Признаться, я даже старался не показать

---

[37] Сноски: 37
Некогда *(лат.)*.

всей меры своего удивления.

— Не кто иной, как зеленщик, — ответил мой друг, — навел вас на мысль, что сей врачеватель подметок не дорос до Ксеркса et id genus omne[38].

— Зеленщик? Да Бог с вами! Я знать не знаю никакого зеленщика!

— Ну, тот увалень, что налетел на вас, когда мы свернули сюда с четверть часа назад.

Тут я вспомнил, что зеленщик с большой корзиной яблок на голове по нечаянности чуть не сбил меня с ног, когда мы из переулка вышли на людную улицу. Но какое отношение имеет к этому Шантильи, я так и не мог понять.

Однако у Дюпена ни на волос не было того, что французы называют charlatanerie[39].

— Извольте, я объясню вам, — вызвался он. — А чтобы вы лучше меня поняли, давайте восстановим весь ход ваших мыслей с нашего последнего разговора и до встречи с пресловутым зеленщиком. Основные вехи — Шантильи, Орион, доктор Никольс, Эпикур, стереотомия, булыжник и — зеленщик.

---

[38] Сноски: 38
И ему подобных *(лат.)*.

[39] Сноски: 39
Очковтирательство *(фр.)*.

Вряд ли найдется человек, которому ни разу не приходило в голову проследить забавы ради шаг за шагом все, что привело его к известному выводу. Это — преувлекательное подчас занятие, и кто впервые к нему обратится, будет поражен, какое неизмеримое на первый взгляд расстояние отделяет исходный пункт от конечного вывода и как мало они друг другу соответствуют. С удивлением выслушал я Дюпена и не мог не признать справедливости его слов.

Мой друг между тем продолжал:

— До того как свернуть, мы, помнится, говорили о лошадях. На этом разговор наш оборвался. Когда же мы вышли сюда, на эту улицу, выскочивший откуда-то зеленщик с большой корзиной яблок на голове пробежал мимо и второпях толкнул вас на груду булыжника, сваленного там, где каменщики чинили мостовую. Вы споткнулись о камень, поскользнулись, слегка растянули связку, рассердились, во всяком случае насупились, пробормотали что-то, еще раз оглянулись на груду булыжника и молча зашагали дальше. Я не то чтобы следил за вами: просто наблюдательность стала за последнее время моей второй натурой.

Вы упорно не поднимали глаз и только косились на выбоины и трещины в панели (из чего я

заключил, что вы все еще думаете о булыжнике), пока мы не поравнялись с переулком, который носит имя Ламартина и вымощен на новый лад — плотно пригнанными плитками, уложенными в шахматном порядке. Вы заметно повеселели, и по движению ваших губ я угадал слово «стереотомия» — термин, которым для пущей важности окрестили такое мощение. Я понимал, что слово «стереотомия» должно навести вас на мысль об атомах и, кстати, об учении Эпикура; а поскольку это было темой нашего недавнего разговора — я еще доказывал вам, как разительно смутные догадки благородного грека подтверждаются выводами современной космогонии по части небесных туманностей, в чем никто еще не отдал ему должного, — то я так и ждал, что вы устремите глаза на огромную туманность в созвездии Ориона. И вы действительно посмотрели вверх, чем показали, что я безошибочно иду по вашему следу. Кстати, в злобном выпаде против Шантильи во вчерашней «Musée» некий зоил, весьма недостойно пройдясь насчет того, что сапожник, взобравшийся на котурны, постарался изменить самое имя свое, процитировал строчку латинского автора, к которой мы не раз обращались в наших беседах. Я разумею стих:

Perdidit antiquum litera prima sonum[40].

Я как-то пояснил вам, что здесь разумеется Орион — когда-то он писался Урион, — мы с вами еще пошутили на этот счет, так что случай, можно сказать, памятный. Я понимал, что Орион наведет вас на мысль о Шантильи, и улыбка ваша это мне подтвердила. Вы вздохнули о бедной жертве, отданной на заклание. Все время вы шагали сутулясь, а тут выпрямились во весь рост, и я решил, что вы подумали о тщедушном сапожнике. Тогда-то я и прервал ваши размышления, заметив, что он в самом деле не вышел ростом, наш Шантильи, и лучше бы ему попытать счастья в театре «Варьете».

Вскоре затем, просматривая вечерний выпуск «Судебной газеты», наткнулись мы на следующую заметку:

НЕСЛЫХАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

«Сегодня, часов около трех утра, мирный сон обитателей квартала Сен-Рок был нарушен душераздирающими криками. Следуя один за другим без перерыва, они доносились, по-видимому, с пятого этажа дома на улице Морг, где, как известно

---

[40] Сноски: 40
Утратила былое звучание первая буква *(лат.)*.

местным обывателям, проживала единственно некая мадам Л'Эспанэ с незамужней дочерью мадемуазель Камиллой Л'Эспанэ. После небольшой заминки у запертых дверей при безуспешной попытке проникнуть в подъезд обычным путем пришлось прибегнуть к лому, и с десяток соседей, в сопровождении двух жандармов, ворвались в здание. Крики уже стихли; но едва лишь кучка смельчаков поднялась по первому маршу, как сверху послышалась перебранка двух, а возможно, и трех голосов, звучавших отрывисто и сердито. Покуда добрались до третьего этажа, стихли и эти звуки, и водворилась полная тишина. Люди рассыпались по всему дому, перебегая из одной комнаты в другую. Когда же очередь дошла до большой угловой спальни на пятом этаже (дверь, запертую изнутри, тоже взломали), — толпа отступила перед открывшимся зрелищем, охваченная ужасом и изумлением.

Здесь все было вверх дном, повсюду раскидана поломанная мебель. В комнате стояла одна только кровать, но без постели, подушки и одеяло валялись на полу. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. Две-три густые пряди длинных седых волос, вырванных, видимо, с корнем и слипшихся от крови, пристали к каминной

решетке. На полу, под ногами, найдены четыре наполеондора, одна серьга с топазом, три столовые серебряные и три чайные мельхиоровые ложки и два мешочка с золотыми монетами — общим счетом без малого четыре тысячи франков. Ящики комода в углу были выдвинуты наружу, грабители, очевидно, рылись в них, хотя всего не унесли. Железная укладка обнаружена под постелью (а не под кроватью). Она была открыта, ключ еще торчал в замке, но в ней ничего не осталось, кроме пожелтевших писем и других завалявшихся бумажек.

И никаких следов мадам Л'Эспанэ! Кто-то заметил в камине большую груду золы, стали шарить в дымоходе и — о ужас! — вытащили за голову труп дочери: его вверх ногами, и притом довольно далеко, затолкали в узкую печную трубу. Тело было еще теплым. Кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана — явное следствие усилий, с какими труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. Лицо страшно исцарапано, на шее сине-багровые подтеки и глубокие следы ногтей, словно человека душили.

После того как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись

вниз, на мощеный дворик, и там наткнулись на мертвую старуху — ее так хватили бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась. И тело и лицо были изуродованы, особенно тело, в нем не сохранилось ничего человеческого.

Таково это поистине ужасное преступление, пока еще окутанное непроницаемой тайной».

Назавтра газета принесла следующие дополнительные сообщения:

ТРАГЕДИЯ НА УЛИЦЕ МОРГ

«Неслыханное по жестокости убийство всколыхнуло весь Париж, допрошен ряд свидетелей, но ничего нового, проясняющего тайну, пока не обнаружено. Ниже приведены вкратце наиболее существенные показания:

Полина Дюбур, прачка, показывает, что знала покойниц последние три года, стирала на них. Старая дама с дочкой, видно, жили дружно, душа в душу. Платили исправно. Насчет их образа жизни и средств ничего сказать не может. Полагает, что мадам Л'Эспанэ была гадалкой, этим и кормились. Поговаривали, что у нее есть деньги. Свидетельница никого не встречала в доме, когда приходила за бельем или приносила его после стирки. Знает наверняка, что служанки они не

держали. Насколько ей известно, мебелью был обставлен только пятый этаж.

Пьер Моро, владелец табачной лавки, показывает, что в течение четырех лет отпускал мадам Л'Эспанэ нюхательный и курительный табак небольшими пачками. Он местный уроженец и коренной житель. Покойница с дочерью уже больше шести лет как поселилась в доме, где их нашли убитыми. До этого здесь квартировал ювелир, сдававший верхние комнаты жильцам. Дом принадлежал мадам Л'Эспанэ. Старуха всякое терпение потеряла с квартирантом, который пускал к себе жильцов, и переехала сама на верхний этаж, а от сдачи внаем свободных помещений и вовсе отказалась. Не иначе как впала в детство. За все эти годы свидетель только пять-шесть раз видел дочь. Обе женщины жили уединенно, по слухам, у них имелись деньги. Болтали, будто мадам Л. промышляет гаданьем, но он этому не верил. Ни разу не видел, чтобы кто-либо входил в дом, кроме самой и дочери, да кое-когда привратника, да раз восемь — десять наведывался доктор.

Примерно то же свидетельствовали и другие соседи. Никто не замечал, чтобы к покойницам кто-либо захаживал. Были ли у них где-нибудь

друзья или родственники, тоже никому слышать не приходилось. Ставни по фасаду открывались редко, а со двора их и вовсе заколотили, за исключением большой комнаты на пятом этаже. Дом еще не старый, крепкий.

Изидор Мюзе, жандарм, показывает, что за ним пришли около трех утра. Застал у дома толпу, человек в двадцать — тридцать, осаждавшую дверь. Замок взломал он, и не ломом, а штыком. Дверь поддалась легко, она двустворчатая, ни сверху, ни снизу не закреплена. Крики доносились все время, пока не открыли дверь, — и вдруг оборвались. Кричали (не разберешь — один или двое) как будто в смертной тоске, крики были протяжные и громкие, а не отрывистые и хриплые. Наверх свидетель поднимался первым. Взойдя на второй этаж, услышал, как двое сердито и громко переругиваются — один глухим, а другой вроде как визгливым голосом, и голос какой-то чудной. Отдельные слова первого разобрал. Это был француз. Нет, ни в коем случае не женщина. Он разобрал слова «sacré» и «diable»[41], визгливым голосом говорил иностранец. Не поймешь, мужчина или женщина. Не разобрать, что говорил,

[41] Сноски: 41
«Проклятие» и «черт» *(фр.).*

а только, скорее всего, язык испанский. Рассказывая, в каком виде нашли комнату и трупы, свидетель не добавил ничего нового к нашему вчерашнему сообщению.

Анри Дюваль, сосед, по профессии серебряник, показывает, что с первой же группой вошел в дом. В целом подтверждает показания Мюзе. Едва проникнув в подъезд, они заперли за собой дверь, чтобы задержать толпу, которая все прибывала, хотя стояла глухая ночь. Визгливый голос, по впечатлению свидетеля, принадлежал итальянцу. Уверен, что не француз. По голосу не сказал бы, что непременно мужчина. Возможно, что женщина. Итальянского не знает, слов не разобрал, но, судя по интонации, полагает, что итальянец. С мадам Л. и дочерью был лично знаком. Не раз беседовал с обеими. Уверен, что ни та, ни другая не говорила визгливым голосом.

Оденгеймер, ресторатор. Свидетель сам вызвался дать показания. По-французски не говорит, допрашивается через переводчика. Уроженец Амстердама. Проходил мимо дома, когда оттуда раздались крики. Кричали долго, несколько минут, пожалуй что и десять. Крики протяжные, громкие, хватающие за душу, леденящие кровь. Одним из первых вошел в дом. Подтверждает

предыдущие показания по всем пунктам, кроме одного: уверен, что визгливый голос принадлежал мужчине, и притом французу. Нет, слов не разобрал, говорили очень громко и часто-часто, будто захлебываясь, не то от гнева, не то от страха. Голос резкий — скорее резкий, чем визгливый. Нет, визгливым его не назовешь. Хриплый голос все время повторял «sacré» и «diable», а однажды сказал «mon Dieu!»[42].

Жюль Миньо, банкир, фирма «Миньо и сыновья» на улице Делорен. Он — Миньо-старший. У мадам Л'Эспанэ имелся кое-какой капиталец. Весною такого-то года (восемь лет назад) вдова открыла у них счет. Часто делала новые вклады — небольшими суммами. Чеков не выписывала, но всего за три дня до смерти лично забрала со счета четыре тысячи франков. Деньги были выплачены золотом и доставлены на дом конторщиком банка.

Адольф Лебон, конторщик фирмы «Миньо и сыновья», показывает, что в означенный день, часу в двенадцатом, проводил мадам Л'Эспанэ до самого дома, отнес ей четыре тысячи франков, сложенных в два мешочка. Дверь открыла маде-

---

[42] Сноски: 42
Боже мой! *(фр.)*

муазель Л'Эспанэ; она взяла у него один мешочек, а старуха другой. После чего он откланялся и ушел. Никого на улице он в тот раз не видел. Улица тихая, безлюдная.

Уильям Берд, портной, показывает, что вместе с другими вошел в дом. Англичанин. В Париже живет два года. Одним из первых поднялся по лестнице. Слышал, как двое спорили. Хриплый голос принадлежал французу. Отдельные слова можно было разобрать, но всего он не помнит. Ясно слышал «sacré» и «mon Dieu!». Слова сопровождались шумом борьбы, топотом и возней, как будто дрались несколько человек. Пронзительный голос звучал очень громко, куда громче, чем хриплый. Уверен, что не англичанин. Скорее, немец. Может быть, и женщина. Сам он по-немецки не говорит.

Четверо из числа означенных свидетелей на вторичном допросе показали, что дверь спальни, где нашли труп мадемуазель Л., была заперта изнутри. Тишина стояла мертвая, ни стона, ни малейшего шороха. Когда дверь взломали, там уже никого не было. Окна спальни и смежной комнаты, что на улицу, были опущены и наглухо заперты изнутри, дверь между ними притворена, но не заперта. Дверь из передней комнаты

в коридор была заперта изнутри. Небольшая комнатка окнами на улицу, в дальнем конце коридора, на том же пятом этаже, была не заперта, дверь приотворена. Здесь были свалены старые кровати, ящики и прочая рухлядь. Вещи вынесли и тщательно осмотрели. Дом обшарили сверху донизу. Дымоходы обследованы трубочистами. В доме пять этажей, не считая чердачных помещений (mansardes). На крышу ведет люк, он забит гвоздями и, видимо, давно бездействует. Время, истекшее между тем, как свидетели услышали перебранку и как взломали входную дверь в спальню, оценивается по-разному: от трех до пяти минут. Взломать ее стоило немалых усилий.

Альфонсо Гарсио, гробовщик, показал, что проживает на улице Морг. Испанец по рождению. Вместе с другими побывал в доме. Наверх не подымался. У него нервы слабые, ему нельзя волноваться. Слышал, как двое спорили, хриплый голос — несомненно француз. О чем спорили, не уловил. Визгливым голосом говорил англичанин. Сам он по-английски не разумеет, судит по интонации.

Альберто Монтани, владелец магазина готового платья, показывает, что одним из первых взбежал наверх. Голоса слышал. Хрипло говорил

француз. Кое-что понять можно было. Говоривший в чем-то упрекал другого. Слов второго не разобрал. Второй говорил часто-часто, заплетающимся языком. Похоже, что по-русски. В остальном свидетель подтверждает предыдущие показания. Сам он итальянец. С русскими говорить ему не приходилось.

Кое-кто из свидетелей на вторичном допросе подтвердил, что дымоходы на четвертом этаже слишком узкие и человеку в них не пролезть. Под «трубочистами» они разумели цилиндрической формы щетки, какие употребляют при чистке труб. В доме нет черной лестницы, по которой злодеи могли бы убежать, пока их преследователи поднимались наверх. Труп мадемуазель Л'Эспанэ был так плотно затиснут в дымоход, что только общими усилиями четырех или пяти человек удалось его вытащить.

Поль Дюма, врач, показывает, что утром, чуть рассвело, его позвали освидетельствовать тела убитых женщин. Оба трупа лежали на старом матраце, снятом с кровати в спальне, где найдена мадемуазель Л. Тело дочери все в кровоподтеках и ссадинах. Это вполне объясняется тем, что его заталкивали в тесный дымоход. Особенно пострадала шея. Под самым подбородком несколько

глубоких ссадин и сине-багровых подтеков — очевидно, отпечатки пальцев. Лицо в страшных синяках, глаза вылезли из орбит. Язык чуть ли не насквозь прокушен. Большой кровоподтек на нижней части живота показывает, что здесь надавливали коленом. По мнению мосье Дюма, мадемуазель Л'Эспанэ задушена, — убийца был, возможно, не один. Тело матери чудовищно изувечено. Все кости правой руки и ноги переломаны и частично раздроблены. Расщеплена левая tibia[43], равно как и ребра с левой стороны. Все тело в синяках и ссадинах. Трудно сказать, чем нанесены повреждения. Увесистая дубинка или железный лом, ножка кресла — да, собственно, любое тяжелое орудие в руках необычайно сильного человека могло это сделать. Женщина была бы не в силах нанести такие увечья. Голова убитой, когда ее увидел врач, была отделена от тела и тоже сильно изуродована. Горло перерезано острым лезвием, возможно бритвой.

Александр Этьенн, хирург, был вместе с мосье Дюма приглашен освидетельствовать трупы. Полностью присоединяется к показаниям и заключению мосье Дюма.

---

[43] Сноски: 43
Берцовая кость *(лат.).*

Ничего существенного больше установить не удалось, хотя к дознанию были привлечены и другие лица. В Париже не запомнят убийства, совершенного при столь туманных и во всех отношениях загадочных обстоятельствах. Да и убийство ли это? Полиция сбита с толку. Ни малейшей путеводной нити, ни намека на возможную разгадку».

В вечернем выпуске сообщалось, что в квартале Сен-Рок по-прежнему сильнейший переполох, но ни новый обыск в доме, ни повторные допросы свидетелей ни к чему не привели. Дополнительно сообщалось, что арестован и посажен в тюрьму Адольф Лебон, хотя никаких новых отягчающих улик, кроме уже известных фактов, не обнаружено.

Я видел, что Дюпен крайне заинтересован ходом следствия, но от комментариев он воздерживался. И только когда появилось сообщение об аресте Лебона, он пожелал узнать, что я думаю об этом убийстве.

Я мог лишь вместе со всем Парижем объявить его неразрешимой загадкой. Я не видел ни малейшей возможности напасть на след убийцы.

— А вы не судите по этой пародии на следствие, — возразил Дюпен. — Парижская полиция

берет только хитростью, ее хваленая догадливость — чистейшая басня. В ее действиях нет системы, если не считать системой обыкновение хвататься за первое, что подскажет минута. Они кричат о своих мероприятиях, но эти мероприятия так часто бьют мимо цели, что невольно вспомнишь Журдена: «pour mieux entendre la musique», он требовал подать себе свой «robe de chambre»[44]. Если они кое-чего и достигают, то исключительно усердием и трудом. Там же, где этих качеств недостаточно, усилия их терпят крах. У Видока, например, была догадка и упорство, при полном неумении систематически мыслить; самая горячность его поисков подводила его, и он часто попадал впросак. Он так близко вглядывался в свой объект, что это искажало перспективу. Пусть он ясно различал то или другое, зато целое от него ускользало. В глубокомыслии легко перемудрить. Истина не всегда обитает на дне колодца. В насущных вопросах она, по-моему, скорее лежит на поверхности. Мы ищем ее на дне ущелий, а она поджидает нас на горных вершинах. Чтобы уразуметь характер подобных ошибок и их причину, обратимся к

---

[44] Сноски: 44
Чтобы лучше слышать музыку… халат *(фр.)*.

наблюдению над небесными телами. Бросьте на звезду быстрый взгляд, посмотрите на нее краешком сетчатки (более чувствительным к слабым световым раздражениям, нежели центр), и вы увидите светило со всей ясностью и сможете оценить его блеск, который тускнеет, по мере того как вы поворачиваетесь, чтобы посмотреть на него в упор. В последнем случае на глаз упадет больше лучей, зато в первом восприимчивость куда острее. Чрезмерная глубина лишь путает и затуманивает мысль. Слишком сосредоточенный, настойчивый и упорный взгляд может и Венеру согнать с небес.

Что касается убийства, то давайте учиним самостоятельный розыск, а потом уже вынесем суждение. Такое расследование нас позабавит (у меня мелькнуло, что «позабавит» не то слово, но я промолчал), к тому же Лебон когда-то оказал мне услугу, за которую я поныне ему обязан. Пойдемте же поглядим на все своими глазами. Полицейский префект Г. — мой старый знакомый — не откажет нам в разрешении.

Разрешение было получено, и мы не мешкая отправились на улицу Морг. Это одна из тихих, неказистых улочек, соединяющих улицу Ришелье с улицей Сен-Рок. Мы жили на другом

конце города и только часам к трем добрались до места. Дом сразу бросился нам в глаза, так как немало зевак все еще бесцельно глазело с противоположного тротуара на закрытые ставни. Это был обычный парижский особняк с подворотней, сбоку прилепилась стеклянная сторожка с подъемным оконцем, так называемая loge de concierge[45]. Не заходя, мы проследовали дальше по улице, свернули в переулок, опять свернули и вышли к задам дома. Дюпен так внимательно оглядывал усадьбу и соседние строения, что я только диву давался, не находя в них ничего достойного внимания.

Вернувшись к входу, мы позвонили. Наши верительные грамоты произвели впечатление, и дежурные полицейские впустили нас. Мы поднялись по лестнице в спальню, где была найдена мадемуазель Л'Эспанэ и где все еще лежали оба трупа. Здесь, как и полагается, все осталось в неприкосновенности и по-прежнему царил хаос. Я видел перед собой картину, описанную в «Судебной газете», — и ничего больше. Однако Дюпен все подверг самому тщательному осмотру, в том числе и трупы. Мы обошли и

---

[45] Сноски: 45
Привратницкая *(фр.).*

остальные комнаты и спустились во двор, все это под бдительным оком сопровождавшего нас полицейского. Осмотр затянулся до вечера; наконец мы попрощались. На обратном пути мой спутник еще наведался в редакцию одной из утренних газет.

Я уже рассказал здесь о многообразных причудах моего друга и о том, как je les ménageais[46], — соответствующее английское выражение не приходит мне в голову. Сейчас он был явно не в настроении обсуждать убийство и заговорил о нем только назавтра, в полдень. Начав без предисловий, он огорошил меня вопросом: не заметил ли я чего-то особенного в этой картине зверской жестокости?

«Особенного» он сказал таким тоном, что я невольно содрогнулся.

— Нет, ничего особенного, — сказал я, — по сравнению с тем, конечно, что мы читали в газете.

— Боюсь, что в газетном отчете отсутствует главное, — возразил Дюпен, — то чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия. Но Бог с ним, с этим дурацким

---

[46] Сноски: 46
Я им потакал *(фр.).*

листком и его праздными домыслами.

Мне думается, загадку объявили неразрешимой как раз на том основании, которое помогает ее решить: я имею в виду то чудовищное, что наблюдается здесь во всем. Полицейских смущает кажущееся отсутствие побудительных мотивов, и не столько самого убийства, сколько его жестокости. К тому же они не могут справиться с таким будто бы непримиримым противоречием: свидетели слышали спорящие голоса, а между тем наверху, кроме убитой мадемуазель Л'Эспанэ, никого не оказалось. Но и бежать убийцы не могли — другого выхода нет, свидетели непременно увидели бы их, поднимаясь по лестнице. Невообразимый хаос в спальне; труп, который кто-то ухитрился затолкать в дымоход, да еще вверх ногами; фантастические истязания старухи — этих обстоятельств вместе с вышеупомянутыми, да и многими другими, которых я не стану здесь перечислять, оказалось достаточно, чтобы выбить у наших властей почву из-под ног, парировать их хваленую догадливость. Они впали в грубую, хоть и весьма распространенную ошибку, смешав необычайное с необъяснимым. А ведь именно отклонение от простого и обычного освещает дорогу разуму в поисках истины. В таком рас-

следовании, как наше с вами, надо спрашивать не «Что случилось?», а «Что случилось такого, чего еще никогда не бывало?». И в самом деле, легкость, с какой я прихожу — пришел, если хотите, — к решению этой загадки, не прямо ли пропорциональна тем трудностям, какие возникают перед полицией?

Я смотрел на Дюпена в немом изумлении.

— Сейчас я жду, — продолжал Дюпен, поглядывая на дверь, — жду человека, который, не будучи прямым виновником этих зверств, должно быть, в какой-то мере способствовал тому, что случилось. В самой страшной части содеянных преступлений он, очевидно, не повинен.

Надеюсь, я прав в своем предположении, так как на нем строится мое решение всей задачи в целом. Я жду этого человека сюда, к нам, с минуты на минуту. Разумеется, он может и не прийти, но, по всей вероятности, придет. И тогда необходимо задержать его. Вот пистолеты. Оба мы сумеем, если нужно будет, распорядиться ими.

Я машинально взял пистолеты, почти не сознавая, что делаю, не веря ушам своим, а Дюпен продолжал, словно изливаясь в монологе. Я уже упоминал о присущей ему временами отрешенности. Он адресовался ко мне и, следовательно,

говорил негромко, но что-то в его интонации звучало так, точно он обращается к кому-то вдалеке. Пустой, ничего не выражающий взгляд его упирался в стену.

— Показаниями установлено, — продолжал Дюпен, — что спорящие голоса, которые свидетели слышали на лестнице, не принадлежали обеим женщинам. А значит, отпадает версия, будто мадам Л'Эспанэ убила дочь, а потом лишила себя жизни. Я говорю об этом, лишь чтобы показать ход своих рассуждений: у мадам Л'Эспанэ не хватило бы, конечно, сил засунуть труп дочери в дымоход, где он был найден, а истязания, которым подверглась она сама, исключают всякую мысль о самоубийстве. Отсюда следует, что убийство совершено какой-то третьей стороной, и спорящие голоса с полной очевидностью принадлежали этой третьей стороне. А теперь обратимся не ко всей части показаний, касающихся обоих голосов, а только к известной их особенности. Скажите, вас ничто не удивило?

— Все свидетели, — отвечал я, — согласны в том, что хриплый голос принадлежал французу, тогда как насчет визгливого или резкого, как кто-то выразился, мнения разошлись.

— Вы говорите о показаниях вообще, — воз-

разил Дюпен, — а не об их отличительной особенности. Вы не заметили самого характерного. А следовало бы заметить! Свидетели, как вы правильно указали, все одного мнения относительно хриплого голоса; тут полное единодушие. Что же до визгливого голоса, то удивительно не то, что мнения разошлись, а что итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз — все характеризуют его как голос иностранца. Никто в интонациях визгливого голоса не признал речи соотечественника. При этом каждый отсылает нас не к нации, язык которой ему знаком, а как раз наоборот. Французу слышится речь испанца: «Не поймешь, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский». Для голландца это был француз; впрочем, как записано в протоколе, «свидетель по-французски не говорит, допрашивается через переводчика». Для англичанина это звучит как речь немца; кстати, он «по-немецки не разумеет». Испанец «уверен», что это англичанин, причем сам он «по-английски не знает ни слова» и судит только по интонации, — «английский для него чужой язык». Итальянцу мерещится русская речь — правда, «с русскими говорить ему не приходилось». Мало того, второй француз, в отличие от первого, «уверен, что говорил италья-

нец»; не владея этим языком, он, как и испанец, ссылается «на интонацию». Поистине странно должна была звучать речь, вызвавшая подобные суждения, речь, в звуках которой ни один из представителей пяти крупнейших европейских стран не узнал ничего знакомого, родного! Вы скажете, что то мог быть азиат или африканец. Правда, выходцы из Азии или Африки нечасто встречаются в Париже, но, даже не отрицая такой возможности, я хочу обратить ваше внимание на три обстоятельства. Одному из свидетелей голос неизвестного показался «скорее резким, чем визгливым». Двое других характеризуют его речь как торопливую и неровную. И никому не удалось разобрать ни одного членораздельного слова или хотя бы отчетливого звука.

Не знаю, — продолжал Дюпен, — какое на вас впечатление производят мои доводы, но осмелюсь утверждать, что уже из этой части показаний — насчет хриплого и визгливого голоса — вытекают законные выводы и догадки, предопределяющие весь дальнейший ход нашего расследования. Сказав «законные выводы», я не совсем точно выразился. Я хотел сказать, что это единственно возможные выводы и что они неизбежно ведут к моей догадке как к единствен-

ному результату. Что за догадка, я пока умолчу. Прошу лишь запомнить, что для меня она столь убедительна, что придала определенное направление и даже известную цель моим розыскам в старухиной спальне.

Перенесемся мысленно в эту спальню. Чего мы прежде всего станем в ней искать? Конечно, выхода, которым воспользовались убийцы. Мы с вами, естественно, в чудеса не верим. Не злые же духи, в самом деле, расправились с мадам и мадемуазель Л'Эспанэ! Преступники — заведомо существа материального мира, и бежали они согласно его законам. Но как? Тут, к счастью, требуются самые несложные рассуждения, и они должны привести нас к прямому и точному ответу. Рассмотрим же последовательно все наличные выходы. Ясно, что, когда люди поднимались по лестнице, убийцы находились в старухиной спальне либо, в крайнем случае, в смежной комнате, — а значит, и выход нужно искать в этих пределах. Полицейские добросовестно обследовали пол, стены и потолок. Ни одна потайная дверь не укрылась бы от их взгляда. Но, не полагаясь на них, я все проверил. Обе двери из комнат в коридор были надежно заперты изнутри. Обратимся к дымоходам. Хотя в нижней

части, футов на восемь — десять от выхода в камин, они обычной ширины, но выше настолько сужаются, что в них не пролезть и упитанной кошке. Итак, эти возможности бегства отпадают. Остаются окна. Окна в комнате на улицу в счет не идут, так как собравшаяся толпа увидела бы беглецов. Следовательно, убийцы должны были скрыться через окна спальни. Придя к такому логическому выводу, мы, как разумные люди, не должны отказываться от него на том основании, что это, мол, явно невозможно. Наоборот, мы постараемся доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

В спальне два окна. Одно из них ничем не заставлено и видно сверху донизу. Другое снизу закрыто спинкой громоздкой кровати. Первое окно закреплено изнутри. Все усилия поднять его оказались безуспешными. Слева в оконной раме проделано отверстие, и в нем глубоко, чуть ли не по самую шляпку, сидит большой гвоздь. Когда обратились к другому окну, то и там в раме нашли такой же гвоздь. И это окно тоже не поддалось попыткам открыть его. Указанные обстоятельства убедили полицию, что преступники не могли бежать этим путем. А положившись на это, полицейские не сочли нужным вытащить

оба гвоздя и открыть окна.

Я не ограничился поверхностным осмотром, я уже объяснил вам почему. Ведь мне надлежало доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

Я стал рассуждать a posteriori[47]. Убийцы, несомненно, бежали в одно из этих окон. Но тогда они не могли бы снова закрепить раму изнутри, а ведь окна оказались наглухо запертыми, и это соображение своей очевидностью давило на полицейских и пресекало их поиски в этом направлении. Да, окна были заперты. Значит, они запираются автоматически. Такое решение напрашивалось само собой. Я подошел к свободному окну, с трудом вытащил гвоздь и попробовал поднять раму. Как я и думал, она не поддалась. Тут я понял, что где-то есть потайная пружина. Такая догадка по крайней мере оставляла в силе мое исходное положение, как ни загадочно обстояло дело с гвоздями. При внимательном осмотре я действительно обнаружил скрытую пружину. Я нажал на нее и, удовлетворясь этой находкой, не стал поднимать раму.

Я снова вставил гвоздь в отверстие и стал вни-

---

[47] Сноски: 47
В обратном порядке *(лат.).*

мательно его разглядывать. Человек, вылезший в окно, может снаружи опустить раму, и затвор сам собой защелкнется — но ведь гвоздь сам по себе на место не станет. Отсюда напрашивался вывод, еще более ограничивший поле моих изысканий. Убийцы должны были бежать через другое окно. Но если, как и следовало ожидать, затвор в обоих окнах одинаковый, то разница должна быть в гвозде или по крайней мере в том, как он вставляется на место. Забравшись на матрац и перегнувшись через спинку кровати, я тщательно осмотрел раму второго окна; потом, просунув руку, нащупал и нажал пружину, во всех отношениях схожую с соседкой. Затем я занялся гвоздем. Он был такой же крепыш, как его товарищ, и тоже входил в отверстие чуть ли не по самую шляпку.

Вы, конечно, решите, что я был озадачен. Плохо же вы себе представляете индуктивный метод мышления — умозаключение от факта к его причине. Выражаясь языком спортсменов, я бил по мячу без промаха. Я шел по верному следу. В цепочке моих рассуждений не было ни одного порочного звена, я проследил ее всю до конечной точки — и этой точкой оказался гвоздь. Я уже говорил, что он во всем походил на своего собрата

в соседнем окне, но что значил этот довод (при всей его убедительности) по сравнению с моей уверенностью, что именно к этой конечной точке и ведет путеводная нить. «Значит, гвоздь не в порядке», — подумал я. И действительно, чуть я до него дотронулся, как шляпка вместе с обломком шпенька осталась у меня в руке. Большая часть гвоздя продолжала сидеть в отверстии, где он, должно быть, и сломался. Излом был старый; об этом говорила покрывавшая его ржавчина; я заметил также, что молоток, вогнавший гвоздь, частично вогнал в раму края шляпки. Когда я аккуратно вставил обломок на место, получилось впечатление, будто гвоздь целый. Ни малейшей трещинки не было заметно. Нажав на пружинку, я приподнял окно. Вместе с рамой поднялась и шляпка, плотно сидевшая в отверстии. Я опустил окно, опять впечатление целого гвоздя.

Итак, в этой части загадка была разгадана: убийца бежал в окно, заставленное кроватью. Когда рама опускалась — сама по себе или с чьей-нибудь помощью, — пружина закрепляла ее на месте; полицейские же действие пружины приняли за действие гвоздя и отказались от дальнейших расследований.

Встает вопрос, как преступник спустился вниз.

Тут меня вполне удовлетворила наша с вами прогулка вокруг дома. Футах в пяти с половиной от проема окна, о котором идет речь, проходит громоотвод. Добраться отсюда до окна, а тем более влезть в него нет никакой возможности. Однако я заметил, что ставни на пятом этаже принадлежат к разряду ferrades, как называют их парижские плотники; они давно вышли из моды, но вы еще частенько встретите их в старых особняках где-нибудь в Лионе или Бордо. Такой ставень напоминает обычную дверь — одностворчатую, — с той, однако, разницей, что верхняя половина у него сквозная, наподобие кованой решетки или шпалеры, за нее удобно ухватиться руками. Ставни в доме мадам Л'Эспанэ шириной в три с половиной фута. Когда мы увидели их с задворок, они были полуоткрыты, то есть стояли под прямым углом к стене. Полицейские, как и я, возможно, осматривали дом с тылу. Но, увидев ставни в поперечном разрезе, не заметили их необычайной ширины, во всяком случае — не обратили должного внимания. Уверенные, что преступники не могли ускользнуть таким путем, они, естественно, ограничились беглым осмотром окон. Мне же сразу стало ясно, что, если до конца распахнуть ставень над

изголовьем кровати, он окажется не более чем в двух футах от громоотвода. При исключительной смелости и ловкости вполне можно перебраться с громоотвода в окно. Протянув руку фута на два с половиной (при условии, что ставень открыт настежь), грабитель мог ухватиться за решетку. Отпустив затем громоотвод и упершись в стену ногами, он мог с силой оттолкнуться и захлопнуть ставень, а там, если предположить, что окно открыто, махнуть через подоконник прямо в комнату.

Итак, запомните: речь идет о совершенно особой, из ряда вон выходящей ловкости, ибо только с ее помощью можно совершить столь рискованный акробатический номер. Я намерен вам доказать, во-первых, что такой прыжок возможен, а во-вторых, — и это главное, — хочу, чтобы вы представили себе, какое необычайное, почти сверхъестественное проворство требуется для такого прыжка.

Вы, конечно, скажете, что «в моих интересах», как выражаются адвокаты, скорее скрыть, чем признать в полной мере, какая здесь нужна ловкость. Но если таковы нравы юристов, то не таково обыкновение разума. Истина — вот моя конечная цель. Ближайшая же моя задача в том,

чтобы вызвать в вашем сознании следующее сопоставление: с одной стороны, изумительная ловкость, о какой я уже говорил; с другой — крайне своеобразный, пронзительный, а по другой версии — резкий голос, относительно национальной принадлежности которого мнения расходятся; и при этом невнятное лопотание, в котором нельзя различить ни одного членораздельного слога…

Под влиянием этих слов какая-то смутная догадка забрезжила в моем мозгу. Казалось, еще усилие, и я схвачу мысль Дюпена: так иной тщетно напрягает память, стараясь что-то вспомнить. Мой друг между тем продолжал:

— Заметьте, от вопроса, как грабитель скрылся, я свернул на то, как он проник в помещение. Я хотел показать вам, что то и другое произошло в одном и том же месте и одинаковым образом. А теперь вернемся к помещению. Что мы здесь застали? Из ящиков комода, где и сейчас лежат носильные вещи, многое, как нас уверяют, было похищено. Ну не абсурд ли? Предположение, явно взятое с потолка и не сказать чтобы умное. Почем знать, может быть, в комоде и не было ничего, кроме найденных вещей? Мадам Л’Эспанэ и ее дочь жили затворницами, никого не принимали

и мало где бывали, — зачем же им, казалось бы, нужен был богатый гардероб? Найденные платья по своему качеству явно не худшие из того, что могли носить эти дамы. И если грабитель польстился на женские платья, то почему он оставил как раз лучшие, почему, наконец, не захватил все? А главное, почему ради каких-то тряпок отказался от четырех тысяч золотых?

А ведь денег-то он и не взял. Чуть ли не все золото, о котором сообщил мосье Миньо, осталось в целости и валялось в мешочках на полу. А потому выбросьте из головы всякую мысль о побудительных мотивах — дурацкую мысль, возникшую в голове у полицейских под влиянием той части показаний, которая говорит о золоте, доставленном на дом. Совпадения вдесятеро более разительные, чем доставка денег на дом и последовавшее спустя три дня убийство получателя, происходят ежечасно у нас на глазах, а мы их даже не замечаем. Совпадения — это обычно величайший подвох для известного сорта мыслителей, и слыхом не слыхавших ни о какой теории вероятности, — а ведь именно этой теории обязаны наши важнейшие отрасли знания наиболее славными своими открытиями. Разумеется, если бы денег недосчитались, тот факт, что их при-

несли чуть ли не накануне убийства, означал бы нечто большее, чем простое совпадение. С полным правом возник бы вопрос о побудительных мотивах. В данном же случае счесть мотивом преступления деньги означало бы прийти к выводу, что преступник — совершеннейшая разиня и болван, ибо о деньгах, а значит, о своем побудительном мотиве, он как раз и позабыл.

А теперь, твердо помня о трех обстоятельствах, на которые я обратил ваше внимание, — своеобразный голос, необычайная ловкость и поражающее отсутствие мотивов в таком исключительном по своей жестокости убийстве, — обратимся к самой картине преступления. Вот жертва, которую задушили голыми руками, а потом вверх ногами засунули в дымоход. Обычные преступники так не убивают. И уж, во всяком случае, не прячут таким образом трупы своих жертв. Представьте себе, как мертвое тело заталкивали в трубу, и вы согласитесь, что в этом есть что-то чудовищное, что-то несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках, даже считая, что здесь орудовало последнее отребье. Представьте также, какая требуется неимоверная силища, чтобы затолкать тело в трубу — *снизу вверх,* когда лишь совместными усилиями нескольких чело-

век удалось извлечь его оттуда *сверху вниз*...

И, наконец, другие проявления этой страшной силы! На каминной решетке были найдены космы волос, необыкновенно густых седых волос. Они были вырваны с корнем. Вы знаете, какая нужна сила, чтобы вырвать сразу даже двадцать — тридцать волосков! Вы, так же как и я, видели эти космы. На корнях — страшно сказать! — запеклись окровавленные клочки мяса, содранные со скальпа, — красноречивое свидетельство того, каких усилий стоило вырвать одним махом до полумиллиона волос. Горло старухи было не просто перерезано — голова начисто отделена от шеи; а ведь орудием убийце послужила простая бритва. Вдумайтесь также в звериную жестокость этих злодеяний. Я не говорю уже о синяках на теле мадам Л'Эспанэ. Мосье Дюма и его достойный коллега мосье Этьенн считают, что побои нанесены каким-то тупым орудием, — и в этом почтенные эскулапы не ошиблись. Тупым орудием в данном случае явилась булыжная мостовая, куда тело выбросили из окна, заставленного кроватью. Ведь это же проще простого! Но полицейские и это проморгали, как проморгали ширину ставней, ибо в их герметически закупоренных мозгах не могла

возникнуть мысль, что окна все же отворяются.

Если присоединить к этому картину хаотического беспорядка в спальне, вам останется только сопоставить неимоверную прыть, сверхчеловеческую силу, лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся чуждыми представителям самых различных национальностей, а также с речью, лишенной всякой членораздельности. Какой же напрашивается вывод? Какой образ возникает перед вами?

Меня прямо-таки в жар бросило от этого вопроса.

— Безумец, совершивший это злодеяние, — сказал я, — бесноватый маньяк, сбежавший из ближайшего сумасшедшего дома.

— Что ж, не так плохо, — одобрительно заметил Дюпен, — в вашем предположении кое-что есть. И все же выкрики сумасшедшего, даже в припадке неукротимого буйства, не отвечают описанию того своеобразного голоса, который слышали поднимавшиеся по лестнице. У сумасшедшего есть все же национальность, есть родной язык, а речи его, хоть и темны по смыслу, звучат членораздельно. К тому же и волосы сумасшедшего не

похожи на эти у меня в руке. Я едва вытащил их из судорожно сжатых пальцев мадам Л'Эспанэ. Что вы о них скажете?

— Дюпен, — воскликнул я, вконец обескураженный, — это более чем странные волосы — они не принадлежат человеку!

— Я этого и не утверждаю, — возразил Дюпен. — Но прежде чем прийти к какому-нибудь выводу, взгляните на рисунок на этом листке. Я точно воспроизвел здесь то, что частью показаний определяется как «темные кровоподтеки и следы ногтей» на шее у мадемуазель Л'Эспанэ, а в заключении господ Дюма и Этьенна фигурирует как «ряд сине-багровых пятен — по-видимому, отпечатки пальцев».

— Рисунок, как вы можете судить, — продолжал мой друг, кладя перед собой на стол листок бумаги, — дает представление о крепкой и цепкой хватке. Эти пальцы держали намертво. Каждый из них сохранял, очевидно, до последнего дыхания жертвы ту чудовищную силу, с какой он впился в живое тело. А теперь попробуйте одновременно вложить пальцы обеих рук в изображенные здесь отпечатки.

Тщетные попытки! Мои пальцы не совпадали с отпечатками.

— Нет, постойте, сделаем уж все как следует, — остановил меня Дюпен. — Листок лежит на плоской поверхности, а человеческая шея округлой формы. Вот поленце примерно такого же радиуса, как шея. Наложите на него рисунок и попробуйте еще раз.

Я повиновался, но стало не легче, а труднее.

— Похоже, — сказал я наконец, — что это отпечаток не человеческой руки.

— А теперь, — сказал Дюпен, — прочтите этот абзац из Кювье.

То было подробное анатомическое и общее описание исполинского бурого орангутанга, который водится на Ост-Индских островах. Огромный рост, неимоверная сила и ловкость, неукротимая злоба и необычайная способность к подражанию у этих млекопитающих общеизвестны.

— Описание пальцев, — сказал я, закончив чтение, — в точности совпадает с тем, что мы видим на вашем рисунке. Теперь я понимаю, что только описанный здесь орангутанг мог оставить эти отпечатки. Шерстинки ржаво-бурого цвета подтверждают сходство. Однако как объяснить все обстоятельства катастрофы? Ведь свидетели слышали два голоса, и один из них бесспорно принадлежал французу.

— Совершенно справедливо! И вам, конечно, запомнилось восклицание, которое чуть ли не все приписывают французу: «mon Dieu!» Восклицание это, применительно к данному случаю, было удачно истолковано одним из свидетелей (Монтани, владельцем магазина) как выражение протеста или недовольства. На этих двух словах и основаны мои надежды полностью решить эту загадку. Какой-то француз был очевидцем убийства. Возможно, и даже вероятно, что он не причастен к зверской расправе. Обезьяна, должно быть, сбежала от него. Француз, должно быть, выследил ее до места преступления.

Поймать ее при всем том, что здесь разыгралось, он, конечно, был бессилен. Обезьяна и сейчас на свободе. Не стану распространяться о своих догадках, ибо это всего лишь догадки, и те зыбкие соображения, на которых они основаны, столь легковесны, что недостаточно убеждают даже меня и тем более не убедят других. Итак, назовем это догадками и будем соответственно их расценивать. Но если наш француз, как я предполагаю, не причастен к убийству, то объявление, которое я по дороге сдал в редакцию «Монд» — газеты, представляющей интересы нашего судоходства и очень популярной среди

моряков, — это объявление наверняка приведет его сюда.

Дюпен вручил мне газетный лист. Я прочел:

«ПОЙМАН в Булонском лесу — ранним утром — такого-то числа сего месяца (в утро, когда произошло убийство) огромных размеров бурый орангутанг, разновидности, встречающейся на острове Борнео. Будет возвращен владельцу (по слухам, матросу мальтийского судна) при условии удостоверения им своих прав и возмещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по адресу: дом №… на улице… в Сен-Жерменском предместье; справиться на пятом этаже».

— Как же вы узнали, — спросил я, — что человек этот матрос с мальтийского корабля?

— Я этого не знаю, — возразил Дюпен. — И далеко не уверен в этом. Но вот обрывок ленты, посмотрите, как она засалена, да и с виду напоминает те, какими матросы завязывают волосы, — вы знаете эти излюбленные моряками queues[48]. К тому же таким узлом мог завязать ее только моряк, скорее всего мальтиец. Я нашел

---

[48] Сноски: 48
Здесь: косицы, буквально: хвосты *(фр.)*.

эту ленту под громоотводом. Вряд ли она принадлежала одной из убитых женщин. Но даже если я ошибаюсь и хозяин ленты не мальтийский моряк, то нет большой беды в том, что я сослался на это в своем объявлении. Если я ошибся, матрос подумает, что кто-то ввел меня в заблуждение, и особенно задумываться тут не станет. Если же я прав — это козырь в моих руках. Как очевидец, хоть и не соучастник убийства, француз, конечно, не раз подумает, прежде чем пойдет по объявлению. Вот как он станет рассуждать: «Я не виновен; к тому же человек я бедный; орангутанг и вообще-то в большой цене, а для меня это целое состояние, зачем же терять его из-за пустой мнительности. Вот он рядом, только руку протянуть. Его нашли в Булонском лесу, далеко от места, где произошло убийство. Никому и в голову не придет, что такие страсти мог натворить дикий зверь. Полиции ввек не догадаться, как это случилось. Но хотя бы обезьяну и выследили — попробуй докажи, что я что-то знаю; а хоть бы и знал, я не виноват. Главное, кому-то я уже известен. В объявлении меня так и называют — владельцем этой твари. Кто знает, что этому человеку еще про меня порассказали. Если я не приду за моей собственностью, а ведь она больших денег стоит,

да известно, что хозяин — я, на обезьяну падет подозрение. А мне ни к чему навлекать подозрение что на себя, что на эту бестию. Лучше уж явлюсь по объявлению, заберу орангутанга и спрячу, пока все не порастет травой».

На лестнице послышались шаги.

— Держите пистолеты наготове, — предупредил меня Дюпен, — только не показывайте и не стреляйте — ждите сигнала.

Парадное внизу было открыто; посетитель вошел, не позвонив, и стал подниматься по ступенькам. Однако он, должно быть, колебался, с минуту постоял на месте и начал спускаться вниз. Дюпен бросился к двери, но тут мы услышали, что незнакомец опять поднимается. Больше он не делал попыток повернуть. Мы слышали, как он решительно топает по лестнице, затем в дверь постучали.

— Войдите! — весело и приветливо отозвался Дюпен.

Вошел мужчина, судя по всему матрос, — высокий, плотный, мускулистый, с таким видом, словно сам черт ему не брат, а в общем, приятный малый. Лихие бачки и mustachio[49] больше чем

---

[49] Сноски: 49
Усы *(ит.).*

наполовину скрывали его загорелое лицо. Он держал в руке увесистую дубинку, по-видимому, единственное свое оружие. Матрос неловко поклонился и пожелал нам доброго вечера; говорил он по-французски чисто, разве что с легким невшательским акцентом; но по всему было видно, что это коренной парижанин.

— Садитесь, приятель, — приветствовал его Дюпен. — Вы, конечно, за орангутангом? По правде говоря, вам позавидуешь: великолепный экземпляр, и, должно быть, ценный. Сколько ему лет, как вы считаете?

Матрос вздохнул с облегчением. Видно, у него гора свалилась с плеч.

— Вот уж не знаю, — ответил он развязным тоном. — Годика четыре-пять — не больше. Он здесь, в доме?

— Где там, у нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозчичий двор на улице Дюбур, совсем рядом. Приходите за ним завтра. Вам, конечно, нетрудно будет удостоверить свои права?

— За этим дело не станет, мосье!

— Прямо жалко расстаться с ним, — продолжал Дюпен.

— Не думайте, мосье, что вы хлопотали зада-

ром, — заверил его матрос. — У меня тоже совесть есть. Я охотно уплачу вам за труды, по силе возможности, конечно. Столкуемся!

— Что ж, — сказал мой друг, — очень порядочно с вашей стороны. Дайте-ка я соображу, сколько с вас взять. А впрочем, не нужно мне денег; расскажите нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морг.

Последнее он сказал негромко, но очень спокойно. Так же спокойно подошел к двери, запер ее и положил ключ в карман; потом достал из бокового кармана пистолет и без шума и волнения положил на стол.

Лицо матроса побагровело, казалось, он борется с удушьем. Инстинктивно он вскочил и схватился за дубинку, но тут же рухнул на стул, дрожа всем телом, смертельно бледный. Он не произнес ни слова. Мне было от души его жаль.

— Зря пугаетесь, приятель, — успокоил его Дюпен. — Мы ничего плохого вам не сделаем, поверьте. Даю вам слово француза и порядочного человека: у нас самые добрые намерения. Мне хорошо известно, что вы не виновны в этих ужасах на улице Морг. Но не станете же вы утверждать, будто вы здесь совершенно ни при чем. Как видите, многое мне уже известно, при этом

из источника, о котором вы не подозреваете. В общем, положение мне ясно. Вы не сделали ничего такого, в чем могли бы себя упрекнуть или за что вас можно было бы привлечь к ответу. Вы даже не польстились на чужие деньги, хоть это могло сойти вам с рук. Вам нечего скрывать, и у вас нет оснований скрываться. Однако совесть обязывает вас рассказать все, что вы знаете по этому делу. Арестован невинный человек; над ним тяготеет подозрение в убийстве, истинный виновник которого вам известен.

Слова Дюпена возымели действие: матрос овладел собой, но куда девалась его развязность!

— Будь что будет, — сказал он, помолчав. — Расскажу вам все, что знаю. И да поможет мне Бог! Вы, конечно, не поверите — я был бы дураком, если б надеялся, что вы мне поверите. Но все равно моей вины тут нет! И пусть меня казнят, а я расскажу вам все как на духу.

Рассказ его, в общем, свелся к следующему. Недавно пришлось ему побывать на островах Индонезийского архипелага. С компанией моряков он высадился на Борнео и отправился на прогулку в глубь острова. Им с товарищем удалось поймать орангутанга. Компаньон вскоре умер, и единственным владельцем обезьяны

оказался матрос. Чего только не натерпелся он на обратном пути из-за свирепого нрава обезьяны, пока не доставил ее домой в Париж и не посадил под замок, опасаясь назойливого любопытства соседей, а также в ожидании, чтобы у орангутанга зажила нога, которую он занозил на пароходе. Матрос рассчитывал выгодно его продать.

Вернувшись недавно домой с веселой пирушки, — это было в ту ночь, вернее, в то утро, когда произошло убийство, — он застал орангутанга у себя в спальне. Оказалось, что пленник сломал перегородку в смежном чулане, куда его засадили для верности, чтобы не убежал. Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна сидела перед зеркалом и собиралась бриться в подражание хозяину, за которым не раз наблюдала в замочную скважину. Увидев опасное оружие в руках у свирепого хищника и зная, что тот сумеет им распорядиться, матрос в первую минуту растерялся. Однако он привык справляться со своим узником и с помощью бича укрощал даже самые буйные вспышки его ярости. Сейчас он тоже схватился за бич. Заметив это, орангутанг кинулся к двери и вниз по лестнице, где было, по несчастью, открыто окно, — а там на улицу.

Француз в ужасе побежал за ним. Обезьяна, не бросая бритвы, то и дело останавливалась, корчила рожи своему преследователю и, подпустив совсем близко, снова от него убегала. Долго гнался он за ней. Было около трех часов утра, на улицах стояла мертвая тишина. В переулке позади улицы Морг внимание беглянки привлек свет, мерцавший в окне спальни мадам Л'Эспанэ, на пятом этаже ее дома. Подбежав ближе и увидев громоотвод, обезьяна с непостижимой быстротой вскарабкалась наверх, схватилась за открытый настежь ставень и с его помощью перемахнула на спинку кровати. Весь этот акробатический номер не потребовал и минуты. Оказавшись в комнате, обезьяна опять пинком распахнула ставень.

Матрос не знал, радоваться или горевать. Он вознадеялся вернуть беглянку, угодившую в ловушку, бежать она могла только по громоотводу, а тут ему легко было ее поймать. Но как бы она чего не натворила в доме! Последнее соображение перевесило и заставило его последовать за своей питомицей. Вскарабкаться по громоотводу не представляет труда, особенно для матроса, но поравнявшись с окном, которое приходилось слева, в отдалении, он вынужден был остановиться. Единственное, что он мог сделать, это, дотянув-

шись до ставня, заглянуть в окно. От ужаса он чуть не свалился вниз. В эту минуту и раздались душераздирающие крики, всполошившие обитателей улицы Морг.

Мадам Л'Эспанэ и ее дочь, обе в ночных одеяниях, очевидно, разбирали бумаги в упомянутой железной укладке, выдвинутой на середину комнаты. Сундучок был раскрыт, его содержимое лежало на полу рядом. Обе женщины, должно быть, сидели спиной к окну и не сразу увидели ночного гостя. Судя по тому, что между его появлением и их криками прошло некоторое время, они, очевидно, решили, что ставнем хлопнул ветер.

Когда матрос заглянул в комнату, огромный орангутанг держал мадам Л'Эспанэ за волосы, распущенные по плечам (она расчесывала их на ночь), и, в подражание парикмахеру, поигрывал бритвой перед самым ее носом. Дочь лежала на полу без движения, в глубоком обмороке. Крики и сопротивление старухи, стоившие ей вырванных волос, изменили, быть может, и мирные поначалу намерения орангутанга, разбудив в нем ярость. Сильным взмахом мускулистой руки он чуть не снес ей голову. При виде крови гнев зверя перешел в неистовство. Глаза его пылали, как

раскаленные угли. Скрежеща зубами, набросился он на девушку, вцепился ей страшными когтями в горло и душил, пока та не испустила дух. Озираясь в бешенстве, обезьяна увидела маячившее в глубине над изголовьем кровати помертвелое от ужаса лицо хозяина. Остервенение зверя, видимо не забывшего о грозном хлысте, мгновенно сменилось страхом. Чувствуя себя виноватым и боясь наказания, орангутанг, верно, решил скрыть свои кровавые проделки и панически заметался по комнате, ломая и опрокидывая мебель, сбрасывая с кровати подушки и одеяла. Наконец он схватил труп девушки и затолкал его в дымоход камина, где его потом обнаружили, а труп старухи не долго думая швырнул за окно.

Когда обезьяна со своей истерзанной ношей показалась в окне, матрос так и обмер и не столько спустился, сколько съехал вниз по громоотводу и бросился бежать домой, страшась последствий кровавой бойни и отложив до лучших времен попечение о дальнейшей судьбе своей питомицы. Испуганные восклицания потрясенного француза и злобное бормотание разъяренной твари и были теми голосами, которые слышали поднимавшиеся по лестнице люди.

Вот, пожалуй, и все. Еще до того, как взломали

дверь, орангутанг, по-видимому, бежал из старухиной спальни по громоотводу. Должно быть, он и опустил за собой окно.

Спустя некоторое время сам хозяин поймал его и за большие деньги продал в Jardin des Plantes[50]. Лебона сразу же освободили, как только мы с Дюпеном явились к префекту и обо всем ему рассказали (Дюпен не удержался и от кое-каких комментариев). При всей благосклонности к моему другу, сей чинуша не скрыл своего разочарования по случаю такого конфуза и даже отпустил в наш адрес две-три шпильки насчет того, что не худо бы каждому заниматься своим делом.

[50] Сноски: 50
Ботанический сад *(фр.).*

— Пусть ворчит, — сказал мне потом Дюпен, не удостоивший префекта ответом. — Пусть утешается. Надо же человеку душу отвести. С меня довольно того, что я побил противника на его территории. Впрочем, напрасно наш префект удивляется, что загадка ему не далась. По правде сказать, он слишком хитер, чтобы смотреть в корень. Вся его наука — сплошное верхоглядство. У нее одна лишь голова, без тела, как изображают богиню Лаверну, или в лучшем случае — голова и плечи, как у трески. Но что ни говори, он добрый малый; в особенности восхищает меня та ловкость, которая стяжала ему репутацию великого умника. Я говорю о его манере «de nier ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas»[51].

1841

[51] Сноски: 51

Отрицать то, что есть, и распространяться о том, чего не существует *(фр.)*.

Золотой жук[52]

Глядите! Хо! Он пляшет, как безумный.

Тарантул укусил его…

Все не правы

Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с неким Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избегнуть унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Салливановом острове, поблизости от Чарлстона в Южной Каролине.

Это очень странный остров. Он тянется в длину мили на три и состоит почти что из одного морского песка. Ширина его нигде не превышает четверти мили. От материка он отделен едва заметным проливом, вода в котором с трудом пробивает себе путь сквозь тину и густой камыш — убежище болотных курочек. Деревьев

---

[52] Сноски: 52

© Перевод. А. Старцев, наследники, 2002

на острове мало, и растут они плохо. Настоящего дерева не встретишь совсем. На западной оконечности острова, где возвышается форт Моултри и стоит несколько жалких строений, заселенных в летние месяцы городскими жителями, спасающимися от лихорадки и чарлстонской пыли, — можно увидеть колючую карликовую пальму.

Зато весь остров, если не считать этого мыса на западе и белой, твердой как камень, песчаной каймы на взморье, покрыт частой зарослью душистого мирта, столь высоко ценимого английскими садоводами. Кусты его достигают нередко пятнадцати — двадцати футов и образуют сплошную чащу, наполняющую воздух тяжким благоуханием и почти непроходимую для человека.

В сокровенных глубинах миртовой чащи, ближе к восточной, удаленной от материка оконечности острова, Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я, по воле случая, с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Многое в характере отшельника внушало интерес и уважение. Я увидел, что он отлично образован и наделен недюжинными способностями, но вместе с тем заражен мизантропией и

страдает от болезненного состояния ума, впадая попеременно то в восторженность, то в угрюмость. У Леграна было немало книг, но он редко к ним обращался. Он предпочитал охотиться и ловить рыбу или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. Его коллекции насекомых позавидовал бы Сваммердам. В этих странствиях Леграна обычно сопровождал старый негр Юпитер. Он был отпущен на волю еще до разорения семьи; однако ни угрозами, ни посулами Юпитера нельзя было убедить, что он лишился неотъемлемого, как он полагал, права следовать повсюду за своим «масса Виллом». Возможно, впрочем, что родные Леграна, обеспокоенные его психической неуравновешенностью, поддерживали это упорство в Юпитере, чтобы не оставить беглеца без всякого попечения.

Зимы на широте Салливанова острова редко бывают очень суровыми, и в осеннее время почти никогда не приходится разводить огонь в помещении. В средних числах октября 18… года выдался, однако, необычайно холодный день. Перед самым заходом солнца я пробрался сквозь вечнозеленые заросли к хижине моего друга, которого не видел уже несколько недель. Я жил в

Чарлстоне, в девяти милях от острова, и удобства сообщения в те дни далеко отставали от нынешних. Добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в тайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивавшим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев.

Они пришли вскоре после наступления темноты и сердечно меня приветствовали. Юпитер, улыбаясь до ушей, стал хлопотать по хозяйству, приготовляя на ужин болотных курочек. У Леграна был очередной приступ восторженности — не знаю, как точнее именовать его состояние. Он нашел двустворчатую раковину, какой не встречал ранее, и, что еще более радовало его, выследил и с помощью Юпитера поймал жука, неизвестного, по его словам, доселе науке. Он сказал, что завтра хочет услышать мое суждение об этом жуке.

— А почему не сегодня? — спросил я, потирая руки у огня и мысленно посылая к чертям всех жуков на свете.

— Если бы я знал, что вы здесь! — воскликнул Легран. — Но ведь мы так давно не виделись. Как я мог угадать, что именно сегодня вечером вы к

нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли домой, то повстречали лейтенанта Дж. из форта, и я по какой-то глупости отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. Переночуйте, и мы пошлем за ним Юпа, как только взойдет солнце. Это просто восторг.

— Что? Восход солнца?

— К черту солнце! Я — о жуке! Он ослепительно золотой, величиной с крупный лесной орех, и на спине у него три пятнышка, черных как смоль. Два круглых повыше и одно продолговатое книзу. А усики и голову…

— Где же там олово, масса Вилл, послушайте-ка меня, — вмешался Юпитер, — жук весь золотой, чистое золото, внутри и снаружи; только вот пятна на спинке. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел.

— Допустим, что все это так, и жук из чистого золота, — сказал Легран, как мне показалось, более серьезным тоном, чем того требовали обстоятельства, — но почему же, Юп, мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? Действительно, жук таков, — продолжал он, обращаясь ко мне, — что я почти готов согласиться с Юпитером. Надкрылья излучают яркий металлический блеск — в этом вы сами сможете завтра же убе-

диться. Пока что я покажу вам, каков он на вид.

Легран сел за столик, где было перо и чернильница. Бумаги не оказалось. Он поискал в ящике, но и там ничего не нашел.

— Не беда, — промолвил он наконец, — обойдусь этим. — Он вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он был этим занят, я продолжал греться; озноб мой еще не прошел. Легран закончил рисунок и протянул его мне, не поднимаясь со стула. В эту минуту послышался громкий лай и царапанье у входной двери. Юпитер распахнул ее, и огромный ньюфаундленд Леграна ворвался в комнату и бурно меня приветствовал, положив свои лапы мне прямо на плечи; я подружился с ним еще в прежние посещения. Когда пес утих, я взглянул на бумагу, которую все это время держал в руке, и, по правде сказать, был немало озадачен рисунком моего друга.

— Что же, — сказал я, наглядевшись на него вдосталь, — это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка, никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах. Да что там

походит!.. Форменный череп!

— Череп? — отозвался Легран. — Пожалуй, что так, в особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. Два черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли? А нижнее удлиненное пятнышко можно счесть за оскал черепа.

— Может быть, что и так, Легран, — сказал я ему, — но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами.

— Как вам угодно, — отозвался он с некоторой досадой, — но, по-моему, я рисую недурно, по крайней мере я привык так считать. У меня были отличные учителя, и позволю себе заметить, чему-то я должен был у них научиться.

— В таком случае вы дурачите меня, милый друг, — сказал я ему. — Вы нарисовали довольно порядочный *череп*, готов допустить даже, хотя я и полный профан в остеологии, что вы нарисовали *замечательный череп*, и если ваш жук на самом деле похож на него, это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью должен вызывать суеверное чувство. Я не сомневаюсь, что вы назовете его Scarabaeus caput hominis[53]

---

[53] Сноски: 53
Жук; здесь: человеческая голова *(лат.).*

или как-нибудь еще в этом роде; естественная история полна подобных наименований. Хорошо, а где же у него усики?

— Усики? — повторил Легран, которого наш спор почему-то привел в дурное расположение духа. — Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете.

— Не стоит волноваться, — сказал я, — может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу. — И я отдал ему рисунок без дальнейших замечаний, не желая сердить его. Я был удивлен странным оборотом, который приняла эта история. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук как две капли воды *походил на череп.*

Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал белее мела. Некоторое время он разглядывал свой рисунок, словно изучая его. Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова уставился на бумагу, поворачивая ее то так, то эдак, однако хранил молчание. Хотя его поведе-

ние было довольно странным, я счел за лучшее тоже молчать; как видно, он погружался в свое угрюмое настроение. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Он как будто очнулся, но прежнее оживление уже не вернулось к нему. Он не был мрачен, но его мысли где-то блуждали. Рассеянность Леграна все возрастала, и мои попытки развлечь его не имели успеха. Я думал сперва заночевать в гостях, как бывало уже не раз, но, считаясь с настроением хозяина, решил вернуться домой. Легран меня не удерживал; однако, прощаясь, пожал мне руку сердечнее обыкновенного.

По прошествии месяца, в течение которого я не имел ни малейших сведений о Легране, меня посетил в Чарлстоне Юпитер. Я никогда не видел старого добряка-негра таким удрученным, и меня охватила тревога: уж не случилось ли чего с моим другом?

— Ну, Юп, — сказал я, — что там у вас? Как поживает твой господин?

— По чести говоря, масса, он нездоров.

— Нездоров? Ты пугаешь меня! На что он жалуется?

— В том-то и штука! Ни на что он не жалуется.

Но он очень болен.

– *Очень* болен, Юпитер? Что же ты сразу мне не сказал? Лежит в постели?

— Где там лежит! Его и с собаками не догонишь! В том-то и горе! Ох, болит у меня душа! Бедный мой масса Вилл!..

— Юпитер, я хочу все-таки знать, в чем у вас дело. Ты сказал, что хозяин твой болен. Не говорил он тебе, что у него болит?

— Вы не серчайте, масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот спрошу вас, почему масса Вилл ходит весь день, уставившись в землю, а сам белый, как гусь? И почему он все время считает?

— Что он делает?

— Считает да цифры пишет, таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю. А вчера проворонил, он убежал, солнце еще не вставало, и пропадал до ночи. Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет, да пожалел, старый дурак, уж очень он грустный вернулся…

— Как? Что? Отлупить его?.. Нет, Юпитер, не будь слишком суров с беднягой, не бей его, он этого не перенесет. Скажи лучше вот что: как ты считаешь, что послужило причиной болезни твоего господина или, вернее, этого странного по-

ведения? Не приключилось ли с ним что дурное после того, как я приходил к вам?

– *После* того, как вы приходили, масса, ничего такого не приключилось. А вот до того приключилось. В тот самый день приключилось.

— Что? О чем ты толкуешь?

— Известно, масса, о чем! О жуке!

— О чем?

— О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил масса Вилла в голову.

— Золотой жук укусил его? Эка напасть!

— Вот-вот, масса, очень большая пасть, и когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука, бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Масса Вилл схватил его, да и выронил, тут же выронил, вот тогда жук, наверно, и укусил его. А мне морда этого жука не понравилась, и я сразу решил — голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги, да в бумагу и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул, вот что я сделал!

— Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук и это причина его болезни?

— Ничего я не думаю — точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве ему снилось

бы золото? Я много кое-чего слыхал про таких золотых жуков.

— А откуда ты знаешь, что ему снится золото?

— Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю.

— Хорошо, Юп, может быть, ты и прав. Ну а каким же счастливым обстоятельствам я обязан чести твоего сегодняшнего визита?

— О чем это вы толкуете, масса?

— Ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна?

— Нет, масса. Но он приказал передать вам вот это.

И Юпитер вручил мне записку следующего содержания:

> «Дорогой N!
>
> Почему Вы совсем перестали бывать у нас? Неужели Вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную мою brusquerie[54]? Нет, это, конечно, не так.
>
> За время, что мы не виделись с Вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать Вам о ней, но не знаю, как браться за это,

---

[54] Сноски: 54
Резкость *(фр.)*.

да и рассказывать ли вообще.

Последние дни я был не совсем здоров, и старина Юп вконец извел меня своим непрошеным попечением. Вчера, представьте, он приготовил огромнейшую дубину, чтобы побить меня за то, что я ускользнул от него и прогулял весь день solus[55] в горах на материке. Кажется, только нездоровье спасло меня от неожиданной взбучки.

Со времени нашей встречи ничего нового в моей коллекции не прибавилось.

Если у Вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером. *Очень* прошу Вас. Мне нужно увидеться с Вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело *великой важности*. Ваш, как всегда,

Вильям Легран».

Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так не похож на Леграна. Что взбрело ему в голову? Какая новая блажь завладела его необузданным воображением? Что

---

[55] Сноски: 55
Один *(лат.).*

за «дело великой важности» могло быть *у него*, у Леграна? Рассказ Юпитера не предвещал ничего доброго. Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его несчастье надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать вместе с негром.

Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопаты, как видно, совсем новые.

— Это что, Юп? — спросил я.

— Коса и еще две лопаты, масса.

— Ты совершенно прав. Но откуда они взялись?

— Масса Вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову уйму денег.

— Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему «масса Виллу» коса и лопаты?

— Зачем — я не знаю, и черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке!

Видя, что от Юпитера толку сейчас не добьешься и что все его мыслительные способности парализованы этим жуком, я вскочил в лодку и поднял парус. Сильный попутный ветер быстро пригнал нас в опоясанную скалами бухточку к северу от форта Моултри, откуда нам оставалось до хижины около двух миль. Мы пришли в три

часа пополудни. Легран ожидал нас с видимым нетерпением. Здороваясь, он крепко стиснул мне руку, и эта нервическая горячность вновь пробудила и усилила мои недавние опасения. В лице Леграна сквозила какая-то мертвенная бледность, запавшие глаза сверкали лихорадочным блеском. Осведомившись о его самочувствии и не зная, о чем еще говорить, я спросил, получил ли он от лейтенанта Дж. своего золотого жука.

— О да! — ответил он, заливаясь ярким румянцем. — На другое же утро! Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав?

— В чем Юпитер был прав? — спросил я, и меня охватило горестное предчувствие.

— Жук — *из чистого золота!*

Он произнес эти слова с полной серьезностью. Я был глубоко потрясен.

— Этот жук принесет мне счастье, — продолжал Легран, торжествующе усмехаясь, — он вернет мне утраченное родовое богатство. Что ж удивительного, что я его так ценю? Он ниспослан самой судьбой и вернет мне богатство, если только я правильно пойму его указания. Юпитер, пойди принеси жука!

— Что? Жука, масса? Не буду я связываться с

этим жуком. Несите его сами.

Легран поднялся с важным видом и вынул жука из застекленного ящика, где он хранил его.

Жук был действительно великолепен. В научной ценности находки Леграна не могло быть сомнений — натуралисты в то время еще не знали таких жуков. На спинке виднелись с одной стороны два черных округлых пятнышка, и ниже с другой еще одно, подлиннее. Надкрылья были удивительно твердыми и блестели действительно как полированное золото. Тяжесть жука была тоже весьма необычной. Учитывая все это, можно было не так уж строго судить Юпитера. Но как мог Легран разделять суждение Юпитера, оставалось для меня неразрешимой загадкой.

— Я послал за вами, — начал Легран торжественным тоном, когда я кончил осмотр, — я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли Судьбы и жука…

— Дорогой Легран, — воскликнул я, прерывая его, — вы совсем больны, вам надо лечиться. Ложитесь сейчас же в постель, и я побуду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче. Вас лихорадит.

— Пощупайте мне пульс, — сказал он.

Я пощупал ему пульс и вынужден был при-

знать, что никакой лихорадки у него не было.

— Бывают болезни и без лихорадки. Послушайтесь на этот раз моего совета. Прежде всего в постель. А затем…

— Вы заблуждаетесь, — прервал он меня. — Я совершенно здоров, но меня терзает волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться.

— А как это сделать?

— Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы, и нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас там успех или же неудача, все равно это волнение во мне сразу утихнет.

— Я буду счастлив, если смогу быть полезным, — ответил я, — но, скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?

— Да!

— Если так, Легран, я отказываюсь принимать участие в вашей нелепой затее.

— Жаль! Очень жаль! Нам придется идти одним.

Идти одним! Он действительно сумасшедший!

— Погодите! Сколько времени вы намереваe-

тесь пробыть там?

— Должно быть, всю ночь. Мы выйдем сию же минуту и к восходу солнца вернемся домой, что бы там ни было.

— А вы поклянетесь честью, что, когда ваша прихоть будет исполнена и вся эта затея с жуком (Боже правый!) благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?

— Да. Обещаю. Скорее в путь! Время не ждет!

С тяжелым сердцем решился я сопровождать моего друга. Было около четырех часов дня, когда мы пустились в путь — Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер нес косу и лопаты; он настоял на этом не от избытка любезности или же прилежания, но, как я полагаю, из страха доверить эти орудия своему господину. Вид у него был преупрямый. «Чертов жук!» — вот единственное, что я услышал от него за все путешествие. Мне поручили два потайных фонаря. Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу, как заклинатель. Когда я заметил это новое явное доказательство безумия моего друга, я с трудом удержался от слез. Тем не менее я пока решил ни в чем не перечить Леграну и ждать случая, когда я смогу предпринять какие-либо

энергичные меры. Я попытался несколько раз завязать беседу о целях похода, но безуспешно. Уговорив меня идти вместе с ним и довольный этим, Легран, видимо, не хотел больше вести никаких разговоров, и на все мои расспросы отвечал односложно: «Увидим!»

Дойдя до мыса, мы сели в ялик и переправились на материк. Потом взобрались по высокому берегу и, взяв направление на северо-запад, углубились в дикий, пустынный край, где, казалось, никогда не ступала нога человека. Легран уверенно вел нас вперед, лишь изредка останавливаясь и сверяясь с ориентирами, которые, видимо, заприметил, посещая эти места до того.

Так мы шли часа два, и на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это был род плато, раскинувшегося у подножия почти неприступного склона и поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз в долину лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость.

Плоскогорье, по которому мы поднимались,

сплошь поросло ежевикой. Вскоре стало ясно, что без косы нам сквозь заросли не пробраться. По приказу Леграна Юпитер стал выкашивать для нас тропинку к тюльпановому дереву необыкновенной высоты, которое стояло, окруженное десятком дубов, и далеко превосходило и эти дубы, и вообще все деревья, какие мне приходилось когда-либо видеть, раскидистой кроной, величавой красотой листвы и царственностью общих очертаний. Когда мы пришли наконец к цели, Легран обернулся к Юпитеру и спросил, сможет ли он взобраться на это дерево. Старик был сперва озадачен вопросом и ничего не ответил. Потом, подойдя к лесному гиганту, он обошел ствол кругом, внимательно вглядываясь. Когда осмотр был закончен, Юпитер сказал просто:

— Да, масса! Еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться.

— Тогда не мешкай и лезь, потому что скоро станет темно и мы ничего не успеем сделать.

— Высоко залезть, масса? — спросил Юпитер.

— Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикну… Эй, погоди. Возьми и жука!

— Жука, масса Вилл? Золотого жука? — закричал негр, отшатываясь в испуге. — Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если его возьму.

— Слушай, Юпитер, если ты, здоровенный рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке, но если ты вовсе откажешься взять жука, мне придется, как это ни грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой.

— Совсем ни к чему шуметь, масса, — сказал Юпитер, как видно, пристыженный и ставший более сговорчивым. — Всегда вы браните старого негра. А я пошутил, и только! Что я, *боюсь* жука??? Подумаешь, жук!

И, осторожно взявшись за самый конец шнура, чтобы быть от жука подальше, он приготовился лезть на дерево.

Тюльпановое дерево, или Liriodendron Tulipiferum, — великолепнейшее из деревьев, произрастающих в американских лесах. В юном возрасте оно отличается необыкновенно гладким стволом и выгоняет ветви лишь на большой высоте. Однако, по мере того как оно стареет, кора на стволе становится неровной и узловатой, а вместе с тем появляются короткие сучья. Так что задача, стоявшая перед Юпитером, казалась невыполнимой только на первый взгляд. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая пальцами босых ног неровности коры

для упора и раза два счастливо избежав падения, Юпитер добрался до первой развилины ствола и, видимо, считал свою миссию выполненной. Главная опасность действительно была позади, но Юпитер находился на высоте шестьдесят или семьдесят футов.

— Куда мне лезть дальше, масса Вилл? — спросил он.

— По толстому суку вверх, вон с той стороны, — ответил Легран.

Негр тотчас повиновался, лезть было, должно быть, нетрудно. Он подымался все выше, и скоро его коренастая фигура исчезла из виду, потерявшись в густой листве. Потом послышался голос как будто издалека:

— Сколько еще лезть?

— Где ты сейчас? — спросил Легран.

— Высоко, высоко! — ответил негр. — Вижу верхушку дерева, а дальше — небо.

— Поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я тебе скажу. Посмотри теперь вниз и сочти, сколько всего ветвей на суку, на который ты влез. Сколько ветвей ты миновал?

— Одна, две, три, четыре, пять. Подо мной пять ветвей, масса.

— Поднимись еще на одну.

Вскоре Юпитер заверил нас, что он добрался до седьмой ветви.

— А теперь, Юп, — закричал Легран, вне себя от волнения, — ты полезешь по этой ветви, пока она будет тебя держать! А найдешь что-нибудь, крикни.

Если у меня еще оставались какие-либо сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их не стало. Увы, он был сумасшедший! Следовало подумать о том, как доставить его домой. Пока я терялся в мыслях, опять послышался голос Юпитера:

— По этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти вся сухая.

— Ты говоришь, что она *сухая*, Юпитер? — закричал Легран прерывающимся голосом.

— Да, масса, мертвая, готова для того света.

— Боже мой, что же делать? — воскликнул Легран, как видно в отчаянии.

— Что делать? — откликнулся я, обрадованный, что наступил мой черед сказать свое слово. — Вернуться домой и сразу в постель. Будьте умницей, уже поздно, и к тому же вы мне обещали.

— Юпитер! — закричал он, не обращая на мои слова никакого внимания. — Ты слышишь меня?

— Слышу, масса Вилл, как не слышать!

— Возьми нож. Постругай эту ветвь. Может быть, она не *очень* гнилая.

— Она, конечно, гнилая, — ответил негр немного спустя, — да не такая гнилая. Пожалуй, я немного продвинусь вперед. Но только один.

— Что это значит? Разве ты и так не один?

— Я про жука. Жук очень, очень тяжелый. Если я брошу его вниз, я думаю, одного старого негра этот сук выдержит.

— Старый плут! — закричал Легран с видимым облегчением. — Не городи вздора! Если ты бросишь жука, я сверну тебе шею. Эй, Юпитер, ты слышишь меня?

— Как не слышать, масса? Нехорошо так ругать бедного негра.

— Так вот, послушай! Если ты проберешься еще немного вперед, осторожно, конечно, чтобы не грохнуться вниз, и если ты будешь держать жука, я подарю тебе серебряный доллар, сразу, как только ты спустишься.

— Хорошо, масса Вилл, лезу, — очень быстро ответил Юпитер, — а вот уже и конец.

— Конец ветви? — вскричал Легран. — Ты правду мне говоришь, ты на конце ветви?

— Не совсем на конце, масса… Ой-ой-ой! Господи Боже мой! Что это здесь на дереве?

— Ну? — крикнул Легран, очень довольный. — Что ты там видишь?

— Да ничего, просто череп. Кто-то забыл свою голову здесь на дереве, и вороны склевали все мясо.

— Ты говоришь — череп?! Отлично! А как он там держится? Почему он не падает?

— А верно ведь, масса! Сейчас погляжу. Что за притча такая! Большой длинный гвоздь. Череп прибит гвоздем.

— Теперь, Юпитер, делай в точности, что я скажу. Слышишь меня?

— Слышу, масса.

— Слушай меня внимательно! Найди левый глаз у черепа.

— Угу! Да! А где же у черепа левый глаз, если он вовсе безглазый?

— Ох, какой ты болван, Юпитер! Знаешь ты, где у тебя правая рука и где левая?

— Знаю, как же не знать, левой рукой я колю дрова.

— Правильно. Ты левша. Так вот, левый глаз у тебя с той стороны, что и рука. Ну, сумеешь теперь отыскать левый глаз у черепа, то место, где был левый глаз?

Юпитер долго молчал, потом он сказал:

— Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука у черепа? Но у черепа нет левой руки… Что ж, на нет и суда нет! Вот я нашел левый глаз. Что мне с ним делать?

— Пропусти сквозь него жука и спусти его вниз, сколько хватит шнура. Только не урони.

— Пропустил, масса Вилл. Это самое плевое дело — пропустить жука через дырку. Смотрите-ка!

Во время этого диалога Юпитер был скрыт листвой дерева. Но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнурка. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между ветвей дерева, и если б Юпитер сейчас отпустил шнурок, тот упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в девять-двенадцать футов, после чего он велел Юпитеру отпустить шнурок и слезать поскорее вниз.

Забив колышек точно в том месте, куда упал жук, мой друг вытащил из кармана землемерную ленту. Прикрепив ее за конец к стволу дерева, как раз напротив забитого колышка, он протянул ее прямо, до колышка, после чего, продолжая разматывать ленту и отступая назад, отмерил

еще пятьдесят футов. Юпитер с косой в руках шел перед ним, срезая кусты ежевики. Дойдя до нужного места, Легран забил еще один колышек и, принимая его за центр, очистил круг диаметром примерно в четыре фута. Потом он дал по лопате мне и Юпитеру, сам взял лопату и приказал нам копать.

Откровенно скажу, я не питаю склонности к такого рода забавам даже при свете дня; теперь же спускалась ночь, а я и так изрядно устал от нашей прогулки. Всего охотнее я отказался бы. Но мне не хотелось противоречить моему бедному другу и тем усугублять его душевное беспокойство. Так что выхода не было. Если бы я мог рассчитывать на помощь Юпитера, то, ничуть не колеблясь, применил бы сейчас силу и увел бы безумца домой. Но я слишком хорошо знал старого негра и понимал, что ни при каких обстоятельствах он не поддержит меня против своего господина. Что до Леграна, мне стало теперь ясно, что он заразился столь обычной у нас на Юге манией кладоискательства и что его и без того пылкое воображение было подстегнуто находкой жука и еще, наверное, упрямством Юпитера, затвердившего, что найденный жук — «из чистого золота».

Подобные мании могут легко подтолкнуть к

помешательству неустойчивый разум, особенно если они находят себе пищу в тайных стремлениях души. Я вспомнил слова моего бедного друга о том, что жук вернет ему родовое богатство. Я был раздосадован и вместе с тем глубоко огорчен. В конце концов я решил проявить добрую волю (поскольку не видел иного выхода) и принять участие в поисках клада, чтобы быстрейшим и самым наглядным образом убедить моего фантазера в беспочвенности его замысла.

Мы зажгли фонари и принялись рыть с усердием, которое заслуживало лучшего применения. Свет струился по нашим лицам, и я подумал, что мы втроем образуем весьма живописную группу и что случайный путник, который наткнется на нас, должен будет преисполниться странных мыслей и подозрений.

Так мы копали не менее двух часов. Мы сохраняли молчание, и нас смущал только лай собаки, которая выказывала необычайный интерес к нашей работе. Этот лай становился все более настойчивым, и мы начали опасаться, как бы он не привлек какого-нибудь бродягу, расположившегося по соседству на отдых. Точнее, боялся Легран; я был бы только доволен, если бы смог при содействии постороннего человека вернуть

домой моего путешественника. Разбушевавшегося пса утихомирил Юпитер, проявив при этом немалую изобретательность. Он вылез из ямы с решительным видом и стянул ему пасть своими подтяжками, после чего, хмуро посмеиваясь, снова взялся за лопату.

После двухчасовых трудов мы вырыли яму глубиной в пять футов, однако никаких признаков клада не было видно. Мы приостановились, и я стал надеяться, что комедия подходит к концу. Однако Легран, хотя и расстроенный, как я мог заметить, отер пот со лба и снова взялся за работу. Яма уже имела четыре фута в диаметре и занимала всю площадь очерченного Леграном круга. Теперь мы расширили этот круг, потом углубили яму еще на два фута. Результаты остались все теми же. Мой золотоискатель, которого мне было жаль от души, наконец вылез из ямы и принялся медленно и неохотно натягивать свой сюртук, который сбросил перед началом работы. В каждой черточке его лица сквозило горькое разочарование. Я молчал, Юпитер по знаку своего господина стал собирать инструменты. Потом он снял с собаки свой самодельный намордник, и мы двинулись в путь, домой, не произнеся ни слова.

Не успели пройти мы и десятка шагов, как Ле-

гран с громким проклятием повернулся к негру и крепко схватил его за ворот. Пораженный Юпитер разинул рот, выпучил глаза и, уронив лопаты, упал на колени.

— Каналья, — с трудом промолвил Легран сквозь сжатые зубы, — проклятый черный негодяй, отвечай мне немедленно, отвечай без уверток, где у тебя левый глаз?

— Помилуй Бог, масса Вилл, вот у меня левый глаз, вот он! — ревел перепуганный Юпитер, кладя руку на *правый* глаз и прижимая его изо всей мочи, словно страшась, что его господин вырвет ему этот глаз.

— Так я и думал! Я знал! Ура! — закричал Легран, отпуская негра. Он исполнил несколько сложных танцевальных фигур, поразивших его слугу, который, поднявшись на ноги и словно окаменев, переводил взгляд с хозяина на меня и с меня опять на хозяина.

— За дело! — сказал Легран. — Вернемся! Мы еще выиграем эту игру! — И он повел нас обратно к тюльпановому дереву.

— Ну, Юпитер, — сказал Легран, когда мы снова стояли втроем у подножия дерева, — говори: как был прибит этот череп к ветке, лицом или наружу?

— Наружу, масса, так чтоб вороны могли клевать глаза без хлопот.

— Теперь говори мне, в какой ты глаз опустил жука — в тот или этот? — И Легран тронул пальцем сперва один глаз Юпитера и потом другой.

— В этот самый, масса, в левый, как вы велели! — Юпитер указывал пальцем на *правый* глаз.

— Отлично, начнем все сначала!

С этими словами мой друг, в безумии которого, как мне показалось, появилась теперь некоторая система, вытащил колышек, вбитый им ранее на месте падения жука, и переставил его на три дюйма к западу. Снова связав землемерной лентой колышек со стволом дерева, он отмерил еще пятьдесят футов до новой точки, отстоявшей от нашей ямы на несколько ярдов.

Мы очертили еще раз круг, несколько большего диаметра, чем предыдущий, и снова взялись за лопаты.

Я смертельно устал, но хотя и сам еще не отдавал себе в том отчета, прежнее отвращение к работе у меня почему-то исчезло. Каким-то неясным образом я стал испытывать к ней интерес, более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план, и это, веро-

ятно, оказало на меня свое действие. Продолжая усердно копать, я ловил себя несколько раз на том, что и сам со вниманием гляжу себе под ноги, в яму, словно тоже ищу на дне ее мифическое сокровище, мечта о котором свела с ума моего бедного друга. Мы трудились уже часа полтора, и эти странные прихоти мысли овладевали мной все настойчивее, когда нас опять всполошил отчаянный лай нашего пса. Если раньше он лаял из озорства или же из каприза, то теперь его беспокойство было нешуточным. Он не дался Юпитеру, когда тот опять хотел напялить ему намордник, и, прыгнув в яму, стал яростно разгребать лапами землю. Через пять-шесть секунд он отрыл два человеческих скелета, а вернее, груду костей, перемешанных с обрывками полуистлевшей шерстяной материи и металлическими пуговицами. Еще два удара лопатой — и мы увидели широкое лезвие испанского ножа и несколько монет, золотых и серебряных.

При виде монет Юпитер предался необузданной радости, но на лице его господина выразилось сильнейшее разочарование. Он умолял нас, однако, не прекращать работу. Не успел он вымолвить эту просьбу, как я оступился и тут же упал ничком, зацепившись ногой за большое железное

кольцо, прикрытое рыхлой землей.

Теперь работа пошла уже не на шутку. Лихорадочное напряжение, испытанное за эти десять минут, я не решусь сравнить ни с чем в своей жизни. Мы отрыли продолговатый деревянный сундук, прекрасно сохранившийся. Необыкновенная твердость досок, из которых он был сколочен, наводила на мысль, что дерево подверглось химической обработке, вероятно, было пропитано двухлористой ртутью. Сундук был длиною в три с половиной фута, шириной в три фута и высотой в два с половиной. Он был надежно окован железными полосами и обит заклепками. Перекрещиваясь, железные полосы покрывали сундук, образуя как бы решетку. С боков сундука под самую крышку было ввинчено по три железных кольца, всего шесть колец, так что за него могли взяться разом шесть человек. Взявшись втроем, мы сумели только что сдвинуть сундук с места. Стало ясно, что унести такой груз нам не под силу. По счастью, крышка держалась лишь на двух выдвижных болтах. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение, и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взмет-

нулся блеск такой силы, что мы были просто ослеплены.

Чувства, с которыми я взирал на сокровища, не передать словами. Прежде всего я, конечно, был изумлен. Легран, казалось, изнемогал от волнения и почти не разговаривал с нами. Лицо Юпитера на минуту стало смертельно бледным, если можно говорить о бледности применительно к черноте негра. Он был словно поражен громом. Потом он упал на колени и, погрузив по локоть в сокровища свои голые руки, блаженно застыл в этой позе, словно был в теплой ванне. Наконец, глубоко вздохнув, он произнес примерно такую речь:

— И все это сделал золотой жук! Милый золотой жук, бедный золотой жучок. А я-то его обижал, я бранил его! И не стыдно тебе, старый негр? Отвечай!..

Я оказался вынужденным призвать их обоих — и слугу и господина — к порядку; нужно было забрать сокровище. Спускалась ночь, до рассвета нам предстояло доставить его домой. Мы не знали, как взяться за дело, голова шла кругом, и много времени ушло на раздумья. Наконец мы извлекли из сундука две трети его содержимого, после чего, тоже не без труда, вытащили сундук

из ямы. Вынутые сокровища мы спрятали в ежевичных кустах и оставили под охраной нашего пса, которому Юпитер строго-настрого приказал ни под каким видом не двигаться с места и не разевать пасти до нашего возвращения. Затем мы подняли сундук и поспешно двинулись в путь. Дорога была нелегкой, но к часу ночи мы благополучно пришли домой. Слишком измученные, чтобы идти обратно, — ведь и человеческая выносливость имеет предел, — мы закусили и дали себе отдых до двух часов; после чего, захватив три больших мешка, отыскавшихся, к нашему счастью, тут же на месте, мы поспешили назад. Около четырех часов, — ночь уже шла на убыль, — мы подошли к тюльпановому дереву, разделили остатки добычи на три примерно равные части, бросили ямы как есть, незасыпанными, снова пустились в путь и сложили драгоценную ношу в хижине у Леграна, когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкою леса.

Мы изнемогали от тяжкой усталости, но внутреннее волнение не оставляло нас. Проспав три-четыре часа беспокойным сном, мы, словно уговорившись заранее, поднялись и стали рассматривать наши сокровища.

Сундук был наполнен до самых краев, и мы

потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Видно было, что их бросали в сундук не глядя. После тщательной разборки выяснилось, что доставшееся нам богатство даже значительнее, чем нам показалось с первого взгляда. Одних золотых монет, исчисляя стоимость золота по тогдашнему курсу, было не менее чем на четыреста пятьдесят тысяч долларов. Серебра там не было вовсе, одно только золото, иностранного происхождения и старинной чеканки — французское, испанское и немецкое, несколько английских гиней и еще какие-то монеты, нам совсем незнакомые. Попадались тяжелые большие монеты, стертые до того, что нельзя было прочитать на них надписи. Американских не было ни одной. Определить стоимость драгоценностей было труднее. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Всего было сто десять бриллиантов, и среди них ни одного мелкого. Мы нашли восемнадцать рубинов удивительного блеска, триста десять превосходных изумрудов, двадцать один сапфир и один опал. Все камни были, как видно, вынуты из оправ и брошены в сундук небрежной рукой. Оправы же, перемешанные с другими золотыми вещами, были

сплющены молотком, видимо, для того, чтобы нельзя было опознать драгоценности. Кроме того, что я перечислил, в сундуке было множество золотых украшений, около двухсот массивных колец и серег; золотые цепочки, всего тридцать штук, если не ошибаюсь; восемьдесят три тяжелых больших распятия; пять золотых кадильниц огромной ценности; большая золотая чаша для пунша, изукрашенная виноградными листьями и вакхическими фигурами искусной ювелирной работы; две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями и еще много мелких вещиц, которые я не в силах сейчас припомнить. Общий вес драгоценностей превышал триста пятьдесят английских фунтов. Я уж не говорю о часах, их было сто девяносто семь штук, и трое из них стоили не менее чем по пятьсот долларов. Часы были старинной системы, и ржавчина разрушила механизмы, но украшенные драгоценными камнями золотые крышки были в сохранности. В эту ночь мы оценили содержимое нашего сундука в полтора миллиона долларов. В дальнейшем, когда мы продали драгоценные камни и золотые изделия (некоторые безделушки мы сохранили на память), оказалось, что наша оценка клада была слишком скромной.

Когда наконец мы завершили осмотр и владевшее нами необычайное волнение чуть-чуть поутихло, Легран, который видел, что я сгораю от нетерпения и жажду получить разгадку этой поразительной тайны, принялся за рассказ, не упуская ни малейшей подробности.

— Вы помните, — сказал он, — тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука. Вспомните также, как я был раздосадован, когда вы сказали, что мой рисунок походит на череп. Вначале я думал, что вы просто шутите; потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спинке жука, и решил, что ваше замечание не столь уж нелепо. Все же насмешка ваша задела меня — я считаюсь недурным рисовальщиком. Потому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылил и хотел скомкать его и швырнуть в огонь.

— Клочок бумаги, вы хотите сказать, — заметил я.

— Нет! Я сам так думал вначале, но как только стал рисовать, обнаружилось, что это тонкий-претонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязен. Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел

изображение черепа на том самом месте, где только что нарисовал вам жука. В первую минуту я растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мною рисунок не был похож на тот, который я увидел сейчас, хотя в их общих чертах и можно было усмотреть нечто сходное. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать пергамент более тщательно. Перевернув его, я тотчас нашел свой рисунок, совершенно такой, каким он вышел из-под моего пера. Близость этих изображений на двух сторонах пергамента была поистине странной. На обороте пергамента, в точности под моим рисунком жука, был нарисован череп, который напоминал моего жука и размером и очертаниями! Невероятное совпадение на минуту ошеломило меня. Это обычное следствие такого рода случайностей. Рассудок силится установить причинную связь явлений и, потерпев неудачу, оказывается на время как бы парализованным. Когда я пришел в себя, меня осенила вдруг мысль, которая была еще удивительнее, чем то совпадение, о котором я говорю. Я совершенно ясно, отчетливо помнил, что, когда я рисовал своего жука, на пергаменте не было никакого другого рисунка. Я был в этом совершенно уверен потому, что, отыскивая для рисунка ме-

стечко почище, поворачивал пергамент то одной, то другой стороной. Если бы череп там был, я бы, конечно, его заметил. Здесь таилась загадка, которую я не мог объяснить. Впрочем, скажу вам, уже тогда, в этот первый момент, где-то в далеких тайниках моего мозга чуть мерцало, подобное светлячку, то предчувствие, которое столь блистательно подтвердила вчера наша ночная прогулка. Я встал, спрятал пергамент в укромное место и отложил все дальнейшие размышления до того, как останусь один. Когда вы ушли и Юпитер крепко уснул, я приступил к более методическому исследованию стоявшей передо мною задачи. Прежде всего я постарался восстановить обстоятельства, при которых пергамент попал ко мне в руки. Мы нашли жука на материке, в миле к востоку от острова и поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу выронил. Юпитер, прежде чем взять упавшего возле него жука, стал с обычной своей осторожностью искать листок или еще что-нибудь, чем защитить свои пальцы. В ту же минуту и он и я, одновременно, увидели этот пергамент, мне показалось тогда, что это бумага. Пергамент лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал на поверхности. Поблизости я

приметил остов корабельной шлюпки. Видно, он пролежал здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки почти ничего не осталось.

Итак, Юпитер поднял пергамент, завернул в него золотого жука и передал его мне. Вскоре мы собрались домой. По дороге мы встретили лейтенанта Дж., я показал ему нашу находку, и он попросил у меня позволения взять жука с собой в форт. Я согласился, он быстро сунул жука в жилетный карман, оставив пергамент мне. Лейтенант поспешил воспользоваться моим разрешением и спрятал жука, быть может боясь, что я передумаю; вы ведь знаете, как горячо он относится ко всему, что связано с естествознанием. Я, в свою очередь, сунул пергамент в карман совсем машинально.

Вы помните, когда я подсел к столу, чтобы нарисовать жука, у меня не оказалось бумаги. Я заглянул в ящик, но и там ничего не нашел. Я стал рыться в карманах, рассчитывая отыскать какой-нибудь старый конверт, и нащупал пергамент. Я описываю с наивозможнейшей точностью, как пергамент попал ко мне: эти обстоятельства имеют большое значение.

Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен сказать, что уже в ту минуту я

установил некоторую связь событий. Я соединил два звена длинной логической цепи. На морском побережье лежала шлюпка, неподалеку от шлюпки пергамент — *не бумага*, заметьте, пергамент, на котором был нарисован череп. Вы, конечно, спросите, где же здесь связь? Я отвечу, что череп — всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа.

Итак, я уже сказал, что была не бумага, пергамент. Пергамент сохраняется очень долго, то, что называется вечно. Его редко используют для ординарных записей уже потому, что писать или рисовать на бумаге гораздо легче. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был неспроста, а с каким-то особым значением. Я обратил внимание и на *формат* пергамента. Один уголок листа был по какой-то причине оборван, но первоначально пергамент был удлиненным. Это был лист пергамента, предназначенный для памятной записи, которую следует тщательно, долго хранить.

— Все это так, — прервал я Леграна, — но вы ведь сами сказали, что, когда рисовали жука на пергаменте, там *не было* черепа. Как же вы утверждаете, что существует некая связь между

шлюпкой и черепом, когда вы сами свидетель, что этот череп был нарисован (один только Бог знает кем!) уже после того, как вы нарисовали жука?

— А! Здесь-то и начинается тайна. Хотя должен сказать, что разгадка ее в этой части не составила для меня большого труда. Я не давал своим мыслям сбиться с пути, логика же допускала только одно решение. Рассуждал я примерно так. Когда я стал рисовать жука, на пергаменте не было никаких признаков черепа. Я кончил рисунок, передал его вам и пристально за вами следил, пока вы мне не вернули пергамент. Следовательно, *не вы* нарисовали там череп. Однако помимо вас нарисовать его было некому. Значит, череп вообще нарисован не был. Откуда же он взялся?

Тут я постарался припомнить с полной отчетливостью решительно все, что случилось в тот вечер. Стояла холодная погода (о, редкий, счастливый случай!), в камине пылал огонь. Я разогрелся от быстрой ходьбы и присел у стола. Ну а вы пододвинули свое кресло еще ближе к камину. В ту же минуту, как я передал вам пергамент и вы стали его разглядывать, вбежал Волк, наш ньюфаундленд, и бросился вас обнимать. Левой рукой вы гладили пса, стараясь его отстранить,

а правую руку с пергаментом опустили между колен, совсем близко к огню. Я побоялся даже, как бы пергамент не вспыхнул, и хотел уже вам об этом сказать, но не успел, потому что вы тут же подняли руку и стали снова его разглядывать. Когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте *под влиянием тепла.*

Вы, конечно, слыхали, что с давних времен существуют химические составы, при посредстве которых можно тайно писать и на бумаге и на пергаменте. Запись становится видимой под влиянием тепла. Растворите цафру в «царской водке» и разведите потом в четырехкратном объеме воды, чернила будут зелеными. Растворите кобальтовый королек в нашатырном спирте — они будут красными. Ваша запись вскоре исчезнет, но появится вновь, если вы прогреете бумагу или пергамент вторично.

Я стал тщательно рассматривать изображение черепа на пергаменте. Наружный контур рисунка — я имею в виду очертания его, близкие к краю пергамента, — *выделялся отчетливее.* Значит, действие тепла было либо малым, либо неравномерным. Я тотчас разжег огонь и стал нагревать пергамент над пылающим жаром. Вскоре

очертания черепа проступили более явственно; когда же я продолжил свой опыт, то по диагонали от черепа в противоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы.

Более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся я. — Конечно, Легран, я не вправе смеяться над вами, полтора миллиона долларов не тема для шуток, но прибавить еще звено к вашей логической цепи вам здесь не удастся. Пират и коза несовместны. Пираты не занимаются скотоводством; это — прерогатива фермеров.

— Но я же сказал вам, что это была *не коза.*

— Не коза, так козленок, не вижу большой разницы.

— Большой я тоже не вижу, но разница есть, — ответил Легран, — сопоставьте два слова kid (козленок) и Kidd! Доводилось ли вам читать или слышать о капитане Кидде? Я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунка в ребусе. «Подпись», я говорю, потому, что козленок был нарисован на нашем пергаменте именно в том самом месте, где ставится подпись. А изображение черепа в проти-

воположном по диагонали углу, в свою очередь, наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескураживало отсутствие главного — текста моего воображаемого документа.

— Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо?

— Да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже овладевало непобедимое предчувствие огромной удачи. Почему, сам не знаю. Это было, быть может, не столько предчувствие, сколько самовнушение. Представьте, глупая шутка Юпитера, что жук — из чистого золота, сильно подействовала на меня. К тому же эта удивительная цепь случайностей и совпадений!.. Ведь все события пришлись на тот самый день, выпадающий, может быть, раз в году, когда мы топим камин. А ведь без камина и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда не узнал бы о черепе и никогда не стал бы владельцем сокровищ.

— Хорошо, что же дальше?

— Вы, конечно, знаете, что есть множество смутных преданий о кладах, зарытых Киддом и его сообщниками где-то на атлантическом побережье. В основе этих преданий, конечно, лежат факты. Предания живут с давних пор и не теряют своей живучести; на мой взгляд, это значит, что

клад до сих пор *не найден*. Если бы Кидд сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, едва ли предания дошли бы до нас все в той же устойчивой форме. Заметьте, предания рассказывают лишь о поисках клада, о находке в них нет ни слова. Но если бы пират отрыл сокровище, толки о нем затихли бы. Мне всегда казалось, что какая-нибудь случайность, скажем, потеря карты, где было обозначено местонахождение клада, помешала Кидду найти его и забрать. О несчастье Кидда разведали другие пираты, без того никогда не узнавшие бы о зарытом сокровище, и их бесплодные поиски, предпринятые наудачу, и породили все эти предания и толки, которые разошлись по свету и дожили до нашего времени. Доводилось вам слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад?

— Нет, никогда.

— А ведь всякий знает, что Кидд владел несметным богатством. Итак, я сделал вывод, что клад остался в земле. Не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, граничившая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу Кидда.

— Что вы предприняли дальше?

— Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь, но это не дало мне ничего нового. Тогда я решил, что, быть может, мешает грязь, наросшая на пергаменте. Я осторожно обмыл его теплой водой. Затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил сковороду на уголья. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с невыразимым восторгом увидел, что кое-где на нем появились знаки, напоминавшие цифры и расположенные в строку. Я снова положил пергамент на сковороду и подержал еще над огнем. Тут надпись выступила вся целиком — сейчас я вам покажу.

Легран разогрел пергамент и дал его мне. Между черепом и козленком, грубо начертанные чем-то красным, стояли такие знаки:

53+305))6*;4826)4#.)4#);806*;48+8//
60))85;;]8*;:#*8+ 83(88)5*+;46(;88*96*?;8)*#
(;485);5*+2:*#(;4956*2(5*=4)8 ||8*;406928
5);)6+8)4;1#9;48081;8:8#1;48+85;4)485+528
806*81(#9;48;(88;4(#?34;48)4#;161;:188;#?;

— Что ж! — сказал я, возвращая Леграну пергамент. — Меня это не подвинуло бы ни на шаг.

За все алмазы Голконды я не возьмусь решать подобную головоломку.

— И все же, — сказал Легран, — она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, конечно, — шифр; иными словами, они скрывают словесную запись. Кидд, насколько мы можем о нем судить, не сумел бы составить истинно сложную криптограмму. И я сразу решил, что передо мной примитивный шифр, но притом такой, который незатейливой фантазии моряка должен был показаться совершенно непостижимым.

— И что же, вы сумели найти решение?

— С легкостью! В моей практике встречались шифры в тысячу раз сложнее. Я стал заниматься подобными головоломками благодаря обстоятельствам моей жизни и особым природным склонностям и пришел к заключению, что едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, которую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Прямо скажу, если текст зашифрован без грубых ошибок и документ в приличной сохранности, я больше ни в чем не нуждаюсь; последующие трудности для меня просто не существуют.

Прежде всего, как всегда в этих случаях, возникает вопрос о языке криптограммы. Принцип

решения (в особенности это относится к шифрам простейшего типа) в значительной мере зависит от языка. Выяснить этот вопрос можно только одним путем, испытывая один язык за другим и постепенно их исключая, пока не найдешь решение. С нашим пергаментом такой трудности не было; подпись давала разгадку. Игра словами kid и Kidd возможна лишь по-английски. Если б не это, я начал бы поиски с других языков. Пират испанских морей скорее всего избрал бы для тайной записи французский или испанский язык. Но я уже знал, что криптограмма написана по-английски.

Как видите, текст криптограммы идет в сплошную строку. Задача намного была бы проще, если б отдельные слова были выделены просветами. Я начал тогда бы с анализа и сличения более коротких слов, и как только нашел бы слово из одной буквы (например, местоимение *я* или союз *и*), я почел бы задачу решенной. Но просветов в строке не было, и я принялся подсчитывать однотипные знаки, чтобы узнать, какие из них чаще, какие реже встречаются в криптограмме. Закончив подсчет, я составил такую таблицу:

Знак	8	встречается	34	раза
»	;	»	27	раз
»	4	»	19	»
»	)	»	16	»
»	#	»	15	»
»	*	»	14	»
»	5	»	12	»
»	6	»	11	»
»	+	»	8	»
»	1	»	7	»
»	0	»	6	»
»	9 и 2	»	5	»
»	: и 3	»	4	»
»	?	»	3	»
»	‖	»	2	»
»	. = и]	»	1	раз.

В английской письменной речи самая частая буква — *e*. Далее идут в нисходящем порядке *a, o, i, d, h, n, r, s, t, u, y, c, f, g, l, m, w, b, k,p, q, x, z*. Буква *e*, однако, настолько часто встречается, что трудно построить фразу, в которой она не занимала бы господствующего положения.

Итак, уже сразу у нас в руках путеводная нить. Составленная таблица, вообще говоря, может быть очень полезна, но в данном случае она нам понадобится лишь в начале работы. Поскольку знак 8 встречается в криптограмме чаще других, мы примем его за букву *e* английского алфавита. Для проверки нашей гипотезы взглянем, встречается ли этот знак дважды подряд, потому что в английском, как вам известно, буква *e* очень часто удваивается, например в словах meet или fleet, speed или seed, seen, been, agree и так далее. Хотя криптограмма невелика, знак 8 стоит в нем дважды подряд не менее пяти раз.

Итак, будем считать, что 8 — это *e*. Самое частое слово в английском — определенный артикль the. Посмотрим, не повторяется ли у нас сочетание из трех знаков, расположенных в той же последовательности, и оканчивающееся знаком 8. Если такое найдется, это будет, по всей вероятности, определенный артикль. Приглядевшись,

находим не менее семи раз сочетание из трех знаков; 4 8. Итак, мы имеем право предположить, что знак; — это буква t, а 4 — h; вместе с тем подтверждается, что 8 действительно *e.* Мы сделали важный шаг вперед.

То, что мы расшифровали целое слово, потому так существенно, что позволяет найти границы других слов. Для примера возьмем предпоследнее из сочетаний этого рода; 4 8. Идущий сразу за 8 знак; будет, как видно, начальной буквой нового слова. Выписываем, начиная с него, шесть знаков подряд. Только один из них нам незнаком. Обозначим теперь знаки буквами и оставим свободное место для неизвестного знака:

t. eeth

Ни одно слово, начинающееся на t и состоящее из шести букв, не имеет в английском языке окончания th, в этом легко убедиться, подставляя на свободное место все буквы по очереди. Потому мы отбрасываем две последние буквы как посторонние и получаем:

t. ee

Для заполнения свободного места можно снова

взяться за алфавит. Единственным верным прочтением этого слова будет:

tree (дерево).

Итак, мы узнали еще одну букву — r, она обозначена знаком (, и мы можем теперь прочитать два слова подряд:

the tree

Немного дальше находим уже знакомое нам сочетание; 4 8. Примем его опять за границу нового слова и выпишем целый отрывок, начиная с двух расшифрованных нами слов. Получаем такую запись:

the tree;4 (#? 3 4 the Заменим уже известные знаки буквами:

the tree thr#? 3h the A неизвестные знаки точками: the tree thr...h the

Нет никакого сомнения, что неясное слово — through (через). Это открытие дает нам еще три буквы — *o, u* и *g,* обозначенные в криптограмме знаками #? и 3.

Внимательно вглядываясь в криптограмму, находим вблизи от ее начала группу знакомых нам знаков:

83(88

которое читается так: egree. Это, конечно, слово degree (градус) без первой буквы. Теперь мы знаем, что буква *d* обозначена знаком +.

Вслед за словом degree, через четыре знака, встречаем такую группу:

; 4 6 (; 8 8*

Заменим, как уже делали раз, известные знаки буквами, а неизвестные точками:

th.rtee.

Сомнения нет, перед нами слово thirteen (тринадцать). К известным нам буквам прибавились *i* и *n*, обозначенные в криптограмме знаками 6 и *.

Криптограмма начинается так:

5 3 # # +

Подставляя по-прежнему буквы и точки, получаем:

good

Недостающая буква, конечно, *a*, и, значит, два первые слова будут читаться так:

A good (хороший).

Чтобы теперь не сбиться, расположим знаки в виде такой таблицы.

5	означает	a
+	»	d
8	»	e
3	»	g
4	»	h
6	»	i
*	»	n
#	»	o
(	»	r
;	»	t

Здесь ключ к десяти главным буквам. Я думаю, нет нужды рассказывать вам, как я распознал остальные. Я познакомил вас с общей структурой шифра и надеюсь, что убедил, что он поддается разгадке. Повторяю, впрочем, что криптограмма — из самых простейших. Теперь я даю вам полный текст записи. Вот она в расшифрованном

виде:

«A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat twenty one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death's head a bee line from the tree through the shot fifty feet out». (Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле двадцать один градус и тринадцать минут северо-северо-восток главный сук седьмая ветвь восточная сторона стреляй из левого глаза мертвой головы прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов.)

— Что же, — сказал я, — загадка осталась загадкой. Как перевести на человеческий язык всю эту тарабарщину: «трактир епископа», «мертвую голову», «чертов стул»?

— Согласен, — сказал Легран, — текст еще смутен, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленить эту запись по смыслу.

— Расставить точки и запятые?

— Да, в этом роде.

— И как же вы сделали это?

— Я исходил из того, что автор намеренно писал криптограмму в сплошную строку, чтобы затруднить тем разгадку. Причем человек не слишком утонченный, задавшись такой целью,

легко ударяется в крайность. Там, где в тексте по смыслу нужен просвет, он будет ставить буквы еще теснее. Взгляните на запись, и вы сразу увидите пять таких мест. По этому признаку я разделил криптограмму на несколько фраз:

«Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле — двадцать один градус и тринадцать минут — северо-северо-восток — главный сук седьмая ветвь восточная сторона — стреляй из левого глаза мертвой головы — прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов».

— Запятые и точки расставлены, — сказал я, — но смысла не стало больше.

— И мне так казалось первое время, — сказал Легран. — Сперва я расспрашивал всех, кого ни встречал, нет ли где по соседству с островом Сэлливановым какого-нибудь строения, известного под названием «трактир епископа». Никто ничего не знал, и я уже принял решение расширить мои поиски и повести их систематичнее, как вдруг однажды утром мне пришло в голову, что, быть может, это название «трактир епископа» (bishop's hostel) нужно связать со старинной фамилией Бессопов (Bessop), владевшей в давние времена усадьбой в четырех милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обра-

тился там к неграм, старожилам этого края. После многих расспросов самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает место, которое называлось «трактиром епископа», и думает, что найдет его, но что это совсем не трактир и даже не таверна, а высокий скалистый утес.

Я обещал ей хорошо заплатить за труды, и после некоторых колебаний она согласилась пойти туда вместе со мной. Мы добрались до места без каких-либо приключений. Отпустив ее, я осмотрелся кругом. «Трактир» оказался нагромождением скал и утесов. Одна скала, стоявшая особняком, выделялась своей высотой и странностью формы, напоминая искусственное сооружение. Я добрался до самой ее вершины и стал там в смущении, не зная, что делать дальше.

Пока я раздумывал, взор мой упал на узкий выступ в скале, на восточном ее склоне, примерно в ярде от места, где я стоял. Выступ имел в ширину около фута и выдавался наружу дюймов на восемнадцать. За ним в скале была ниша, и вместе они походили на кресло с полой спинкой, какие стояли в домах наших прадедов. Я сразу понял, что это и есть «чертов стул» и что я проник в тайну записи на пергаменте.

«Хорошее стекло» могло означать только од-

но — подзорную трубу; моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем с заранее определенной позиции, не допускающей никаких отклонений. Слова «двадцать один градус и тринадцать минут» и «северо-северо-восток» указывали направление подзорной трубы. Сильно взволнованный своими открытиями, я поспешил домой, взял трубу и вернулся в «трактир епископа».

Опустившись на «чертов стул», я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Догадка моя таким образом подтверждалась. Я поднял трубу. Направление по горизонтали было указано — «северо-северо-восток». Следовательно, «двадцать один градус и тринадцать минут» значили высоту над видимым горизонтом. Сориентировавшись по карманному компасу, я направил трубу приблизительно под углом в двадцать один градус и стал осторожно передвигать ее вверх, пока взор мой не задержался на круглом отверстии или просвете в листве громадного дерева, поднявшего высоко свою крону над окружающим лесом. В центре просвета я приметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав лучше трубу, я взглянул

еще раз и ясно увидел человеческий череп.

Открытие окрылило меня, и я счел загадку решенной. Было ясно, что «главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона» означают место, где надо искать череп на дереве, а приказ «стреляй из левого глаза мертвой головы» допускает тоже лишь одно толкование и указывает местонахождение клада. Надо было спустить пулю в левую глазницу черепа и потом провести «прямую», то есть прямую линию от ближайшей точки ствола через выстрел» (место падения пули) на пятьдесят футов вперед. Там, по всей вероятности, и было зарыто сокровище.

— Все это выглядит убедительно, — сказал я, — и при некоторой фантастичности все же логично и просто. Что же вы сделали, покинув «трактир епископа»?

— Хорошенько приметив дерево, я решил возвращаться домой. В ту же минуту, как я поднялся с «чертова стула», круглый просвет исчез и, сколько я ни старался, я его больше не видел. В том-то и состояло все остроумие замысла, что просвет в листве дерева (как я убедился, несколько раз вставая и снова садясь) открывался зрителю с одной лишь единственной точки, с узкого выступа в этой скале.

К «трактиру епископа» мы ходили вместе с Юпитером, который, конечно, приметил за эти дни, что я веду себя как-то странно, и потому не отставал от меня ни на шаг. Но назавтра я встал чуть свет, ускользнул от его надзора и ушел один в горы разыскивать дерево. Разыскал я его с немалым трудом. Когда я вернулся вечером, Юпитер, как вы уже знаете, хотел отдубасить меня. О дальнейших событиях я могу не рассказывать. Они вам известны.

— Значит, — сказал я, — первый раз вы ошиблись местом из-за Юпитера; он опустил жука в правую глазницу черепа вместо левой?

— Разумеется! Разница в «выстреле», иными словами, в положении колышка не превышала двух с половиной дюймов, и если бы сокровище было зарыто под деревом, ошибка была бы пустячной. Но ведь линия через «выстрел» лишь указывала нам направление, по которому надо идти. По мере того как я удалялся от дерева, отклонение все возрастало, и когда я прошел пятьдесят футов, клад остался совсем в стороне. Не будь я так свято уверен, что сокровище здесь, наши труды пропали бы даром.

— Не пиратский ли флаг внушил Кидду эту странную выдумку с черепом, в пустую глазни-

цу которого он велит опускать пулю? Обрести драгоценный клад через посредство зловещей эмблемы пиратов — в этом чувствуется некий поэтический замысел.

— Быть может, вы правы, хотя я лично думаю, что практический смысл играл здесь не меньшую роль, чем поэтическая фантазия. Увидеть с «чертова стула» столь малый предмет можно только в единственном случае — если он будет белым. А что тут сравнится с черепом? Череп ведь не темнеет от бурь и дождей. Напротив, становится все белее…

— Ну а ваши высокопарные речи и верчение жука на шнурке?! Что за странное это было чудачество! Я решил, что вы не в себе. И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули?

— Что же, не скрою! Ваши намеки на то, что я не в себе, рассердили меня, и я решил отплатить вам маленькой мистификацией в моем вкусе. Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, сама эта мысль воспользоваться жуком вместо пули пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью.

— Теперь все ясно. Ответьте еще на последний

вопрос. Откуда взялись эти скелеты в яме?

— Об этом я знаю не больше вашего. Тут допустима, по-видимому, только одна догадка, но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кидд — если именно он владелец сокровища, в чем я совершенно уверен, — не мог обойтись без подручных. Когда они, выполнив все, что им было приказано, стояли внизу в яме, Кидд рассудил, наверно, что не нуждается в лишних свидетелях. Два-три удара ломом тут же решили дело. А может, и целый десяток — кто скажет?

1843

Колодец и маятник[56]

Impia tortorum longos hie turba furores
Sanguinis innocui, non satiata, aluit.
Sospite nunc patrid, fracto nunc funeris antro,
Mors ubi dira fuit vita salusque patent[57].

[Четверостишие, сочиненное для ворот рынка, который решено разбить на месте якобинского клуба в Париже]

Я устал, смертельно устал от этой затянувшейся пытки; и, когда наконец меня развязали и я смог сесть, я почувствовал, что сознание покидает меня. Приговор, страшный смертный приговор еще отчетливо прозвучал в моих ушах, но сразу вслед

---

[56] Сноски: 56

© Перевод. С. Маркиш, наследники, 2002

[57] Сноски: 57

Кровью невинных несытая, шайка убийц нечестивых Долго лелеяла здесь злое безумье свое. Ныне разрушен застенок, родина ныне свободна; В логово лютых смертей жизнь и спасенье пришли *(лат.).*

за тем голоса инквизиторов слились в далекий, невнятный гул. Он вызвал во мне образ какого-то *кружения* — быть может, напомнив шум мельничного колеса. И то — лишь на миг, ибо в следующий миг я уже не слышал ничего. Зато некоторое время я еще видел — и с какой ужасающей, чудовищной отчетливостью! Я видел губы судей, облаченных в черное. Мне они казались белыми — белее листа, на котором я пишу эти строки, и тонкими, до уродливости тонкими; их как бы сплющило и вытянуло напряженное выражение беспощадности, непреклонной решимости и угрюмого презрения к человеческому страданию. Я видел, как слова, которые были моею Судьбой, продолжали стекать с этих губ. Я видел, как они растягивались, вещая о смерти. Я видел, как они выговаривали звуки моего имени; и я содрогался, потому что не слышал ничего. В эти мгновения безумного страха я видел еще, как слегка, едва заметно колышутся черные драпировки, которыми были обиты стены зала. Потом мой взгляд остановился на семи длинных свечах, горевших на столе. Сначала они показались мне символами милосердия, белыми, стройными ангелами, которые посланы, чтобы меня спасти; но сразу же вслед за тем волна нестерпимой тош-

ноты вдруг захлестнула меня, и я почувствовал, как каждый нерв в моем теле затрепетал, словно я коснулся проводов гальванической батареи, ангелы стали бесплотными призраками с огненными головами, и я понял, что ждать от них помощи безнадежно. А потом, словно певучая музыкальная фраза, в душу прокралась мысль, как, должно быть, сладок могильный покой. Она пришла осторожно и бесшумно и, казалось, задолго до того, как разум постиг ее до конца; но в тот самый миг, когда мой дух воспринял ее отчетливо и окончательно, фигуры судей перед моими глазами растаяли, точно по волшебству, длинные свечи исчезли, их огоньки погасли, и наступил непроглядный мрак; все чувства мои были словно проглочены этим отчаянным, стремительным нисхождением — так душа нисходит в Аид. А затем — беспредельная тишина, покой и ночь.

Это был обморок, и все же я не могу сказать, что сознание покинуло меня вовсе. Того, что осталось, я не стану ни определять, ни даже просто описывать, — скажу только, что исчезло не все. В глубочайшем забытьи — нет, мало! — в бреду — мало! — в обмороке — мало! — в могиле… да! даже в могиле *что-то остается.* А иначе бессмертие наше — пустой звук! Пробуждаясь от

самого глубокого сна, мы разрываем паутину *какого-то* сновидения. Но уже в следующий миг мы не помним, что нам снилось, — до того легка эта паутина. После обморока человек, возвращаясь к жизни, проходит две ступени: сначала возникает ощущение интеллектуального или духовного бытия, а потом — чувство жизни физической. И если бы, достигнув второй ступени, мы смогли воскресить в памяти впечатления первой, то весьма вероятно, что эти впечатления поведали бы нам о потусторонней бездне. Но что она такое — эта бездна? Как отличить ее тени от теней могилы?.. Однако если впечатления, оставленные тем, что я назвал первой ступенью, нельзя оживить силою воли, то разве не появляются они сами спустя долгое время — непрошеные, неведомо откуда? Тот, кто никогда не лишался чувств, не увидит в тлеющих угольях ни причудливых замков, ни до боли знакомых лиц; он не заметит парящих в воздухе печальных образов, незримых толпе; он не остановится в раздумье, вдохнув аромат неведомого цветка; он не из тех, чей ум смутят несколько музыкальных тактов, никогда прежде не привлекавшие его внимания.

Среди частых и сосредоточенных попыток вспомнить, среди напряженных усилий свести

воедино приметы мнимого небытия, в которое окунулась тогда моя душа, бывали минуты, когда мне казалось, что я достиг успеха; случались краткие, очень краткие проблески воспоминаний, которые рассудок, прояснившийся позднее, мог отнести лишь к тогдашнему состоянию бессознательности. Эти тени памяти сбивчиво повествуют о каких-то длинных фигурах, которые безмолвно подняли меня и понесли вниз — все вниз, вниз, вниз! до тех пор, пока отвратительное головокружение не охватило меня от одной только мысли о бесконечности этого спуска. Еще они повествуют о смутном ужасе моего сердца, вызванном противоестественным спокойствием и тишиною в этом сердце. Затем приходит неожиданное ощущение неподвижности, сковавшей все, — словно те, кто нес меня (о, этот путь!), переступив в своем движении вниз пределы беспредельного, остановились на миг передохнуть от своего однообразного, тяжкого труда. Вслед за тем душу пронизывают апатия и тоска; и наконец все захлестывает *безумие* — безумие памяти, вступившей в запретные области.

Совершенно неожиданно возвращаются движение и звук — громко и беспорядочно бьется сердце, и удары его шумно отдаются в ушах. За-

тем — провал: пустота, ничего, кроме пустоты. Затем снова звук, движение, прикосновение, и какая-то дрожь пронизывает все мое существо. Затем простое ощущение бытия, без всякой мысли — состояние, которое долго не проходит. И вдруг — *мысль*, и ужас, потрясший меня с головы до пят, и напряженное стремление осознать, что же все-таки со мной происходит. Затем страстное желание погрузиться в беспамятство. Затем стремительное воскрешение духа и успешная попытка пошевелиться. И тут — полное и ясное воспоминание о процессе, судьях, траурных драпировках, о приговоре, о слабости, об обмороке. Затем — абсолютное забвение всего, что последовало; лишь гораздо позже и ценою самых напряженных усилий мне удалось, хотя и смутно, восстановить все это в памяти.

Я еще долго не открывал глаз. Я чувствовал, что лежу на спине, что оковы сняты. Я вытянул руку, и она тяжело опустилась на что-то влажное и твердое. Так пролежала она немалое время, в продолжение которого я силился сообразить, где я и *что со* мною сталось. Я не хотел и не решался обратиться за ответом к зрению, страшась первого взгляда на то, что меня окружало. Боязнь увидеть нечто ужасное удерживала меня,

и я весь замирал при мысли о том, что сейчас подниму веки и… не увижу *ничего.* Наконец, с безрассудством отчаяния в сердце, я открыл глаза. Увы, мои худшие опасения подтвердились. Вокруг была чернота вечной ночи. Я задыхался: густота мрака словно придавила меня и старалась удушить. Воздух был невыносимо спертый. Я лежал по-прежнему неподвижно, пытаясь собраться с мыслями. Я припоминал судебные обычаи инквизиции и старался угадать истинное свое положение. Приговор был вынесен, и мне казалось, что с тех пор прошел уже очень долгий срок. И все-таки ни на минуту я не мог допустить, что я в самом деле мертв: такая мысль — вопреки всему, что мы читаем в романах, — совершенно не совместима с реальным существованием. Но где же я и что со мной? Я знал, что осужденные на смерть обыкновенно расстаются с жизнью на аутодафе и что одно из них было назначено на вечер того дня, когда меня судили. Неужели меня снова бросили в мою темницу, чтобы сохранить до следующей гекатомбы, которая будет совершена лишь через несколько месяцев? Нет, этого быть не может: ведь обычно жертву вели на заклание без малейшего отлагательства. К тому же прежняя моя темница, как и все камеры

смертников в Толедо, была вымощена камнем и свет все же проникал в нее.

Вдруг — страшная мысль, от которой вся кровь стремительно прихлынула к сердцу; на короткое время я снова потерял сознание. Придя в себя, я сразу вскочил на ноги, каждая жилка во мне дрожала. Я исступленно шарил вокруг себя во всех направлениях. И, хотя руки встречали одну лишь пустоту, я не решался ступить ни шагу — боясь натолкнуться на стену *склепа.* Обильный пот выступил изо всех пор и крупными холодными каплями застыл на лбу. Наконец мука неизвестности сделалась нестерпимой, и я осторожно двинулся вперед, вытянув руки и с таким напряжением ловя хоть самый слабый проблеск света, что глаза вылезали из орбит. Я ступил раз, другой, третий — много раз, но кругом были все те же мрак и пустота. Я вздохнул свободнее: теперь мне казалось бесспорным, что моя участь — не самая страшная из всех возможных.

И пока я продолжал по-прежнему осторожно пробираться вперед, в памяти моей ожили сотни смутных слухов об ужасах Толедо. Удивительные рассказы ходили об этих темницах; правда, я всегда считал их пустыми баснями, и все же они были до того странными и жуткими, что их

повторяли только шепотом. Предстояло ли мне погибнуть голодной смертью в мире подземного мрака? или какая-нибудь иная, еще более тяжкая участь ожидала меня? Что концом моего заключения будет смерть, и смерть утонченно жестокая, я не сомневался — слишком уж хорошо знал я своих судей. Способ и срок — вот все, что меня занимало и не давало мне покоя.

Мои вытянутые руки в конце концов наткнулись на какое-то неподвижное препятствие. Это была стена, по-видимому, каменной кладки — очень гладкая, осклизлая и холодная. Я пошел вдоль нее, ступая со всею предусмотрительной недоверчивостью, какую мне внушили иные из тех старинных историй. Однако таким образом мне никогда не удалось бы установить размеры моей темницы: я мог обойти ее кругом и вернуться к отправной точке, не заметив этого, — настолько неразличимо однообразной казалась стена. Поэтому я стал искать нож, который был у меня в кармане, когда меня вели в зал суда, — но его не оказалось; вместо прежнего платья на мне был балахон из грубой саржи. Я рассчитывал всунуть лезвие в какую-нибудь щелочку между камнями и таким образом отметить начало пути. Возникшее затруднение было

ничтожным, но расстройство мыслей делало его, на первый взгляд, непреодолимым. Я оторвал кусок подола от моего балахона и растянул на полу во всю длину, под прямым углом к стене. Обходя ощупью свою тюрьму, я непременно должен был наткнуться на этот лоскут, завершив полный круг. Так, по крайней мере, я думал; но я не принял в расчет ни возможных размеров темницы, ни собственной слабости. Под ногами было сыро и скользко. Какое-то время я, пошатываясь, двигался вперед, потом споткнулся и упал. Тут обнаружились последствия крайнего истощения сил: я остался лежать навзничь и, так и не поднявшись, скоро уснул.

Проснувшись и вытянув вперед руку, я нащупал подле себя хлебец и кувшин. Я был слишком измучен, чтобы размышлять, откуда они взялись, жадно съел хлеб и выпил воду. Спустя немного я возобновил свое путешествие вокруг темницы и после долгих усилий добрел наконец до обрывка саржи. К тому мгновению, когда я упал, я насчитал пятьдесят два шага, а теперь еще сорок восемь. Таким образом, всего получалось сто шагов; и, полагая ярд равным двум шагам, я решил, что моя тюрьма имеет пятьдесят ярдов в окружности. Но, так как во многих местах стена

выступала углами, невозможно было сообразить, каковы истинные очертания склепа, — я не мог отделаться от мысли, что это все-таки склеп.

Во всех моих разысканиях не было, пожалуй, определенной цели и, разумеется, ни капли надежды. Но какое-то непонятное любопытство побуждало меня продолжать их. Оторвавшись от стены, я решил пересечь этот каменный мешок. Сначала я двигался с величайшей осторожностью, ибо пол хоть и казался надежным, но был предательски скользким. Мало-помалу я осмелел и начал ступать твердо и уверенно, стараясь по возможности не сбиваться с прямой линии. Таким образом я прошел шагов десять — двенадцать, когда запутался в подоле своего балахона и упал как подкошенный лицом вниз.

Я не сразу опомнился после падения, и потому сначала от меня ускользнуло одно удивительное обстоятельство; очень быстро, однако ж еще до того, как я успел подняться, оно привлекло мое внимание. Дело в следующем: мой подбородок касался пола камеры, но губы и верхняя половина головы как бы повисли в воздухе, хотя, по-видимому, были опущены несколько ниже подбородка. В то же время лоб окутали какие-то холодные испарения, и специфический запах

гнили и плесени касался моих ноздрей. Я вытянул руку и с дрожью удостоверился, что упал на самом краю круглого колодца, глубину которого я, разумеется, никак не мог определить в ту минуту. Ощупывая стыки плит у самого колодца, я ухитрился отковырнуть маленький кусочек цемента и бросил его вниз, в бездну. Долгие секунды я слышал, как он гулко отскакивает от стен зиявшего передо мной провала; наконец сердитый всплеск воды и громкое эхо. И в тот же миг раздался какой-то звук, словно быстро распахнули и так же быстро захлопнули дверь у меня над головой, слабый луч света неожиданно прорезал мрак и так же неожиданно погас.

Теперь я понял, какая участь была мне уготована, и благословлял случай, который меня спас. Еще один шаг — и мир никогда больше не увидел бы меня. Смерть, только что пролетевшая мимо, словно вышла из тех самых рассказов об инквизиции, которые я считал неправдоподобными и вздорными. У жертв инквизиции не было иного выбора, кроме смерти в жесточайших телесных муках или той же смерти, но в самых страшных пытках нравственных. Меня, видимо, приберегали для последнего: долгие страдания до того ослабили мои нервы, что я трепетал от звука

собственного голоса, и вообще трудно было выбрать жертву более подходящую для той пытки, которая меня ожидала.

Дрожа всем телом, я отполз назад к стене, решив лучше умереть подле нее, чем подвергать себя риску провалиться в один из этих чудовищных колодцев: воображение уже рисовало их мне во множестве, по всей темнице. В ином состоянии духа я, вероятно, нашел бы в себе мужество броситься в пропасть и разом покончить со всеми своими бедствиями, — но теперь я был самым жалким из трусов. Вдобавок я не мог забыть того, что читал об этих колодцах: они предназначены для чего угодно, только не для того, чтобы обрывать нить жизни *мгновенно.*

Много часов подряд возбуждение не давало мне уснуть, но в конце концов я снова задремал. Проснувшись, я, как и в тот раз, нашел подле себя хлебец и воду. Меня томила жгучая жажда, и я залпом осушил кувшин. Должно быть, в воду подмешали какого-то зелья: не успел я допить до конца, как меня охватила неодолимая дремота. Я уснул глубоким сном — сном, похожим на могильный покой. Долго ли он тянулся, я, разумеется, не знаю; но, когда я снова открыл глаза, я увидел то, что меня окружало. При фантастиче-

ском, зеленовато-желтом освещении, источник которого я обнаружил не сразу, мне открылись размеры и устройство моей тюрьмы.

Оказалось, что я сильно ошибся: протяженность стен не превышала двадцати пяти ярдов. В течение нескольких минут это обстоятельство служило для меня источником немалой, но бессмысленной тревоги — вот уже поистине бессмысленной: ибо что могло иметь меньшее значение в этих страшных обстоятельствах, нежели размеры темницы? Но мой дух проникся неизъяснимым интересом к мелочам, и я погрузился в размышления, пытаясь объяснить ошибку в расчетах, которую я допустил. Наконец меня осенило. В первую половину обследования я насчитал пятьдесят два шага; в момент падения я был, вероятно, в одном или двух шагах от обрывка саржи, то есть почти закончил обход склепа. Потом я заснул, а проснувшись, по всей видимости, пошел в обратном направлении. Вот почему я и представил себе протяженность темницы почти вдвое большей, чем она была на самом деле. Смятение в мыслях помешало мне заметить, что стена, которая вначале была слева от меня, потом оказалась справа.

Заблуждался я и относительно очертаний своей

тюрьмы. Подвигаясь ощупью, я обнаружил множество углов, и отсюда пришел к заключению о чрезвычайной неправильности ее формы, — с такой силой воздействует полный мрак на человека, пробудившегося от летаргии или даже просто от крепкого сна. Углы оказались самыми обыкновенными впадинами, или нишами, расположенными на неодинаковом расстоянии одна от другой. В целом же камера была квадратная. То, что я принял за каменную кладку, теперь превратилось в огромные плиты из железа или какого-то другого металла, а швы или стыки между ними и образовали впадины. Поверхность металла была грубо размалевана всеми страшными и отталкивающими эмблемами, какие только могли подсказать монахам их суеверные представления о загробной жизни. Злые духи в виде скелетов с грозно занесенною рукой и другие, менее фантастические, но еще более страшные изображения покрывали и безобразили стены. Я заметил, что, хотя контуры этих страшилищ выступают отчетливо, краски, казалось, поблекли и расплылись — словно под действием влаги. Я увидел также, что пол подо мною каменный. В середине зияло круглое отверстие колодца, пасти которого мне удалось избегнуть; но других

колодцев, кроме этого, в моей темнице не было.

Все это я различал лишь смутно и с большим трудом, ибо мое собственное положение за время сна резко переменилось. Теперь я лежал на спине, вытянувшись во весь рост на чем-то вроде низкой деревянной скамейки, крепко привязанный к ней длинным ремнем, похожим на подпругу. Он многократно обвивал мое туловище и конечности, оставляя свободной голову, а также левую руку, — но лишь настолько, чтобы я после долгих усилий мог дотянуться до глиняной миски с едою, стоявшей подле на полу. К своему ужасу, я обнаружил, что кувшин унесли. Я говорю «к ужасу» — потому что меня томила нестерпимая жажда. Вероятно, в намерения моих мучителей входило распалить эту жажду еще сильнее, ибо в миске лежало приправленное пряностями мясо.

Подняв глаза, я увидел потолок моей тюрьмы. Он был в тридцати или сорока футах надо мной и выглядел примерно так же, как и стены. Необычайного вида фигура, написанная на одной из его плит, приковала мое внимание. Это была фигура Времени, каким его обычно изображают, только вместо косы оно держало в руках какой-то предмет, при беглом взгляде напомнивший мне длинный маятник, вроде тех, что мы видим на

старинных часах. Было, однако, в этом маятнике что-то такое, что заставило меня всмотреться в него повнимательнее. И, когда я пристально глядел прямо вверх (маятник находился как раз надо мною), мне вдруг почудилось, что он движется. В следующий миг это впечатление подтвердилось. Размахи маятника были короткие и очень медленные. Несколько минут я следил за ним со смутным чувством страха, но еще больше — изумления. Устав наконец наблюдать за этими однообразными движениями, я принялся смотреть по сторонам.

Легкий шум донесся до моих ушей, и, взглянув на пол, я увидел множество огромных крыс, бегавших от стены к стене. Они вылезали из колодца, который находился справа от меня, в поле моего зрения. Они появлялись целыми полчищами прямо у меня на глазах — поспешно, жадно, привлеченные запахом мяса. Мне стоило немалого труда удержать их на расстоянии от миски.

Прошло, пожалуй, полчаса, а может быть, и час (я мог судить о времени лишь очень приблизительно), прежде чем я снова поднял глаза к потолку. То, что я увидел, смутило и озадачило меня. Размахи маятника удлинились примерно на целый ярд. Вместе с тем и скорость стала гораз-

до больше. Но сильнее всего меня взволновала мысль о том, что маятник заметно *опустился.* Теперь я рассмотрел — надо ли говорить, с каким ужасом? — что нижняя его часть представляла собой сверкающий стальной полумесяц длиной с фут (от рога до рога); кончики рогов были обращены вверх, а лезвие казалось острым, как бритва. Выше, над лезвием, полумесяц утолщался — тоже как бритва — и был, по-видимому, массивным, тяжелым, несокрушимым. Он висел на толстом медном стержне и с громким *свистом* рассекал воздух.

Так вот, значит, какую смерть избрала для меня монашеская изобретательность в пытках! То, что я разгадал тайну колодца, стало известно инквизиторам, — *колодца,* ужасам которого обрекали дерзких, нераскаявшихся грешников вроде меня; *колодца,* который был, по слухам, прообразом ада — Ultima Thule[58] всех казней. Чистая случайность спасла меня от падения в этот колодец; а я знал, что неожиданность, внезапность были неотъемлемым спутником любой изощренной пытки в этих застенках. Но я оступился раньше, чем следовало, и это нарушило дьявольский план

---

[58] Сноски: 58
Здесь: последним пределом *(лат.).*

низвержения преступника в бездну, а потому (иного выхода не было) меня ожидала другая, более милосердная смерть. Милосердная! Я даже улыбнулся при мысли о таком применении такого слова.

Что пользы рассказывать о долгих, долгих часах более чем смертельного ужаса, в продолжение которых я непрерывно считал стремительные размахи стали. Дюйм за дюймом, линия за линией, удлиняясь так медленно, что, казалось, протекали века, пока это становилось заметным, — все ниже и ниже опускался маятник! Прошли дни, может быть, много дней — и вот он уже проносится так близко, что веет мне в лицо едким дыханием. Запах остро отточенной стали врывается в мои ноздри. Я молился, я непрестанно молил небеса ускорить его спуск. Обезумев, я рвался вверх, навстречу размахам чудовищного ятагана. А потом внезапно опускался на свою скамейку и лежал спокойно, улыбаясь сверкающей смерти, словно дитя — редкостной игрушке.

И снова — провал, глубочайшее забытье; оно было непродолжительным, ибо, вернувшись к жизни, я не заметил, чтобы маятник сколько-нибудь опустился. Но оно могло быть и долгим: ведь демоны инквизиции (я знал это наверное)

следили за мной и, заметив мой обморок, могли умышленно остановить маятник. Очнувшись, я почувствовал крайнюю — нет, больше! — невыразимую усталость и слабость, словно после долгого, изнурительного поста. Невзирая на все страдания, моя человеческая природа властно требовала пищи. С мучительным усилием я вытянул руку, насколько позволяли мои путы, и добрался до ничтожных объедков, оставленных мне крысами. И, когда я положил первый кусок в рот, в моем сознании сверкнуло какое-то подобие радости… надежды. *Я — и* надежда? Нет, невозможно, несовместно! Но я уже сказал, что это было одно из тех зыбких подобий, которые часто рождаются в человеческом сознании и гибнут в самом зародыше. Я ощущал радость и надежду, но я ощущал также, что они увяли, не распустившись. Напрасны были усилия углубить их… вернуть: долгие страдания лишили мой дух почти всей его силы, всех способностей. Я превратился в слабоумного, в идиота.

Мое тело лежало под прямым углом к плоскости размахов маятника. Я видел, что полумесяц должен рассечь мне грудь как раз там, где бьется сердце. Он продерет саржу моего халата, он будет уходить и возвращаться, уходить и возвра-

щаться, уходить и возвращаться — снова, снова и снова. Несмотря на ужасающую ширь его размахов (футов тридцать, а то и больше), на мощь его свистящего падения, достаточную, чтобы разрушить даже эти стены из железа, все же в течение нескольких минут он будет продирать мой халат — и только. На этой мысли я остановился. Я не дерзнул пойти дальше. Я держался за нее настойчиво и цепко, словно такая задержка способна была предотвратить *дальнейший* спуск стального лезвия. Я заставил себя думать о том, с каким звуком будет скользить полумесяц по платью, об особой дрожи, которую сообщает нервам трение одежды о тело. Я размышлял об этих пустяках до тех пор, пока не заскрипел зубами от отвращения.

Вниз — тихо и непреклонно маятник сползал вниз. Я находил какое-то исступленное удовольствие, сравнивая это движение вниз со скоростью его размахов. Вправо — влево — то удаляясь — то снова приближаясь — визжа, точно грешники в аду! Стопою тигра крадется он к моему сердцу! И я то хохотал, то выл — в зависимости от того, какие чувства брали верх.

Вниз, вниз — уверенно и безжалостно! Вот он уже проносится в трех дюймах от моей груди. Я

извивался в своих путах бешено, неистово, чтобы высвободить левую руку. Она была свободна лишь от локтя до кисти. С большим трудом я мог двигать ею в пространстве между глиняной миской рядом со скамьей и моим ртом, — но не дальше. Если бы мне удалось разорвать путы, стягивающие локоть, я бы попытался схватить маятник, остановить его! С таким же успехом мог бы я остановить лавину.

Вниз, вниз — все так же упорно, все так же неотвратимо! Я задыхался и корчился при каждом взмахе, пытаясь вдавить свое тело в скамью, когда он проносился надо мною. Мой взор следовал за взлетами и падениями маятника с упорством и бессмысленностью предельного отчаяния; видя его приближение, я всякий раз судорожно жмурился, хотя смерть была бы блаженным избавлением — о! несказанно блаженным! И все же каждый нерв во мне трепетал при мысли о том, какое ничтожное движение механизма обрушит этот острый сверкающий топор на мою грудь. То была *надежда:* слыша ее голос, трепетали нервы… скамейка точно уходила в пол… То была *надежда* — та самая надежда, которая торжествует победу даже на дыбе и даже в застенках инквизиции шепчет осужденному на смерть

слово утешения.

Я увидел, что еще десять-двенадцать взмахов, и сталь коснется моего платья; вместе с этим наблюдением ко мне пришла вся ясность, вся собранность, все спокойствие отчаяния. И впервые за много часов (а может быть, дней) я начал *думать*. Я вдруг сообразил, что подпруга или путы, которыми я обвит, — это цельный кусок. Я был связан *одним-единственным* ремнем. Первый же удар острого, как бритва, полумесяца, — при условии, что он заденет ремень, — рассек бы его, и я оказался бы в состоянии левой рукой распустить стягивающие меня витки. Но как ужасающе близко скользнет в этот миг сталь! Каким смертоносным может оказаться малейшее неверное движение! Да и мыслимое ли дело, чтобы подручные палача не предвидели, не предугадали такой возможности?! Есть ли хоть какая-нибудь вероятность, что ремень у меня на груди скрещивается с линией движения маятника? Страшась обмануться в моей слабой и, по-видимому, последней надежде, я приподнял голову настолько, чтобы получше разглядеть свою грудь. Тугие кольца «подпруги», охватывавшие мои конечности и туловище, шли во всех направлениях, — *но на пути губительного полумесяца их не было.*

Не успел я снова опустить голову, как вдруг меня осенило. Это была — я не могу описать ее иначе — зыбкая и бесформенная прежде половина того плана избавления, о котором я уже упоминал: другая его часть смутно проплыла в моем сознании, когда я подносил пищу к своим запекшимся губам. Теперь я держал в руках всю мысль полностью — пусть бледную, пусть едва ли здравую и не совсем отчетливую, но всю целиком, и тут же с лихорадочной энергией отчаяния приступил к ее исполнению.

Уже много часов пол вокруг низкой скамьи, на которой я лежал, буквально кишел крысами — хищными, наглыми, алчными: их красные глазки смотрели на меня пристально и свирепо, словно они были уверены, что добыча от них не уйдет, и только ждали, когда я перестану шевелиться. «Чем же они обычно питаются в этом подземелье?» — думал я.

Невзирая на все мои усилия их отогнать, они сожрали почти все, что было в миске, оставив лишь жалкие объедки. Я непрерывно размахивал рукою над миской, и в конце концов невольное однообразие этого движения лишило его всякой действенности. Прожорливые грызуны то и дело впивались мне в пальцы своими острыми

клыками. Уцелевшими кусочками жирного, остро приправленного кушанья я густо натер ремень повсюду, куда только смог дотянуться; потом перестал махать рукой и оцепенел, затаив дыхание.

В первую минуту маленькие хищники были озадачены и испуганы этой переменой — внезапной неподвижностью их жертвы. В тревоге они отпрянули, многие юркнули в колодец. Но это длилось лишь минуту. Мои расчеты на их прожорливость оправдались. Заметив, что я по-прежнему недвижим, две или три из числа самых отчаянных вспрыгнули на скамью и принялись обнюхивать «подпругу». Это послужило как бы сигналом к общему нападению. Из колодца хлынули новые орды крыс. Они карабкались по ножкам деревянной скамьи, взбирались на нее, сотнями бегали по моему телу. Размеренное движение маятника нимало их не беспокоило. Увертываясь от ударов, они занялись смазанным жиром ремнем. Они теснили и сталкивали друг друга, их полчище все росло и росло. Они копошились у меня на шее, их холодные губы тыкались в мои губы, я уже задыхался под их тяжестью; чудовищное отвращение, которому нет имени на земном языке, стиснуло мне грудь

и каким-то липким холодом заливало сердце. Но еще минута — и я понял, что дело идет к концу. Я отчетливо чувствовал, как ослабевают путы. Я знал, что в нескольких местах они уже, должно быть, разгрызены. И сверхчеловеческим усилием воли я заставил себя лежать *неподвижно.*

Я не ошибся в своих расчетах, и мое терпение не было тщетным! Наконец-то я почувствовал себя *свободным.* Обрывки ремня свисали на пол. Но маятник почти касался уже моей груди. Он рассек саржу халата, он разрезал белье; еще два размаха — и острая боль пронизала каждый мой нерв. Но миг спасения настал. Я шевельнул рукой, и мои избавители с шумом кинулись кто куда. Ровным движением — осторожно, медленно, вбок и назад — я выскользнул из тесных объятий ремня и стал недосягаем для кривого лезвия. Что бы ни случилось дальше, в этот миг я *был свободен.*

Свободен — и в когтях у инквизиции! Едва я поднялся со своего деревянного ложа — ложа ужаса! — и ступил на каменный пол темницы, как движение дьявольского механизма прекратилось, и какая-то невидимая сила подняла его вверх, через потолок. Это было уроком для меня, уроком, который наполнил мое сердце отчаянием. За каждым моим движением, несомненно,

следят. Свободен! Ха! Я избежал мучительной смерти в одном из ее обличий лишь для того, чтобы увидеть иное, еще более страшное, чем сама смерть. С этой мыслью я обвел беспокойным взглядом железные плиты, которые скрывали меня от мира. Что-то новое, какое-то явное изменение, — сначала я не мог сообразить, какое именно, — произошло в обличий камеры. Дрожа от возбуждения, теряясь в бессвязных догадках, я на несколько минут погрузился в странную мечтательную рассеянность. Тут я впервые отдал себе отчет в том, откуда исходит тот фосфорический свет, озаряющий мою тюрьму. Он лился сквозь щель шириною в полдюйма, которая опоясывала всю камеру у самого основания стен; таким образом, стены, по-видимому, не были соединены с полом. Я попытался выглянуть через эту щель, но, разумеется, безуспешно.

Когда вслед за этим я снова выпрямился, загадочные перемены, происходившие вокруг, стали мне вдруг понятны. Я уже говорил, что, хотя очертания фигур на стенах были довольно отчетливы, краски казались потускневшими, расплывшимися. Теперь эти краски засверкали, и с каждым мигом их пугающий блеск становился все ярче, что придавало дьявольским, призрач-

ным изображениям такой вид, который способен был привести в трепет и более крепкие нервы, нежели мои. Очи демонов, тысячи очей, с жуткою, чудовищной живостью пристально глядели на меня отовсюду, даже оттуда, где раньше не было видно ничего, и мерцали зловещим огнем, который мое воображение не в силах было представить себе нематериальным.

Нематериальным — как бы не так! До моих ноздрей уже доносилось дыхание раскаленного железа. Удушающие пары наполнили темницу. Все жарче разгорались глаза, неотступно следившие за моими страданиями. Все ярче становился багровый свет, заливавший кровавые фигуры на стенах. Я задыхался! Я судорожно ловил ртом воздух! Можно ли было еще сомневаться в намерениях моих палачей — о-о-о! самых безжалостных, самых неумолимых среди исчадий ада! Пятясь от раскаленного металла, я отступал к центру темницы. Среди дум об огненной гибели, которая меня ожидала, мысль о прохладе колодца пролилась на душу бальзамом. Я ринулся к его смертоносному краю. Я устремил свой истомившийся взор вниз. Сияние, исходившее от пламенеющей кровли, освещало самые укромные закоулки внутри колодца. И

все же в продолжение какого-то мига дух мой, словно помутившись, отказывался постигнуть значение того, что я увидел. Но в конце концов оно пробилось… силой проложило себе путь в сознание… ожогом врезалось в мой содрогающийся рассудок! О! Язык мне не повинуется… О! какой ужас… ужас, не сравнимый ни с чем на свете! С воплем я отпрянул назад и, спрятав лицо в ладони, зарыдал.

Жар быстро усиливался, и, трясясь, словно в приступе лихорадки, я снова поднял глаза. Опять перемены — на этот раз заметно переменилась *форма* темницы. Как и раньше, первая попытка правильно оценить или хотя бы понять, что творится вокруг, была безуспешной. Но растерянность и сомнения были недолги. Дважды ускользнув от смерти, я заставил инквизиторов поспешить с возмездием, повелитель ужасов не был более склонен терять время попусту. Прежде камера была квадратной. Теперь я увидел, что два ее железных угла сделались острыми, а два других — в согласии с этим — тупыми. Это страшное различие стремительно возрастало с каким-то глухим грохотом, а может быть, и стоном. В одно мгновение комната приняла форму ромба. Но движение стен не остановилось… и

сам я уже не надеялся, да и не хотел, чтобы оно остановилось. Поскорее бы сдавили мою грудь эти багровые плиты — риза вечного успокоения. «Смерть, — твердил я, — любая смерть, только не в колодце!» Глупец! Как это я сразу не догадался, что *именно в колодец* должно загнать меня раскаленное железо! Мог ли я выдержать жар этих стен? А если бы даже и мог — в силах ли я был не отступить перед их напором? А ромб делался все у же, у же — с быстротою, не оставлявшей времени для размышлений. Его центр и, следовательно, наиболее широкая его часть находилась в точности над зияющей пропастью. Я пятился назад, но сдвигающиеся стены с непреодолимой силой толкали меня вперед. В конце концов для моего опаленного, истерзанного тела не осталось и дюйма на твердом полу тюрьмы. Я больше не сопротивлялся, но предсмертные муки моей души излились в одном громком, долгом, последнем вопле отчаяния. Я чувствовал, что балансирую на самом краю… Я отвернул лицо…

И вдруг… Нестройный гул человеческих голосов! Громкий рев, словно взвыли тысячи труб! Резкий, скрипучий удар, словно грянули тысячи громов! Огненные стены отпрянули! Чья-то протянутая рука поймала мою руку в то самое

мгновение, когда я, теряя сознание, уже падал в бездну. То был генерал Ласаль. Французские войска вошли в Толедо. Инквизиция была в руках ее врагов.

Маска Красной Смерти[59]

Долгое время «Красная Смерть» опустошала страну. Никакой мор не был еще столь беспощаден или столь отвратителен. Кровь была ее знамением и ее печатью — алость и ужас крови. Острые боли, внезапное головокружение, — а затем кровь, что обильно хлынет сквозь поры, и гибель. Багровые пятна на теле и в особенности на лице были запретным знаком заразы, что лишал ее жертву помощи и сочувствия ближних. И первые спазмы, ход и завершение болезни были делом получаса.

Но принц Просперо был жизнерадостен, неустрашим и находчив. Когда народ в его владениях наполовину вымер, он призвал к себе тысячу здоровых и неунывающих друзей из числа рыцарей и дам своего двора и с ними удалился в одно из принадлежащих ему аббатств, построенное наподобие замка. То было просторное и великолепное здание, рожденное эксцентрическим, но царственным вкусом самого принца. Аббатство окружала крепкая и высокая стена с

---

[59] Сноски: 59

© Перевод. В. Рогов, наследник, 2016

железными воротами. Придворные, войдя, принесли кузнечные горны и увесистые молоты и заклепали болты изнутри. На случай нежданных порывов отчаяния или неистовства они решили не оставить никаких возможностей для входа или выхода. Аббатство было в обилии снабжено припасами. При таких мерах предосторожности придворные могли надеяться на спасение от мора. Внешний мир был предоставлен самому себе. А покамест предаваться скорби или размышлениям не имело смысла. Принц позаботился о развлечениях. Там были буффоны, там были импровизаторы, там были балетные танцовщики, там были музыканты, там была Красота, там было вино. Все это, с безопасностью в придачу, было внутри. Снаружи была Красная Смерть.

И к концу пятого или шестого месяца затворничества, когда мор свирепствовал с особою яростью, принц Просперо пригласил тысячу друзей на бал-маскарад, исполненный самого необычайного великолепия.

Он являл собою роскошное зрелище, этот маскарад. Но сперва дайте рассказать о комнатах, где он проходил. Их было семь, достойных императора. Однако во многих дворцах такие покои образуют длинную и прямую анфиладу, а створ-

чатые двери распахиваются почти до самых стен, поэтому мало что препятствует видеть все разом. Здесь же было совсем по-иному, как и следовало ожидать от любви герцога к bizarre[60]. Апартаменты располагались столь причудливо, что взор охватывал немногим более одного зараз. После каждых двадцати или тридцати ярдов был крутой поворот, а со всяким поворотом — новый эффект. Направо и налево, в середине каждой стены, вытягивалось высокое, узкое готическое окно, обращенное в закрытый коридор, что шел вдоль всех изгибов здания. Цвет оконных стекол менялся в соответствии с оттенком, преобладающим в убранстве залы. Самая восточная, например, была задрапирована голубым — и ярко-голубыми были ее окна. Украшения и гобелены второй залы были пурпурного цвета, и оконные стекла здесь были пурпурные. Третья была вся зеленая, и окна также. Четвертая была отделана и освещена оранжевым, пятая — белым, шестая — фиолетовым. Потолок и стены седьмой залы плотно обтягивал черный бархат, что ниспадал тяжкими складками на ковер того же материала и цвета. И лишь в этой зале окна не

[60] Сноски: 60
Странному, причудливому *(фр.).*

соответствовали убранству. Здесь их стекла были багровые — густого цвета крови. И ни в одной из зал, среди обилия разбросанных там и сям или свисающих с потолка золотых украшений, не горело ни одной лампы или люстры. Внутри помещения не было какого-либо света, исходящего от лампы или свечи. Но в коридорах снаружи под каждым окном стояло по тяжелому треножнику с жаровнею, что слала лучи сквозь цветное стекло и ярко освещала комнату. И так создавалось множество пестрых и фантастических эффектов. Но в западной, черной зале свет от жаровен, струящийся на темные драпировки сквозь стекла кровавого цвета, производил до крайности жуткое действие и придавал лицам вошедших столь безумное выражение, что немногим из числа гостей доставало смелости вообще ступить в ее пределы.

В этом покое и высились у западной стены гигантские эбеновые часы. Их маятник раскачивался с глухим, тяжелым, монотонным лязгом; и, когда минутная стрелка замыкала круг на циферблате, медное горло часов издавало звук — ясный, громкий, глубокий и чрезвычайно музыкальный, но такой странный и резкий, что по прошествии каждого часа музыкантам приходилось преры-

вать игру и внимать ему; и танцоры поневоле переставали кружиться в вальсе; и всею веселою компанией овладевало недолгое смущение; и, пока еще звенели куранты на часах, замечалось, что бледнеют и самые беззаботные, а более степенные и пожилые проводят рукою по лбу, как бы погружаясь в хаос мыслей и раздумий. Но когда отзвуки замирали, то сборище вмиг пронизывал бездумный смех; музыканты с улыбками переглядывались, как бы дивясь собственному неразумию и нервозности, и шепотом обещали друг другу, что часы, пробив в следующий раз, не возбудят в них никаких подобных чувств; а по прошествии шестидесяти минут (что заключает три тысячи шестьсот секунд быстролетного Времени) вновь били часы, рождая то же смущение, трепет и думы, что и прежде.

Но, несмотря на это, шло веселое и великолепное празднество. Вкусы герцога отличались необычностью. Он обладал тонким чувством цвета и способностью создавать эффекты. Модой ради моды он пренебрегал. Его планы отличались смелостью и размахом, и замыслы были отмечены варварским блеском. Иные сочли бы его помешанным. Его приближенные чувствовали, что это не так. Но надо было находиться рядом с

принцем, видеть и слушать его, дабы *увериться,* что это не так.

Все семь покоев для этого пышного праздника были убраны в значительной мере под его наблюдением, а маски и костюмы создавались по прихоти его вкуса. Не сомневайтесь в их гротескности. Там было много блеска, мишуры, остроты и фантасмагоричности — немало от того, что впоследствии увидели в «Эрнани». Там были фигуры, напоминающие арабески несоразмерными конечностями и несуразными украшениями. Там было многое, что казалось порожденным бредовыми видениями сумасшедшего. Там было много красивого, много разнузданного, много bizarre, кое-что ужасное и немало способного возбудить отвращение. В семи покоях толпился рой сновидений. И они вились то здесь, то там, принимая цвет комнат, и звуки оркестра казались эхом их шагов. И вот бьют эбеновые часы в бархатной зале. И тогда все на миг замирает, и ничего не слышно, кроме голоса часов. Рой сновидений застыл на месте. Но смолкают куранты — лишь мгновение они звучали — и бездумный, немного сдавленный смех воспаряет вослед улетающему звону. И вновь растекается музыка, оживает рой сновидений, вьется то здесь, то там, еще веселее

прежнего, принимая окраску разноцветных окон, сквозь которые струятся лучи от жаровен. Но в самую западную из зал теперь не направляется ни одна маска; ибо ночь убывает; и сквозь стекла кровавого цвета струится еще более алое сияние; и смоляная чернота драпировок гнетет; и тому, чья стопа касается смоляного ковра, слышится в эбеновых часах глухой звон, исполненный еще более мрачного смысла, нежели доходящий до тех, кто предается веселью в более отдаленных покоях.

Но другие покои были тесно запружены масками, и в них лихорадочно бился пульс жизни. И веселье клокотало, пока часы, наконец, не начали бить полночь. И тогда, как я уже говорил, музыка прервалась; и танцоры перестали кружиться в вальсе; и, как прежде, все смущенно замерло. Но теперь часы должны были пробить двенадцать ударов; и, быть может, случилось так, что чем больше проходило времени, тем больше дум проносилось в головах гостей, склонных к размышлениям. И, быть может, случилось и так, что до того, как совсем умолкли отзвуки последнего удара часов, многие в толпе почувствовали присутствие фигуры в маске, ранее ни единым из них не замеченной. И, когда шепотом распростра-

нилась повсюду весть о пришельце, постепенно среди всех собравшихся поднялся гул, ропот, выражающий неудовольствие, недоумение — а там, наконец, испуг, ужас и гадливость.

В сборище, столь фантастическом, как изображенное мною, никакое заурядное обличье, разумеется, не могло бы произвести подобного действия. Говоря по правде, маскарадные вольности в ту ночь были почти неограничены; но все же новый гость переиродил Ирода и перешел даже границы неопределенных понятий принца о декоруме. Есть струны в сердце самого легкомысленного, кои нельзя тронуть, не возбуждая волнения. Даже у самого потерянного, кому и жизнь и смерть — одинаково шутки, найдется нечто, над чем шутить нельзя. И теперь каждый из присутствующих вполне постиг, что в костюме и манерах неизвестного нет ни остроумия, ни пристойности. Он был высок и тощ и с головы до ног окутан саваном. Маска, скрывавшая его лицо, так походила на облик окоченелого мертвеца, что и самый пристальный взгляд с трудом заподозрил бы обман. И все же это могло бы сойти ему с рук, если даже не встретить одобрение предававшихся буйному веселью. Но он зашел чересчур далеко и принял обличье Красной Смер-

ти. Его одеяние было забрызгано *кровью* — и его широкий лоб, да и все лицо покрывали ужасные багровые капли.

Когда взгляд принца Просперо упал на эту призрачную фигуру (которая медленно и торжественно, как бы пытаясь полнее выдержать роль, расхаживала взад и вперед среди вальсирующих), то в первый миг его передернуло, то ли от ужаса, то ли от омерзения; он тотчас же покраснел от ярости.

«Кто смеет, — хрипло спросил он у стоявших рядом придворных, — кто смеет оскорблять нас этой кощунственной насмешкой? Схватить его и сорвать маску — дабы мы знали, кого придется с восходом повесить на парапете!»

В голубой, или восточной, зале стоял принц Просперо, когда говорил эти слова. Они прозвенели по всем комнатам громко и отчетливо, ибо принц был вспыльчив и силен, а музыка смолкла по мановению его руки.

В голубой комнате стоял принц, окруженный кучкою бледных придворных. Сначала, как только он заговорил, они слегка подались в сторону незваного гостя, который в ту пору также находился неподалеку и теперь уверенным и величественным шагом приблизился к говоря-

щему. Но некий ужас, коему нет имени, охватил всех от безумной заносчивости ряженого, и никто не протянул руку, дабы схватить его; так что он беспрепятственно прошел на расстоянии ярда от особы принца; и, пока многолюдное сборище, как бы в едином порыве, отшатнулось к стенам, он, никем не задержанный, все тем же торжественным и размеренным шагом прошествовал через голубую комнату в пурпурную — через пурпурную в зеленую — через зеленую в оранжевую — оттуда же в белую — а там и в фиолетовую, и никто не предпринял решительной попытки задержать его. Но тогда принц Просперо, разъярясь от гнева и стыда за свою недолгую трусость, вихрем промчался через шесть покоев, и никто не последовал за ним, ибо всех сковал смертельный ужас. Он занес обнаженный кинжал и приблизился, стремительно и грозно, на три или четыре фута к удаляющейся фигуре, когда та, дойдя до конца бархатной залы, внезапно повернулась лицом к преследователю. Раздался пронзительный крик — и кинжал, сверкая, упал на смоляной ковер, где через мгновение, мертвый, распростерся принц Просперо. И тогда, призвав исступленную отвагу отчаяния, гости, как один, ринулись в черную залу к маске, чья высокая, прямая фигура

застыла в тени эбеновых часов, — и у них перехватило дух от невыразимого ужаса, когда они обнаружили, что под зловещими одеяниями и трупообразною личиною, в которые они свирепо и грубо вцепились, нет ничего осязаемого.

И стало понятно, что пришла Красная Смерть. Она явилась, яко тать в нощи. И один за другим падали гости в забрызганных кровью залах веселья и умирали, каждый в том исполненном отчаяния положении, в каком упал. И жизнь эбеновых часов кончилась вместе с жизнью последнего из веселившихся. И огни треножников погасли. И Тьма, и Тлен, и Красная Смерть обрели безграничную власть надо всем.

1842

Тайна Мари Роже[61] (Дополнение к «Убийству на улице Морг»)

Параллельно с реальными событиями существует идеальная их последовательность. Они редко полностью совпадают. Люди и обстоятельства обычно изменяют идеальную цепь событий, а потому она кажется несовершенной, и следствия ее равно несовершенны. Так было с Реформацией – взамен протестантства явилось лютеранство.

Новалис. Взгляд на мораль

---

[61] Сноски: 61

© Перевод. И. Гурова, наследники, 2002

«Мари Роже» впервые была опубликована без примечаний, поскольку тогда они казались излишними; однако со времени трагедии, которая легла в основу этой истории, прошли годы, а потому появилась нужда и в примечаниях, и в небольшом вступлении, объясняющем суть дела. В окрестностях Нью-Йорка была убита молодая девушка Мэри Сесилия Роджерс, и хотя это убийство вызвало большое волнение и очень долго оставалось в центре внимания публики, его тайна еще не была раскрыта в тот момент, когда был написан и опубликован настоящий рассказ (в ноябре 1842 г.).

Автор, якобы описывая судьбу французской гризетки, на самом деле точно и со всеми подробностями воспроизвел основные факты убийства Мэри Роджерс, ограничиваясь параллелизмами в менее существенных деталях.

«Тайна Мари Роже» писалась вдали от сцены зверского убийства, и, расследуя его, автор мог пользоваться только сведениями, опубликованными в газетах. В результате от него ускользнуло многое из того, чем он мог бы воспользоваться, если бы лично побывал на месте происшествия. Тем не менее будет, пожалуй, нелишним указать, что признания двух лиц (одно из них выведено в рассказе под именем мадам Дюлюк), сделанные независимо друг от друга и много времени спустя после опубликования рассказа, полностью подтвердили не только общий вывод, но и абсолютно все основные предположения, на которых был этот вывод построен. — *Примеч. авт.*

Мало какому даже самому рассудочному человеку не случалось порой со смутным волнением почти уверовать в сверхъестественное, столкнувшись с совпадением на столько поразительным, что разум отказывается признать его всего лишь игрой случая. Подобные ощущения (ибо смутная вера, о которой я говорю, никогда полностью не претворяется в мысль) редко удается до конца подавить иначе, как прибегнув к доктрине случайности или — воспользуемся специальным ее наименованием — к теории вероятности. Теория же эта является по самой своей сути чисто математической; и, таким образом, возникает парадокс — наиболее строгое и точное из всего, что дает нам наука, прилагается к теням и призракам наиболее неуловимого в области мысленных предположений.

Невероятные подробности, которые я призван теперь сделать достоянием гласности, будучи взяты в хронологической их последовательности, складываются в первую ветвь необычайных совпадений, а во второй и заключительной их ветви все читатели, несомненно, узнают недавнее убийство в Нью-Йорке Мэри Сесилии Роджерс.

...Когда в статье, озаглавленной «Убийство на улице Морг», я год назад попытался описать

некоторые примечательные особенности мышления моего друга шевалье С.-Огюста Дюпена, мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь вновь вернусь к этой теме. Именно это описание было моей целью, и она нашла свое полное осуществление в рассказе о прихотливой цепи происшествий, которые позволили раскрыться особому таланту Дюпена. Я мог бы привести и другие примеры, но они не доказали бы ничего, кроме уже доказанного. Однако удивительный поворот недавних событий нежданно открыл мне новые подробности, которые облекаются в подобие вынужденной исповеди. После того, что мне довелось услышать совсем недавно, было бы странно, если бы я продолжал хранить молчание относительно того, что я слышал и видел задолго перед этим.

Раскрыв тайну трагической гибели мадам Л'Эспанэ и ее дочери, шевалье тотчас выбросил все это дело из головы и возвратился к привычным меланхолическим раздумьям. Его настроение вполне отвечало моему неизменному тяготению к отрешенности, и, как прежде замкнувшись в нашем тихом приюте в предместье Сен-Жермен, мы оставили Будущее на волю судьбы и предались безмятежному спокойствию Настоящего,

творя грезы из окружающего нас скучного мира.

Но эти грезы время от времени нарушались. Нетрудно догадаться, что роль моего друга в драме, разыгравшейся на улице Морг, не могла не произвести значительного впечатления на парижскую полицию. У ее агентов имя Дюпена превратилось в присловье. Того простого хода рассуждений, который помог ему раскрыть тайну, он, кроме меня, не сообщил никому — даже префекту, — а потому неудивительно, что непосвященным эта история представлялась истинным чудом, и аналитический талант шевалье принес ему славу провидца. Если бы он отвечал на любопытные расспросы с достаточной откровенностью, это заблуждение скоро рассеялось бы, но душевная леность делала для него невозможным какое бы то ни было возвращение к теме, которая давно уже перестала интересовать его самого. Вот почему взгляды полицейских постоянно устремлялись к нему и префектура вновь и вновь пыталась прибегнуть к его услугам. Одна из наиболее примечательных таких попыток была вызвана убийством молоденькой девушки по имени Мари Роже.

Это случилось года через два после жуткого события на улице Морг. Мари (поразительное

совпадение ее имени и фамилии с именем и фамилией злополучной продавщицы сигар сразу бросается в глаза) была единственной дочерью вдовы Эстеллы Роже. Ее отец умер, когда она была еще младенцем, и вплоть до последних полутора лет перед убийством, о котором пойдет речь в этом повествовании, мать и дочь жили вместе на улице Паве-Сент-Андре[62]. Мадам Роже содержала пансион, а Мари ей помогала. Так продолжалось до тех пор, пока Мари не исполнилось двадцать два года, — а тогда ее редкая красота привлекла внимание парфюмера, снимавшего лавку в нижнем этаже Пале-Рояля и числившего среди своих клиентов почти одних только отчаянных искателей легкой наживы, которыми кишит этот квартал. Мосье Леблан[63] отлично понимал, что присутствие красавицы Мари в его лавке может принести ему немалые выгоды, и его щедрые посулы сразу же прельстили девушку, хотя ее маменька выказала гораздо больше нерешительности.

Надежды парфюмера вполне сбылись, и его заведение благодаря чарам бойкой гризетки скоро

---

[62] Сноски: 62
Нассау-стрит.

[63] Сноски: 63
Андерсон.

приобрело значительную популярность. Мари уже служила у мосье Леблана около года, когда она внезапно исчезла из его лавки, повергнув своих поклонников в большое смятение. Мосье Леблан не знал, чем объяснить ее отсутствие, а мадам Роже была вне себя от тревоги и страшных опасений. Происшествие попало в газеты, и полиция уже собиралась начать серьезное расследование, как вдруг в одно прекрасное утро ровно через неделю Мари вновь появилась на своем обычном месте за прилавком, живая и здоровая, хотя как будто и погрустневшая. Официальное расследование было, конечно, немедленно прекращено, а на все расспросы мосье Леблан по-прежнему отговаривался полным неведением, мадам же Роже и Мари отвечали, что прошлую неделю она гостила у родственницы в деревне. На том дело и кончилось, а затем и вовсе изгладилось из памяти публики, тем более что девушка, желая, по-видимому, избежать назойливого внимания любопытных, вскоре навсегда покинула парфюмера и вернулась в материнский дом на улице Паве-Сент-Андре.

Примерно через три года после возвращения Мари к матери ее друзья были встревожены новым внезапным исчезновением девушки. Три

дня о ней ничего не было известно. На четвертый день ее труп обнаружили в Сене[64] — у берега, противоположного тому, на котором находится квартал Сент-Андре, в пустынных окрестностях заставы Дюруль[65].

Столь зверское убийство (в том, что это — убийство, никаких сомнений быть не могло), молодость и красота жертвы, а главное, ее недавняя известность пробудили живейший интерес падких до сенсации парижан. Я не припомню никакого другого происшествия, которое вызвало бы столь всеобщее и сильное волнение. В течение нескольких недель эта тема была злобой дня, заслонившей даже важнейшие политические события. Префект усердствовал больше обыкновенного, и парижская полиция, разумеется, совсем сбилась с ног.

Когда труп нашли, все были убеждены, что немедленно предпринятые поиски убийцы увенчаются самым скорым результатом. И только через неделю наконец сочли нужным предложить награду за его поимку, но даже и тогда

---

[64] Сноски: 64
Гудзон.

[65] Сноски: 65
Уихокен.

сумма была ограничена всего лишь тысячью франков. Следствие тем временем велось весьма энергично, если не всегда разумно, очень много разных людей подверглось ни к чему не приведшим допросам, и отсутствие даже самых слабых намеков на разгадку тайны все больше и больше подогревало интерес к ней. На десятый день пришлось удвоить обещанную награду, а когда по истечении второй недели дело не сдвинулось с места и недовольство полицией, никогда не угасающее в Париже, успело несколько раз привести к уличным беспорядкам, префект лично предложил награду в двадцать тысяч франков «за изобличение убийцы» или же, если бы участников преступления оказалось несколько, «за изобличение кого-либо из убийц». В объявлении об этой награде, кроме того, содержалось обещание полного помилования любому сообщнику, который донес бы на своих соучастников; и к нему, где бы оно ни вывешивалось, присовокуплялось объявление комитета частных граждан, обещавшего добавить десять тысяч франков к сумме, назначенной префектом. Таким образом, в целом награда составляла тридцать тысяч франков: сумма неслыханная, если вспомнить более чем скромное положение девушки и то

обстоятельство, что в больших городах подобные возмутительные преступления — отнюдь не редкость.

Теперь уже никто не сомневался, что тайна этого убийства будет немедленно раскрыта. И правда, были произведены два-три ареста, однако никаких улик против подозреваемых обнаружить не удалось и их пришлось тут же освободить.

Как ни удивительно, мы с Дюпеном впервые услышали об этом событии, столь взволновавшем общественное мнение, только когда миновала третья неделя после обнаружения трупа — неделя, также не бросившая никакого света на происшедшее. Мы были всецело поглощены одним исследованием и более месяца не выходили из дома, не принимали посетителей и едва проглядывали политические статьи в ежедневно доставлявшейся нам газете. И первое известие об убийстве Мари Роже нам принес сам Г. Он зашел к нам днем 13 июля 18… года и просидел у нас до поздней ночи. Ему было крайне досадно, что все его усилия разыскать убийц ни к чему не привели. На карту поставлена, заявил он с чисто парижским жестом, его репутация. Более того — его честь! К нему прикованы глаза

всего общества, и нет жертвы, которую он не принес бы ради раскрытия тайны. Свою несколько витиеватую речь он заключил комплиментом касательно того, что соизволил назвать «тактом» Дюпена, и обратился к моему другу с прямым и, бесспорно, щедрым предложением, о котором я не считаю себя вправе сообщить что-либо, но которое не имеет ни малейшего отношения к непосредственной теме моего повествования.

Комплимент мой друг по мере сил отклонил, но на предложение тотчас согласился, хотя его выгоды оставались пока условными. Покончив с этим, префект немедленно принялся излагать свою собственную точку зрения, уснащая объяснение многочисленными рассуждениями, касавшимися обстоятельств дела, о которых мы еще ничего не знали. Он говорил долго, проявляя, без сомнения, немалую осведомленность, я иногда осмеливался высказать скромное предположение, а дремотные часы ночи проходили один за другим. Дюпен неподвижно сидел в своем кресле, как истое воплощение почтительного внимания. На нем были очки, и, исподтишка заглядывая под их зеленые стекла, я вновь и вновь убеждался, что мой друг крепко спит, — ничем себя не выдав, он так и проспал все семь свинцо-

во-медлительных часов, по истечении которых префект наконец удалился.

Утром я получил в префектуре полное изложение всех собранных фактов, а в газетных редакциях — экземпляры всех газет, в которых были опубликованы какие бы то ни было сведения об этой трагедии. Очищенная от всех безусловно опровергнутых выдумок, история выглядела следующим образом.

Мари Роже вышла из дома своей матери на улице Паве-Сент-Андре около девяти часов утра в воскресенье 22 июня 18… года. Уходя, она сообщила некоему мосье Жаку Сент-Эсташу[66] — и только ему, — что намерена провести день у своей тетки, которая живет на улице Дром. Узенькая, короткая, но оживленная улица Дром находится неподалеку от берега Сены, и от пансиона мадам Роже ее отделяют две с лишним мили, даже если идти кратчайшим путем. Сент-Эсташ был официальным женихом Мари и не только столовался, но и жил в пансионе. Он должен был зайти за своей невестой под вечер и проводить ее домой. Однако во второй половине дня полил сильный дождь, и, полагая, что Мари предпочтет перено-

---

[66] Сноски: 66
Пейн.

чевать у тетки (как она уже не раз делала при подобных обстоятельствах), он не счел нужным сдержать свое обещание. Вечером мадам Роже (больная семидесятилетняя старуха) выразила опасение, что она «уже больше никогда не увидит Мари», но тогда никто не обратил на ее слова особого внимания.

В понедельник выяснилось, что Мари вообще не заходила к тетке, и когда к вечеру она не вернулась, ее с большим запозданием принялись искать в тех местах города и окрестностей, где она могла бы оказаться. Однако узнать о ней что-то определенное удалось только на четвертый день с момента ее исчезновения. В этот день (в среду 25 июня) некий мосье Бове[67], который вместе с приятелем наводил справки о Мари в окрестностях заставы Дюруль на противоположном берегу Сены, услышал, что рыбаки только что доставили на берег труп, который плыл по реке. Увидев тело, Бове после некоторых колебаний опознал бывшую продавщицу из парфюмерной лавки. Его приятель опознал ее сразу же.

Лицо мертвой было налито темной кровью, которая сочилась изо рта. Пены, какая бывает у

---

[67] Сноски: 67
Кроммелин.

обыкновенных утопленников, заметно не было. На горле виднелись синяки и следы пальцев. Согнутые в локтях и скрещенные на груди руки окостенели. Пальцы правой были сжаты в кулак, пальцы левой полусогнуты. На левой кисти имелись два кольцевых рубца, как будто оставленные веревками или одной веревкой, но обвитой вокруг руки несколько раз. На правой кисти имелись ссадины, так же как и на всей спине — особенно в области лопаток. Чтобы доставить труп на берег, рыбаки захлестнули его веревкой, но она никаких рубцов не оставила. Шея была сильно вздута. На теле не было заметно ни порезов, ни синяков, причиненных ударами. Шея была перехвачена обрывком кружев, затянутым так туго, что складки кожи совершенно скрывали его от взгляда. Он был завязан узлом, находившимся под левым ухом. Одного этого было достаточно, чтобы вызвать смерть. Протокол медицинского осмотра не оставлял ни малейших сомнений в целомудрии покойной. Она, указывалось в нем, подверглась грубому насилию. Состояние трупа в момент его обнаружения позволяло легко опознать его.

Одежда была сильно изорвана и приведена в полнейший беспорядок. Из верхней юбки от

подола к талии была вырвана полоса дюймов в двенадцать шириной, но не оторвана совсем, а трижды обвернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом. Вторая юбка была из тонкого муслина, и от нее была оторвана полоса шириной дюймов в восемнадцать — оторвана полностью и очень аккуратно. Эта полоса муслина была свободно обвернута вокруг шеи и завязана неподвижным узлом. Поверх этой муслиновой полосы и обрывка кружев проходили ленты шляпки. Эти ленты были завязаны не бантом, как их завязывают женщины, а морским узлом.

После опознания труп против обыкновения не был увезен в морг (это сочли излишней формальностью), а поспешно погребен неподалеку от того места, где его вытащили на берег. Благодаря усилиям Бове дело, насколько это было возможно, замяли, и прошло несколько дней, прежде чем оно привлекло внимание публики. Затем, однако, им занялась еженедельная газета[68], труп был эксгумирован и вновь подвергнут осмотру, но ничего, помимо вышеописанного, обнаружено не было. Правда, на этот раз платье, шляпку и

[68] Сноски: 68
Нью-йоркская «Меркюри».

прочее предъявили матери и знакомым покойной, и они без колебаний опознали в них одежду, в которой девушка ушла из дома в то утро.

Тем временем возбуждение публики росло с каждым часом. Несколько человек было арестовано, но отпущено. Главное подозрение падало на Сент-Эсташа, и вначале он не сумел достаточно убедительно объяснить, как он провел роковое воскресенье. Однако вскоре он представил мосье Г. в письменном виде точные сведения о том, где и когда он был в этот день, подкрепленные надежными свидетельскими показаниями. По мере того как дни проходили, не принося никаких новых открытий, по городу начали распространяться тысячи противоречивых слухов, а журналисты принялись строить всевозможные догадки и предположения. Среди этих последних наибольший интерес вызвало утверждение, будто Мари Роже жива, а из Сены был извлечен труп какой-то другой несчастной девушки. Я считаю своим долгом познакомить читателя с отрывками из статьи, содержавшей вышеуказанное предположение и опубликованной в «Этуаль»[69] — газете достаточно солидной.

---

[69] Сноски: 69
Нью-йоркская «Бразер Джонатан».

«Мадемуазель Роже ушла из материнского дома утром в воскресенье 22 июня 18… года, объявив, что намерена навестить тетку или какую-то другую родственницу, проживающую на улице Дром. С этого момента, насколько удалось установить, ее никто не видел. Она исчезла бесследно, и ее судьба остается неизвестной… До сих пор не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее в тот день после того, как за ней закрылась дверь материнского дома… Итак, хотя мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после девяти часов утра воскресенья 22 июня, у нас есть неопровержимые доказательства, что до этого часа она была жива и здорова. В среду в двенадцать часов дня в Сене у заставы Дюруль был обнаружен женский труп. Это произошло — даже если предположить, что Мари Роже бросили в реку не позже чем через три часа после того, как она ушла из дому, — всего лишь через трое суток после ее ухода, через трое суток час в час. Однако было бы чистейшей нелепостью считать, будто убийство (если она действительно была убита) могло совершиться настолько быстро после ее ухода, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи. Те, кто творит столь гнусные преступления, предпочитают ночной

мрак свету дня… Другими словами, если тело, найденное в реке, это действительно тело Мари Роже, оно могло пробыть в воде не более двух с половиной или — с большой натяжкой — ровно трех суток. Как показывает весь прошлый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в реку вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее чем через шесть — десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды. Итак, мы должны задать себе вопрос, что в этом случае вызвало отклонение от обычных законов природы?…Если же изуродованное тело пролежало на берегу до ночи со вторника на среду, в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц. Кроме того, представляется сомнительным, чтобы труп всплыл так скоро, даже если его бросили в реку через два дня после убийства. И далее, весьма маловероятно, чтобы злодеи, совершившие убийство, вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно какого-нибудь груза, когда принять подобную

предосторожность не составило бы ни малейшего труда».

...По мнению автора статьи, этот труп должен был пробыть в воде «не каких-то трое суток, а впятеро дольше», поскольку разложение зашло так далеко, что Бове не сразу его опознал. Однако этот довод был полностью опровергнут. Затем в статье говорилось:

«Так каковы же факты, ссылаясь на которые мосье Бове утверждает, будто убитая — без сомнения, Мари Роже? Он разорвал рукав платья убитой и теперь заявляет, что видел особые приметы, вполне его удовлетворившие. Широкой публике, конечно, представляется, что под этими особыми приметами подразумеваются шрамы или родинки. На самом же деле он потер руку и обнаружил волоски! На наш взгляд, трудно найти менее определенную примету, и убедительна она не более, чем ссылка на то, что в рукаве обнаружилась рука! В этот вечер мосье Бове не вернулся в пансион, а в семь часов послал мадам Роже известие, что расследование касательно ее дочери все еще продолжается. Если даже допустить, что преклонный возраст и горе мадам Роже не позволяли ей самой побывать там (а допустить это очень нелегко!), то, несомненно, должен был най-

тись кто-то, кто счел бы необходимым поспешить туда и принять участие в расследовании, если они были уверены, что это действительно тело Мари. Но никто туда не отправился. Обитателям дома на улице Паве-Сент-Андре вообще ничего не было сказано, и они даже не слышали о том, что произошло. Мосье Сент-Эсташ, поклонник и жених Мари, живший в пансионе ее матери, показал под присягой, что про обнаружение тела своей нареченной он узнал только на следующее утро, когда к нему в спальню вошел мосье Бове и рассказал ему о событиях прошлого вечера. Нам кажется, что, учитывая характер новости, она была принята весьма спокойно и хладнокровно».

…Вот так газета стремилась создать впечатление, что близкие Мари оставались равнодушными и бездеятельными — картина, несовместимая с предположением, будто они верили, что найден действительно ее труп. Эти инсинуации вкратце сводились к следующему: Мари при пособничестве своих друзей покинула город по причинам, бросающим тень на ее добродетель, и когда из Сены был извлечен труп, имевший некоторое сходство с исчезнувшей девушкой, указанные друзья воспользовались этим, чтобы внушить всем мысль, будто она мертва. Однако

«Этуаль» опять излишне поторопилась. Выяснилось, что равнодушие и бездеятельность целиком относятся к области вымыслов, что старушка действительно была очень слаба и волнение лишило ее последних сил, что Сент-Эсташ не только не выслушал это известие с полным хладнокровием, но совсем обезумел от горя, и мосье Бове, увидя его отчаяние, убедил кого-то из его родственников остаться с ним и помешать ему отправиться на эксгумацию. Более того, хотя «Этуаль» объявила, что труп был вторично погребен на общественный счет, что близкие Мари Роже наотрез отказались оплатить даже очень дешевые похороны и что никто из них не присутствовал на церемонии, — хотя, повторяю, «Этуаль» утверждала все это для подкрепления впечатления, которое она стремилась создать у своих читателей, каждое из перечисленных утверждений было решительным образом опровергнуто. В одном из последующих номеров этой газеты была предпринята попытка бросить подозрение на самого Бове. Редактор в своей статье заявил:

«И вот все изменяется. Нам сообщают, что однажды, когда в доме мадам Роже находилась мадам Б., мосье Бове, собиравшийся уходить, сообщил

ей, что они ждут жандарма и что она, мадам Б., не должна ничего говорить жандарму до его возвращения, а предоставить все объяснения ему… В настоящий момент, насколько можно заключить, мосье Бове хранит в своей голове все обстоятельства дела. Без мосье Бове буквально нельзя и шагу ступить, ибо, куда ни поворачиваешь, обязательно натыкаешься на него… По какой-то причине он твердо решил не позволять никому другому принимать участие в расследовании и, как утверждают родственники мужского пола, он оттер их в сторону самым странным образом. Он, как кажется, всячески старался воспрепятствовать тому, чтобы родственники увидели труп».

Нижеследующий факт как будто подтверждает подозрения, брошенные на Бове этой статьей. За несколько дней до исчезновения девушки какой-то посетитель, оставшись один в конторе Бове, заметил в замочной скважине розу, а на висевшей поблизости грифельной доске было написано «Мари».

Общее мнение, однако, насколько мы могли судить по газетам, склонялось к тому, что Мари стала жертвой шайки бандитов, которые увезли ее на тот берег реки, надругались над

ней и убили. Однако «Коммерсьель»[70], газета весьма влиятельная, всячески оспаривала это предположение. Я приведу несколько абзацев с ее страниц.

«Мы убеждены, что следствие все это время в той мере, в какой оно занималось заставой Дюруль, шло по ложному следу. Невозможно предположить, чтобы кто-нибудь, столь известный публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала, а увидевшие ее люди не забыли бы об этом, так как ею интересовались все, кому она была известна. И вышла она из дома в час, когда улицы были полны народа… Прежде чем она достигла бы заставы Дюруль или улицы Дром, ее неизбежно узнали бы два десятка прохожих, и все же не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее после ухода из дому, и кроме сообщения о выраженных ею намерениях, мы не располагаем никакими доказательствами того, что она действительно покинула материнский дом именно тогда. Ее платье было разорвано, полоса материи была обмотана вокруг ее тела и завязана так, что труп можно было нести, точно узел. Если убийство

---

[70] Сноски: 70
Нью-йоркская «Джорнел оф коммерс».

произошло возле заставы Дюруль, не было бы никаких причин проделывать все это. То обстоятельство, что тело было обнаружено в реке неподалеку от заставы, вовсе не показывает, где именно оно было брошено в воду... От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут, и из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками».

Однако за день-два до появления у нас префекта полиция получила важные сведения, которые, по-видимому, опровергли большую часть рассуждений «Коммерсьель». Два мальчика, сыновья некоей мадам Дюлюк, гуляя в лесу неподалеку от заставы Дюруль, обнаружили в густом кустарнике сооруженное из трех-четырех больших камней сиденье со спинкой и приступкой для ног. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф. Поблизости были затем найдены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была вышита метка «Мари Роже». На ветвях колючих кустов висели лоскутки материи. Земля была утоптана, кусты

поломаны — все там свидетельствовало об отчаянной борьбе. Далее, в изгородях, находящихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве показывали, что тут волочили что-то тяжелое.

Еженедельник «Солей»[71], повторяя мнение всей парижской прессы, оценил эти находки следующим образом:

«Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее трех-четырех недель; под действием дождя они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг выросла трава, а кое-где стебли проросли и сквозь них. Шелк на зонтике был толстым, но складки его склеились, а верхняя сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что, когда его раскрыли, он весь расползся… Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно три дюйма, а в длину — шесть. Один оказался куском нижней оборки со штопкой, а другой был вырван из юбки гораздо выше оборки. Они выглядели так, словно были оторваны, и висели на терновнике в футе над землей… Не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец

[71] Сноски: 71
Филадельфийская «Сатердей ивнинг пост».

найдено».

Это открытие помогло получить новые сведения. Мадам Дюлюк показала, что она содержит небольшой трактир на берегу Сены неподалеку от заставы Дюруль. Места вокруг пустынные, можно даже сказать — глухие. Добраться туда от Парижа можно только на лодке. Их облюбовало для воскресных развлечений городское отребье. В роковое воскресенье примерно в три часа дня в трактир зашла молодая девушка, которую сопровождал смуглый молодой человек. Они пробыли там некоторое время, а потом ушли, направившись к расположенному по соседству густому лесу. Мадам Дюлюк хорошо заметила платье девушки, потому что оно напомнило ей платье одной ее недавно скончавшейся родственницы. Особенно хорошо она рассмотрела шарф. Вскоре после ухода молодой пары в трактир ввалилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка, вернулись в трактир, когда начало смеркаться, и переправились на другой берег как будто в большой спешке.

В тот же вечер, вскоре после того как совсем стемнело, мадам Дюлюк и ее старший сын слы-

шали женские крики неподалеку от трактира. Крики были очень громкими, но вскоре оборвались. Мадам Д. опознала не только шарф, но и платье, которое было на трупе. Кучер омнибуса, по фамилии Валанс[72], теперь также показал, что видел в это воскресенье, как Мари переправлялась через Сену в обществе смуглого молодого человека. Он, Валанс, знал Мари и ошибиться не мог. Предметы, найденные в чаще, все были опознаны родственниками Мари.

Сведения, которые я таким образом извлек по просьбе Дюпена из газетных статей, включали, кроме вышеперечисленных, только один факт, но факт этот представлялся весьма многозначительным. После того как в чаще были обнаружены шарф и прочие вещи, неподалеку от того места, которое теперь все считали местом убийства, было обнаружено безжизненное или почти безжизненное тело Сент-Эсташа, жениха Мари. Возле валялся пустой флакон — на ярлычке было написано «опиум». Дыхание Сент-Эсташа указывало, что он действительно принял этот яд. Он умер, не приходя в сознание. В кармане у него была найдена записка: коротко упомянув

---

[72] Сноски: 72
Адам.

о своей любви к Мари, он сообщал, что намерен наложить на себя руки. — Мне, разумеется, незачем говорить вам, — сказал Дюпен, внимательно прочитав мои заметки, — что это куда более запутанное дело, чем убийство на улице Морг, от которого оно отличается в одном очень важном отношении, так как представляет собой хотя и зверски-жестокое, но ординарное преступление. В нем нет ничего выходящего за рамки обычного. Заметьте, что по этой причине все полагали, будто раскрыть его окажется нетрудно, тогда как именно его заурядность и составляет главный камень преткновения. Вначале ведь даже не сочли нужным назначить награду. Мирмидоняне префекта сразу же представили себе, как и почему могло быть совершено это гнусное преступление. Их воображение было способно нарисовать способ — много способов — его совершения, а также и побудительный мотив — много мотивов. И потому, что какие-то из этих способов и этих мотивов могли оказаться подлинными, им представилось само собой разумеющимся, что один из них и окажется подлинным. Однако легкость, с какой возникали эти различные предположения, и их правдоподобность свидетельствовали о том, что правильное решение найти будет не

только не просто, но, наоборот, очень трудно. Я не раз замечал, что в поисках истины логика нащупывает свой путь по отклонениям от обычного и заурядного и что в случаях, подобных этому, следует спрашивать не «что произошло?», а «что произошло необыкновенного, такого, чего не случалось прежде?». Ведя следствие в доме мадам Л'Эспанэ[73], агенты Г. растерялись из-за необычности случившегося, в то время как верно направленный интеллект именно в этой необычности усмотрел бы залог успеха; и тот же самый интеллект с глубоким отчаянием убедился бы в видимой заурядности обстоятельств исчезновения продавщицы парфюмерных товаров, хотя подчиненные префекта как раз в ней увидели обещание легкой победы.

В деле мадам Л'Эспанэ и ее дочери мы с самого начала твердо знали, что речь идет об убийстве. Возможность самоубийства исключалась безусловно. Здесь самоубийство также исключается. Вид трупа, обнаруженного неподалеку от заставы Дюруль, не оставляет никаких сомнений в этом важном вопросе. Однако высказывается предположение, что труп этот — не труп Мари Роже, за

---

[73] Сноски: 73
См.: «Убийство на улице Морг».

поимку убийцы или убийц которой назначена награда и которой касается наш уговор с префектом. Мы оба прекрасно знаем этого господина. И знаем, что слишком доверять ему не следует. Если мы начнем наше расследование с трупа и, отыскав убийцу, тем не менее установим, что это труп какой-то другой женщины, а не Мари, или если мы сразу предположим, что Мари жива и отыщем ее — отыщем целой и невредимой, — то в обоих случаях наши труды пропадут даром, поелику мы имеем дело с мосье Г. Поэтому в наших собственных интересах, если не в интересах правосудия, мы должны с самого начала удостовериться, что найденный в Сене труп — это действительно труп пропавшей Мари Роже.

Доводы «Этуаль» произвели впечатление на публику, да и сама газета убеждена в их неопровержимости, о чем свидетельствует первая строка одной из напечатанных в ней заметок, посвященных делу Мари Роже. «Несколько утренних газет, — начинается эта заметка, — обсуждают исчерпывающую статью в номере «Этуаль» от понедельника». На мой взгляд, эта статья исчерпывающе доказывает только рвение ее автора. Вообще следует помнить, что наши газеты думают главным образом о том, как со-

здать сенсацию, а не о том, как способствовать обнаружению истины. Последнее становится их задачей, только если это способствует достижению первой и главной их цели. Когда печать всего лишь следует общему мнению (каким бы обоснованным оно ни было), она не обеспечивает себе успеха у толпы. Большинство людей считает мудрецом только того, кто высказывает предположение, идущее вразрез с принятыми представлениями. В логических рассуждениях, не менее чем в литературе, наибольшим и незамедлительным успехом пользуется эпиграмма, и в обоих случаях она стоит меньше всего.

Я хочу сказать, что предположение, будто Мари Роже еще жива, было подсказано «Этуаль» неожиданностью и мелодраматичностью подобной идеи, а вовсе не ее правдоподобием — и по той же причине она нашла столь благосклонный прием у публики. Давайте разберем по пунктам рассуждения этой газеты, освободив их от той бессвязности и непоследовательности, с какой они изложены в статье.

Прежде всего ее автор стремится доказать, что между исчезновением Мари и обнаружением в реке плывущего трупа прошло слишком мало времени, а потому это не мог быть ее труп.

Для достижения своей цели он стремится елико возможно сократить этот интервал. Такое опрометчивое стремление заставляет его сразу же пустить в ход абсолютно безосновательное предположение. «Было бы чистейшей нелепостью считать, — утверждает он, — будто убийство (если она действительно была убита) могло совершиться настолько быстро после ее ухода, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи». Мы немедленно задаем естественный вопрос: почему? Почему было бы нелепостью предположить, что девушку убили через пять минут после того, как она вышла из дома? Убийства случались во всякое время суток. Но если бы это убийство произошло в течение воскресенья в любую минуту между девятью часами утра и до без четверти двенадцать ночи, убийцы все-таки успели бы «бросить тело в реку до полуночи». Следовательно, произвольная предпосылка автора статьи, в сущности, сводится к тому, что убийство вообще в воскресенье не произошло, а если мы позволим «Этуаль» исходить из такой предпосылки, то должны будем прощать ей любые вольности. Фраза, начинающаяся словами: «Было бы чистейшей нелепостью считать...» — и т. д., независимо от того, в каком виде она по-

явилась на страницах «Этуаль», была порождена следующей мыслью своего творца: «Было бы чистейшей нелепостью считать, будто убийство (если речь действительно идет об убийстве) могло совершиться настолько быстро после ухода девушки из дома, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи; было бы нелепостью, утверждаем мы, предположить все это и в то же время предположить (как мы твердо решили сделать), что тело было брошено в реку только после полуночи», — фраза достаточно непоследовательная, но далеко не столь абсурдная, как та, которая появилась в статье.

— Если бы, — продолжал Дюпен, — я хотел просто опровергнуть именно это место в рассуждениях «Этуаль», — то мог бы спокойно ограничиться уже сказанным. Однако нас интересует не «Этуаль», а истина. Рассматриваемая фраза в ее настоящем виде имеет лишь одно содержание, и это содержание я изложил с полной беспристрастностью, но нам важно, не ограничиваясь только словами, проникнуть в мысль, которую эти слова явно должны были выразить, хотя и не выразили. Журналист хотел сказать, что, независимо от того, утром, днем или вечером в воскресенье было совершено это убийство,

убийцы вряд ли осмелились бы доставить труп к реке раньше полуночи. И именно в этих словах прячется та произвольная предпосылка, которую я ставлю ему в упрек. Он без каких-либо оснований исходит из предположения, будто убийство было совершено в таком месте и при таких обстоятельствах, что труп обязательно надо было доставлять к реке. А ведь оно могло произойти на берегу или даже на самой реке — тогда труп мог быть брошен в воду в любое время суток, так как это был бы наиболее легкий и естественный способ избавиться от него. Вы, конечно, понимаете, что я вовсе не считаю наиболее вероятной именно эту возможность и не высказываю своего мнения. Пока еще я не касаюсь реальных фактов дела, а только хочу предостеречь вас против самого тона предположения «Этуаль», обратив ваше внимание на то, что они с самого начала носят характер ex-parte[74].

И вот, предписав ограничение, удобное для ее собственных предвзятых идей, предположив, что этот труп, если он был трупом Мари, мог пробыть в воде лишь очень незначительное время, газета заявляет:

---

[74] Сноски: 74
Односторонний, предвзятый *(лат.)*.

«Как показывает весь прошлый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в воду вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее чем через шесть — десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды».

...С этими утверждениями безмолвно согласились все парижские газеты, за исключением «Монитер»[75], которая пытается опровергнуть лишь то место, которое относится к «утопленникам», ссылаясь на пять-шесть случаев, когда тела заведомых утопленников всплывали до истечения срока, указанного «Этуаль». Однако в этой попытке «Монитер» опровергнуть общее утверждение «Этуаль» ссылками на конкретные противоречащие ему примеры есть что-то глубоко нефилософское. Сошлись «Монитер» не на пять, а на пятьдесят трупов, всплывших через двое-трое суток, все равно эти пятьдесят примеров следовало бы считать лишь исключе-

---

[75] Сноски: 75
Нью-йоркская «Коммершиэл адвертайзер».

нием из правила, установленного «Этуаль», до тех пор пока не было бы доказано, что само это правило неверно. А если признавать правило («Монитер» же его не отрицает и только указывает на исключения), то рассуждения «Этуаль» сохраняют полную силу, поскольку они касаются всего лишь вероятности того, что труп всплыл до истечения трех суток; и эта вероятность будет свидетельствовать в пользу «Этуаль» до тех пор, пока количество примеров, на которые по-детски ссылаются противники ее выводов, не возрастет до той степени, когда уже можно будет говорить о противоположном правиле.

Как вы могли заметить, все рассуждения касательно этого пункта должны строиться так, чтобы опровергнуть указанное правило, а для этой цели нам следует рассмотреть его рациональную основу. Начнем с того, что в среднем человеческое тело немногим тяжелее или легче воды Сены; другими словами, удельный вес человеческого тела в обычных условиях примерно равен удельному весу пресной воды, которую вытесняет это тело. Тела тучных, дородных людей с тонкими костями и тела подавляющего большинства женщин легче, чем тела худощавых крупнокостных мужчин; а на удельный вес реч-

ной воды оказывает влияние наличие морской воды, поступающей в реки с приливной волной. Но, даже отбросив это наличие морской воды, все-таки можно утверждать, что даже в пресной воде при отсутствии дополнительных причин тонут лишь немногие человеческие тела. Упавший в реку человек почти никогда не пойдет ко дну, если он позволит весу своего тела прийти в соответствие с весом вытесненной им воды — другими словами, если он погрузится в воду почти целиком. Для людей, не умеющих плавать, наиболее правильной будет вертикальная позиция идущего человека, причем голову следует откинуть и погрузить в воду так, чтобы над ней оставались только рот и нос. Приняв подобную позу, вы обнаружите, что без всяких усилий и труда держитесь у самой поверхности. Однако совершенно очевидно, что вес человеческого тела и воды, которую оно вытесняет, находится лишь в весьма хрупком равновесии, так что достаточно ничтожного пустяка, чтобы оно нарушилось в ту или иную сторону. Например, рука, поднятая над водой и тем самым лишенная ее поддержки, представляет собой добавочный вес, которого достаточно, чтобы голова ушла под воду целиком, тогда как случайно схваченный даже небольшой

кусок дерева позволит вам приподнять голову и оглядеться. Человек, не умеющий плавать, обычно начинает биться в воде, вскидывает руки и старается держать голову, как всегда, прямо. В результате рот и ноздри оказываются под водой, которая при попытке вздохнуть проникает в легкие. Кроме того, большое ее количество попадает в желудок, и все тело становится тяжелее настолько, насколько вода тяжелее воздуха, наполнявшего эти полости прежде. Как правило, этой разницы достаточно для того, чтобы человек пошел ко дну, но только не в тех случаях, когда речь идет о людях с тонкими костями и излишками жира на теле. Такие люди, и утонув, продолжают держаться на поверхности.

Труп, опустившийся на дно реки, останется там до тех пор, пока по какой-то причине его вес опять не станет меньше веса вытесняемой им воды. Это может быть связано с разложением или с чем-либо еще. В процессе разложения образуется газ, расширяющий клетки в тканях и все полости, что придает мертвым телам ту вздутость, которая производит столь жуткое впечатление. Когда такое расширение приводит к заметному увеличению объема трупа без соответствующего увеличения его массы или веса, он

становится легче вытесняемой им воды и всплывает. Однако процесс разложения определяется множеством факторов, он убыстряется или замедляется по множеству причин — тут могут играть роль жара и холод, количество растворенных в воде минеральных веществ, большая или меньшая глубина, наличие или отсутствие течения, температура тела, а также и состояние здоровья человека перед смертью. Таким образом, совершенно очевидно, что мы не можем даже приблизительно указать срок всплытия трупа в результате разложения. В некоторых условиях это произойдет менее чем через час, а в других — не произойдет вовсе. Есть химикалии, способные полностью и навсегда предохранить животные ткани от гниения, — к ним, например, принадлежит двухлористая ртуть. Однако и помимо разложения в желудке в результате брожения растительной массы (или же в других полостях по другим причинам) может образовываться — и обычно образуется — газ, который вызывает расширение тела, достаточное для того, чтобы оно всплыло на поверхность. Пушечный выстрел просто производит сильную вибрацию, которая либо высвобождает труп из ила — и он всплывает, потому что был уже почти готов

всплыть, либо разрушает какую-то часть уже сгнившей клеточной ткани, препятствовавшей расширению полостей под воздействием газа.

Итак, ознакомившись с философской основой этого предмета, мы с ее помощью легко можем проверить справедливость утверждения «Этуаль». «Как показывает весь прошлый опыт, — заявляет эта газета, — тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в реку вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее чем через шесть — десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успевают извлечь из воды».

Теперь весь этот абзац выглядит мешаниной натяжек и несуразностей. Весь прошлый опыт отнюдь не показывает, что телу утопленника обязательно требуется шесть — десять дней, прежде чем оно разложится настолько, чтобы всплыть. И наука, и практический опыт свидетельствуют, что период, предшествующий всплытию, должен быть самым неопределенным — каковым он и является. Если же труп всплывет в результате выстрела из пушки, то он «опускается вновь

на дно, если его не успеют извлечь из воды» не «вскоре», а только тогда, когда разложение продвинется настолько далеко, что образовавшийся в теле газ найдет выход наружу. Но я хотел бы обратить ваше внимание на различие, сделанное между «телами утопленников» и «телами жертв убийства, брошенных в реку вскоре после наступления смерти». Хотя автор признает это различие, он тем не менее относит и те и другие тела к одной категории. Я уже объяснил, как именно тело тонущего приобретает больший удельный вес, чем вода, и показал вам, что такой человек не утонул бы, если бы не начал бить руками, высовывая их из воды, и не захлебывался бы, пытаясь вздохнуть, в результате чего в его легкие вместо воздуха попадает вода. Но тело, «брошенное в реку вскоре после наступления смерти», рук не вскидывает и не захлебывается. Следовательно, в этом случае труп, как правило, вообще не утонет — факт, о котором «Этуаль», по-видимому, не осведомлена. Только когда разложение зайдет очень далеко, когда в значительной мере обнажатся кости, только тогда, но не ранее, он скроется под водой.

Так как же должны мы теперь оценивать довод, что найденный труп — это не труп Мари Роже,

ибо он плыл по реке, хотя со времени исчезновения девушки прошло всего три дня? Если бы она утонула, то, будучи женщиной, могла вообще не пойти ко дну, а если и пошла, то ее тело могло всплыть меньше чем через сутки. Но ведь никто не высказывает предположения, будто она утонула, а раз ее бросили в воду уже мертвой, тот факт, что тело плыло по реке, ни о каком сроке не говорит: оно и не должно было опускаться на дно.

Но, утверждает «Этуаль», «если изуродованное тело пролежало на берегу до ночи со вторника на среду, в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц». Здесь в первый момент трудно распознать, куда клонит автор. На самом же деле он хочет предвосхитить возможное возражение против его теории — а именно, что тело оставили лежать двое суток на берегу, где оно разлагалось быстро, быстрее, чем под водой. Он предполагает, что в этом случае оно могло бы всплыть уже в среду, и считает, что всплыть оно могло только при подобных обстоятельствах. А поэтому он торопится показать, что на берегу его не оставляли, ибо тогда «в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц». Полагаю, ваша улыбка вызвана столь неожиданной причинной связью. Вам непонятно, каким

образом одна лишь длительность пребывания трупа на берегу могла способствовать умножению следов, оставленных убийцами. Непонятно это и мне.

«И далее, весьма маловероятно, — продолжает наша газета, — чтобы злодеи, совершившие убийство вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно какого-нибудь груза, когда принять подобную предосторожность не составило бы никакого труда». Заметьте, какая смехотворная путаница мыслей! Никто — ни даже «Этуаль» — не оспаривает, что женщина, чей труп был извлечен из Сены, была убита. Признаки насильственной смерти слишком уж очевидны. Наш автор ставит себе всего лишь одну цель: убедить читателей, что эта убитая — не Мари. Он стремится доказать не то, что не была убита женщина, чей труп найден, а что не была убита Мари. Однако этот его довод может служить только доказательством первого. Перед нами труп, к которому не привязано никакого груза. Убийцы, бросая его в воду, обязательно привязали бы к нему груз. Отсюда следует, что убийцы его в воду не бросали. Больше ничего подобный аргумент не доказывает — если он вообще что-либо доказывает. Вопрос

о личности убитой даже не затрагивается, а «Этуаль» пускается тут в сложные рассуждения всего лишь для того, чтобы опровергнуть собственное признание, которое было сделано несколькими строчками выше: «Мы твердо убеждены, — говорится в них, — что найденное тело — несомненно, труп убитой женщины».

И это — отнюдь не единственный случай, когда наш автор невольно опровергает сам себя даже только в этой части своих рассуждений. Он, как я уже говорил, несомненно, ставит себе целью елико возможно сократить промежуток между исчезновением Мари и обнаружением трупа. Тем не менее он настойчиво подчеркивает, что с той минуты, когда девушка вышла из материнского дома, ее никто не видел. «Итак, — говорит он, — мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после девяти часов утра воскресенья 22 июня». Поскольку его довод явно ex-parte, ему следовало бы по меньшей мере вовсе не упоминать об этом обстоятельстве, так как вышеупомянутый промежуток заметно сократился бы, если бы кто-нибудь видел Мари в понедельник или, например, во вторник, и, согласно его собственным рассуждениям, вероятность того, что был найден труп именно красавицы гри-

зетки, заметно уменьшилась бы. Очень забавно наблюдать, как «Этуаль» настойчиво обращает внимание своих читателей на эту подробность в глубокой уверенности, что таким образом она подкрепляет общий ход своих рассуждений.

Теперь перечитайте ту часть статьи, где рассказывается о том, как труп был опознан Бове. В вопросе о волосках «Этуаль» проявила большую неуклюжесть. Мосье Бове, не будучи идиотом, при опознании трупа вряд ли привел бы в качестве доказательства просто волоски на руке. Волоски есть на любой руке. Неопределенность выражения, употребленного «Этуаль», искажает слова свидетеля. Он, без сомнения, указал на какое-то своеобразие этих волосков — особый цвет, густоту, длину или расположение.

«Ее нога, — пишет газета, — была маленькой, как и тысячи других женских ног. Ее подвязка не может служить серьезным доказательством, как и ботинки — ведь ботинки и подвязки продаются тысячами одинаковых пар. То же можно сказать о цветах на ее шляпе. Мосье Бове особенно упирает на то, что застежка на подвязке переставлена. Это просто ничего не значит, так как женщины почти всегда предпочитают, купив подвязки, затем подогнать их дома, нежели примерять подвязки

в лавке перед покупкой». Трудно предположить, что автор утверждает это серьезно. Если бы мосье Бове, разыскивая Мари, нашел труп женщины, сложением и внешностью схожей с исчезнувшей девушкой, он имел бы все основания (вообще не рассматривая одежды) счесть, что его поиски увенчались успехом. А если, кроме общего сходства, он обнаружил бы на руке умершей те своеобразные волоски, которые видел на руке Мари, его уверенность с полным правом могла бы возрасти в степени, прямо пропорциональной необычности этой приметы. Если ноги Мари были маленькими и ноги трупа — тоже, уверенность в том, что это труп именно Мари, возросла бы не в арифметической, но в геометрической прогрессии. Добавьте ко всему этому ботинки, такие же, какие были на ней в день исчезновения, и пусть даже эти ботинки «продаются тысячами одинаковых пар», вы доведете вероятность уже почти до степени абсолютной несомненности. То, что само по себе не является точной приметой, теперь благодаря своему месту в целом ряду других признаков становится почти неопровержимым доказательством. Добавьте еще цветы на шляпе, такие же, какие носила исчезнувшая девушка, и опознание можно считать полным.

Достаточно было бы и одного цветка. Но что, если их два, или три, или больше? Каждый из них не просто дополняет нашу уверенность, но стократ ее умножает. А теперь обнаружим на покойнице такие же подвязки, какие носила живая девушка, — и всякие дальнейшие поиски становятся просто нелепыми. Но оказывается, застежки на этих подвязках были переставлены, чтоб подогнать их по ноге, — точно так, как Мари затянула свои подвязки незадолго до ухода. После этого сомневаться может только сумасшедший или лицемер. Эластичная природа подвязок уже указывает на необычность такой перестановки застежки. Если предмет способен укорачиваться сам, то дополнительное его укорачивание по необходимости не может не быть редким. То, что подвязки Мари потребовали такой переделки, было случайностью в самом строгом смысле слова. Одних этих подвязок было бы вполне достаточно, чтобы точно установить ее личность. Но ведь на трупе не просто нашли подвязки исчезнувшей девушки, или ее ботинки, или ее шляпку, или цветы с ее шляпки, не просто оказалось, что ноги убитой такие же маленькие, или что у нее такие же волоски на руке, или что она напоминает Мари сложением и внешностью, —

нет, труп имел все эти приметы до единой. Если бы удалось доказать, что редактор «Этуаль» при таких обстоятельствах все же продолжает искренне сомневаться в личности убитой, его можно было бы объявить сумасшедшим и без заключения медицинской комиссии. Он решил, что будет очень хитро с его стороны прибегнуть к профессиональному языку адвокатов, которые по большей части удовлетворяются повторением прямолинейных юридических понятий. Кстати, многое из того, что суды отказываются считать доказательствами, является для острого ума наиболее убедительным доказательством. Ибо суд руководствуется общими принципами, определяющими, что составляет доказательство, а что — нет, то есть руководствуется признанными, записанными в кодексах принципами и не склонен отступать от них в конкретных случаях. Несомненно, такое неуклонное следование принципу и полное игнорирование противоречащих ему исключений в конечном счете представляет собой верный способ обнаружения максимума поддающейся обнаружению истины. Следовательно, в целом такая практика вполне философически оправдана, однако верно и то, что она приводит ко множеству индивидуальных

ошибок[76]. Что касается инсинуаций, направленных против Бове, вы, конечно, отбросите их без долгих размышлений. Истинный характер этого господина вам, разумеется, уже ясен. Это романтичный и не очень умный любитель совать нос в чужие дела. Каждый человек подобного типа в действительно серьезных случаях обычно ведет себя так, что вызывает подозрение у излишне проницательных или не расположенных к нему людей. Мосье Бове (как вытекает из ваших заметок) имел личную беседу с редактором «Этуаль» и задел его самолюбие, настаивая на том, что труп, вопреки теории редактора, все-таки и без всяких сомнений труп Мари Роже. «Он, — говорит газета, — упрямо утверждает, что это — труп Мари, но не может сослаться в подтверждение ни на какие более убедительные для других приметы, кроме тех, которые мы уже обсудили». Не возвращаясь к вопросу о том, что «более убедительные

[76] Сноски: 76

«Теория, опирающаяся на качества какого-либо предмета, препятствует тому, чтобы он раскрывался согласно его целям; а тот, кто располагает явлениями, исходя из их причин, перестает оценивать их согласно их результатам. Посему юриспруденция любой страны показывает, что закон, едва он становится наукой и системой, перестает быть правосудием. Нетрудно убедиться в ошибках, к которым слепая преданность принципу классификации приводила обычное право, проследив, как часто законодательным органам приходилось вмешиваться и восстанавливать справедливость, которую оно успело утратить». *Лендор. — Примеч. авт.*

для других приметы» найти вообще невозможно, надо указать на следующее: в подобного рода делах человек вполне может быть твердо убежден сам и в то же время не располагать никакими доводами, убедительными для других. Впечатление, которое вы храните о личности того или иного человека, очень трудно поддается определению. Каждый человек узнает своих знакомых, но весьма редко кто бывает способен логически объяснить, каким образом он их узнает. Редактор «Этуаль» не имеет права обижаться на мосье Бове за его нерассуждающую уверенность.

Связанные с ним подозрительные обстоятельства куда легче объяснить, исходя из моего представления о нем как о романтическом любителе совать нос в чужие дела, чем из виновности, которую обиняком пытается ему приписать автор статьи. Если мы будем исходить из более милосердного предположения, то легко поймем и розу в замочной скважине, и «Мари» на грифельной доске, и «оттирание в сторону родственников мужского пола», и нежелание, чтобы они увидели труп, и предостережение, с которым он обратился к мадам Б., указывая, что ей не следует ничего говорить жандарму до его (Бове) возвращения, и, наконец, его твердую решимость «не

позволять никому другому принимать участие в расследовании». Мне представляется безусловным, что Бове был поклонником Мари, что она с ним кокетничала и что он стремился внушить всем, будто пользуется ее особым доверием и расположением. Больше я ничего об этом говорить не стану, а поскольку факты полностью опровергают утверждение «Этуаль» относительно равнодушия матери Мари и других ее родственников — равнодушия, которое ставило бы под сомнение искренность их убеждения, что найден действительно труп Мари, — мы будем далее исходить из того, что вопрос об установлении личности убитой разрешен к полному нашему удовлетворению.

— А что вы думаете, — спросил я, — о предположениях «Коммерсьель»?

— Я думаю, что по своему духу они заслуживают значительно большего внимания, чем все прочие мнения, высказанные об этом деле. Выводы из предпосылок философски верны и остроумны, однако по меньшей мере в двух случаях предпосылки опираются на неточные наблюдения. «Коммерсьель» дает понять, что Мари неподалеку от дома ее матери схватила шайка негодяев. «Невозможно предположить, —

настаивает газета, — чтобы кто-нибудь, столь известный публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала». Такую мысль мог высказать лишь мужчина, коренной парижанин, видный член общества, который, как правило, ходит только по определенным улицам в деловой части города. Он по опыту знает, что ему редко удается пройти пять кварталов от своей конторы без того, чтобы его кто-нибудь не узнал и не заговорил с ним. Он знает обширность своих знакомств и, сравнивая собственную известность с известностью продавщицы из парфюмерной лавки, не обнаруживает существенной разницы, а потому тут же приходит к заключению, что и ее на улице должны узнавать не реже, чем его. Но так могло бы быть только, если бы она, подобно ему, ходила одним и тем же неизменным путем в пределах четко ограниченной части города. Он проходит туда и обратно в определенные часы, и его маршрут пролегает по улицам, где ему на каждом шагу встречаются люди, интересующиеся им из-за общности их занятий. Мари же в своих прогулках вряд ли придерживалась какого-либо определенного маршрута. А в данном случае наиболее вероятным будет предположение, что она избрала путь, как можно более отличавшийся от

обычных. Сопоставление, которое, как мы полагаем, подразумевала «Коммерсьель», оказалось бы справедливым, только если бы два сопоставляемых индивида прошли через весь город. В этом случае, при условии равной обширности круга их знакомств, были бы равны и их шансы на равное число встреч со знающими их людьми. Я же считаю не только возможным, но и гораздо более вероятным, что Мари могла в любое заданное время проследовать по какому-либо из многочисленных путей, соединяющих ее жилище и жилище ее тетки, не встретив ни единого человека, который был бы ей известен или которому была бы известна она. Рассматривая этот вопрос наиболее полно и правильно, мы должны все время помнить о колоссальном несоответствии между кругом знакомств даже самого известного парижанина и всем населением Парижа.

Если предположение «Коммерсьель» тем не менее еще сохраняет некоторую силу, нам следует вспомнить час, в который Мари вышла из дома. «И она вышла из дома в час, — утверждает «Коммерсьель», — когда улицы были полны народа». Однако дело обстояло по-другому. Это произошло в девять часов утра. Действительно, в девять часов утра улицы бывают полны на-

рода в любой день недели, кроме воскресенья. В воскресенье же в девять часов утра горожане обычно бывают дома, собираясь идти в церковь. Любой наблюдательный человек, несомненно, замечал особую пустынность городских улиц в воскресное утро с восьми до десяти часов. Между десятью и одиннадцатью часами их действительно заполняют прохожие, но не ранее, не в час, о котором идет речь.

Наблюдательность изменила «Коммерсьель» и в другом случае. «От одной из нижних юбок злосчастной девушки, — указывает газета, — был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут. Из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками». Насколько это предположение основательно само по себе, мы рассмотрим позже, но, во всяком случае, под «субъектами, не располагающими носовыми платками», автор подразумевает бродяг самого низшего разбора. Однако именно у них всегда бывают платки, даже у тех, у кого и рубашки нет. Вероятно, вы заметили, что за последние годы платки превратились в обязательную принад-

лежность всего городского отребья.

— А как следует оценить статью в «Солей»? — спросил я.

— Очень жаль, что ее сочинитель не родился попугаем — в этом случае он, несомненно, стал бы самым знаменитым попугаем на свете. Он всего-навсего повторяет отдельные положения из того, что уже было высказано кем-то другим, разыскивая их с похвальным трудолюбием на страницах чужих газет. «Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее трех-четырех недель, и не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено». Факты, которые тут вновь перечисляет «Солей», моих сомнений отнюдь не рассеивают, и подробнее мы о них поговорим позднее, в связи с еще одним аспектом этой темы.

А пока нам следует заняться другими вопросами. Вы, несомненно, обратили внимание на чрезвычайную небрежность осмотра трупа. Да, конечно, личность убитой была установлена достаточно быстро, но многое осталось невыясненным. Был ли труп ограблен? Надела ли убитая, выходя из дому, какие-нибудь дорогие украшения? А если да, то были ли они найдены на ее теле? На эти весьма важные вопросы

материалы расследования не дают никакого ответа, без внимания остались и другие, столь же существенные моменты. Мы должны попробовать сами восполнить эти пробелы. Необходимо заново рассмотреть роль Сент-Эсташа. У меня нет против него никаких подозрений, но нам следует действовать систематически. Мы придирчиво проверим его письменное показание о том, где и когда он был в то воскресенье. Такого рода показания нередко оказываются весьма ненадежными. Но если мы не обнаружим в них никаких противоречий, то больше Сент-Эсташем заниматься не будем. Однако его самоубийство, хотя оно и усугубило бы подозрения против него в случае, если бы нам удалось доказать *лживость* этих показаний, вполне объяснимо, если они верны, а потому из-за него нам незачем изменять обычные методы анализа.

Я предлагаю пока не заниматься непосредственно самим трагическим событием, а сосредоточить наше внимание на предшествовавших и сопутствовавших ему обстоятельствах. Одна из частых и отнюдь не наименьших ошибок подобного рода расследований заключается в том, что расследуется только самый факт, а все непосредственно или косвенно с ним связанное

полностью игнорируется. Суды совершают значительный промах, ограничивая рассмотрение улик и свидетельских показаний лишь теми, связь которых с делом представляется непосредственной и очевидной. Однако, как не раз показывал прошлый опыт и как всегда покажет истинная философия, значительная, если не подавляющая часть истины раскрывается через обстоятельства, на первый взгляд совершенно посторонние. Именно дух, если не буква этого принципа, лежит в основе решимости современной науки опираться на непредвиденное. Но, возможно, вам непонятны мои слова.

История накопления человеческих знаний непрерывно доказывает одно: наибольшим числом самых ценных открытий мы обязаны сопутствующим, случайным или непредвиденным обстоятельствам, а потому в конце концов при обзоре перспектив на будущее стало необходимым отводить не просто большое, но самое большое место будущим изобретениям, которые возникнут благодаря случайности и вне пределов предполагаемого и ожидаемого. Теперь стало несовместимым с философией строить прогнозы грядущего, исходя только из того, что уже было. Случай составляет признанную часть

таких построений. Мы превращаем случайность в предмет точных исчислений. Мы подчиняем непредвиденное и невообразимое научным математическим формулам.

Как я уже говорил, наибольшая часть истины была открыта благодаря побочным обстоятельствам; и в соответствии с духом принципа, стоящего за этим фактом, я в данном случае перенесу расследование с истоптанной и до сей поры неплодородной почвы самого события на обстоятельства, ему сопутствовавшие. Вы будете проверять истинность показаний, подтверждающих, где и когда был в то воскресенье Сент-Эсташ, а я тем временем проштудирую газеты не столь целенаправленно, как сделали это вы. Пока мы лишь произвели предварительную разведку, но будет весьма странно, если широкое ознакомление с прессой, которое я намерен предпринять, не откроет какие-нибудь второстепенные подробности, которые, в свою очередь, подскажут нам, в каком направлении надо вести расследование.

Выполняя поручение Дюпена, я скрупулезно изучил вышеупомянутые показания и убедился в их истинности, а следовательно, и в невиновности Сент-Эсташа. Тем временем мой друг с тщанием, которое представлялось мне совер-

шенно излишним, просматривал одну газетную подшивку за другой. Через неделю он положил передо мной следующие выдержки:

> «Примерно три с половиной года назад волнение, весьма напоминающее нынешнее, было вызвано исчезновением той же самой Мари Роже из парфюмерной лавки мосье Леблана в Пале-Рояль. Однако неделю спустя она вновь появилась за своим прилавком, живая и невредимая, хотя, правда, чуть более бледная, чем прежде. Мосье Леблан и ее мать заявили, что она просто уезжала к какой-то подруге в деревню, и дело быстро замяли. Мы полагаем, что и нынешнее исчезновение вызвано сходной причиной и что по истечении недели или, быть может, месяца мы снова увидим ее среди нас».
>
> ***(«Вечерняя газета»[77], понедельник 23 июня.)***

---

[77] Сноски: 77
Нью-йоркская «Экспресс».

«Одна из вечерних газет сослалась вчера на первое таинственное исчезновение мадемуазель Роже. Известно, что ту неделю, пока ее не было в лавке мосье Леблана, она провела в обществе молодого морского офицера, имеющего репутацию кутилы и повесы. Полагают, что вследствие ссоры она, к счастью, вернулась домой вовремя. Нам известно имя этого Лотарио, находящегося в настоящее время в Париже, но по понятным причинам мы не предаем его гласности».

(«Меркюри»[78], вторник 24 июня, утренний выпуск.)

[78] Сноски: 78
Нью-йоркская «Геральд».

«Позавчера в окрестностях нашего города было совершено возмутительнейшее преступление. Некий господин в сумерках нанял шестерых молодых людей, которые катались на лодке по Сене, перевезти его с женой и дочерью через реку. Когда лодка причалила к противоположному берегу, трое пассажиров высадились и успели отойти на такое расстояние, что река скрылась из виду, но тут дочь заметила, что забыла в лодке зонтик. Она вернулась за ним, но негодяи схватили ее, заткнули ей рот кляпом, вывезли на середину реки, учинили над ней зверское насилие и в конце концов высадили на берег примерно там же, где она вошла в лодку со своими родителями. Преступники скрылись, но полиция напала на их след, и кое-кто из них скоро будет арестован».

(«Утренняя газета»[79], 25 июня.)

---

[79] Сноски: 79
Нью-йоркская «Курьер энд инквайрер».

«Мы получили несколько писем, цель которых – доказать, что виновником недавнего зверского преступления был Менэ[80], но поскольку после официального расследования он был полностью оправдан, а доводы этих наших корреспондентов продиктованы более желанием обнаружить преступника, нежели фактами, мы не считаем возможным опубликовать их».

(«Утренняя газета», 28 июня.)

[80] Сноски: 80

Менэ был одним из тех, кого вначале арестовали по подозрению, но затем отпустили за полным отсутствием улик.

«Мы получили несколько гневных писем, по-видимому, принадлежащих перу разных лиц, которые дышат уверенностью, что злополучная Мари Роже стала жертвой одной из многочисленных бандитских шаек, которые по воскресеньям наводняют окрестности города. Это предположение полностью соответствует нашему собственному мнению. Несколько позже мы попробуем найти место для некоторых из этих писем на наших страницах».

(«Вечерняя газета»[81], вторник 30 июня.)

[81] Сноски: 81
«Нью-Йорк ивнинг пост».

«В понедельник один из лодочников, служащих в налоговом управлении, заметил пустую лодку, плывущую вниз по Сене. Паруса лежали свернутыми на дне лодки. Лодочник отбуксировал ее к своей пристани. На следующее утро ее забрали оттуда без ведома местного начальства. Ее руль находится в конторе пристани».

(«Дилижанс»[82], вторник 26 июня.)

Я прочел эти разнообразные выдержки, и они не только показались мне совершенно не связанными между собой, но я не мог вообразить, какое отношение они имели к делу, которым мы занимались. И я стал ждать объяснений Дюпена.

— Пока, — сказал он, — я не намерен останавливаться на первой и второй вырезках. Я дал их вам главным образом для того, чтобы показать всю степень непростительной небрежности нашей полиции, которая, насколько я понял из слов префекта, даже не потрудилась хотя бы навести справки об этом морском офицере. А ведь утверждать, что между первым и вторым исчезновением Мари невозможно хотя бы

---

[82] Сноски: 82
Нью-йоркская «Стандард».

предположительно усмотреть никакой связи, по меньшей мере глупо. Допустим, что первое бегство из дома закончилось ссорой и обманутая девушка вернулась к матери. Теперь мы готовы рассмотреть второе бегство (если нам известно, что это именно бегство) скорее как свидетельство того, что обманщик возобновил свои ухаживания, чем как результат новых предложений кого-то еще, — нам легче счесть его возобновлением старого романа после примирения, чем началом нового. Десять шансов против одного, что прежний возлюбленный, однажды уже уговоривший Мари бежать с ним, уговорил ее снова, а не нашелся кто-то другой, кто обратился к ней с таким же предложением. И тут разрешите мне привлечь ваше внимание к тому факту, что время, миновавшее между первым, несомненным, бегством, и вторым, предполагаемым, лишь на несколько месяцев превышает обычный срок дальнего плаванья наших военных кораблей. Быть может, соблазнитель в первый раз не сумел привести в исполнение свое низкое намерение, так как должен был уйти в море, и, едва вернувшись, вновь приступил к осуществлению своего незавершенного гнусного плана — во всяком случае, не завершенного им самим? Об этом нам

ничего не известно.

Однако вы возразите, что во втором случае бегства с любовником не было. Безусловно так — но возьмемся ли мы утверждать, что оно и не предполагалось? Кроме Сент-Эсташа и, быть может, Бове, у Мари, насколько нам известно, не было признанных поклонников, ухаживавших за ней открыто и с честными намерениями. Ни о ком другом мы не находим никаких упоминаний. Так кто же этот тайный возлюбленный, о котором родственники (во всяком случае, большинство из них) не знают ничего, но с которым Мари встречается утром в воскресенье и которому она так доверяет, что без опасения остается в его обществе до тех пор, пока вечерний сумрак не окутывает пустынные рощи неподалеку от заставы Дюруль? Кто этот тайный возлюбленный, спрашиваю я, о ком, во всяком случае, большинство родственников ничего не знает? И что означает странное пророчество мадам Роже, произнесенное утром в воскресенье после ухода Мари? Это ее «боюсь, я уже больше никогда не увижу Мари»?

Но если мы не можем вообразить, что мадам Роже знала о предполагаемом бегстве, то разве непозволительно будет допустить, что сама девушка такие планы строила? Уходя, она ска-

зала, что идет навестить тетку, и попросила Сент-Эсташа зайти за ней вечером на улицу Дром. На первый взгляд это обстоятельство как будто опровергает мое предположение. Однако поразмыслим. Точно известно, что она с кем-то встретилась и что она отправилась с этим человеком за реку, оказавшись в окрестностях заставы Дюруль в три часа дня, то есть через несколько часов после ухода из дома. Но, согласившись отправиться туда с этим неизвестным (не важно, ради какой цели, с ведома или без ведома матери), Мари не могла не подумать о том, как она объяснит свой уход, а также об удивлении ее нареченного, Сент-Эсташа, и о подозрениях, которые его охватят, когда, явившись за ней в назначенный час на улицу Дром, он узнает, что она там даже не появлялась, а затем, воротившись в пансион с этой тревожной вестью, не найдет ее и там. Конечно, она не могла не подумать обо всем этом. Она должна была предвидеть отчаяние Сент-Эсташа и подозрения, которые ее исчезновение вызовет у всех. После такой эскапады ей было бы трудно вернуться домой, но мысль об этом не стала бы ее смущать, если, допустим, она с самого начала не собиралась возвращаться в дом матери.

Мы можем предположить, что она рассуждала примерно так: «Я должна встретиться с таким-то человеком, чтобы бежать с ним — или ради какой-то другой цели, известной мне одной. Надо устроить так, чтобы мне не помешали, надо выиграть время, чтобы избежать погони, а потому я скажу, что собираюсь провести день у тетушки на улице Дром, и попрошу Сент-Эсташа, чтобы он не заходил за мной, пока не стемнеет. Таким образом, до начала вечера мое отсутствие ни у кого не вызовет ни беспокойства, ни подозрений, и я выиграю времени больше, чем любым другим способом. Если я попрошу Сент-Эсташа зайти за мной, когда стемнеет, он раньше туда не явится, но если я не скажу ему ничего, то выиграю времени гораздо меньше, так как меня будут ждать дома в более ранний час и мое отсутствие скорее вызовет тревогу. Если бы я собиралась вернуться — если бы я хотела только прогуляться с тем человеком, — то я не попросила бы Сент-Эсташа зайти за мной, поскольку в этом случае он наверняка узнал бы, что я его обманула, тогда как мне ничего не стоило бы скрыть от него это, если бы я ничего ему не сказала, вернулась бы домой до сумерек, а потом объявила бы, что была в гостях у тетушки на улице Дром. Но раз я вообще не наме-

рена возвращаться — во всяком случае, не ранее чем через несколько недель или же только после принятия некоторых мер предосторожности, — мне следует думать лишь о том, как выиграть побольше времени, и ни о чем другом».

Как вы указываете в своих заметках, с самого начала общее мнение касательно этого печального происшествия склонялось к тому, что Мари Роже стала жертвой шайки хулиганов. Ну, а при определенных обстоятельствах общее мнение не следует игнорировать. Когда оно возникает само собой — когда оно появляется строго самопроизвольно, — его следует рассматривать как аналогию той интуиции, которой бывают наделены гениальные люди.

И в девяноста девяти случаях из ста я соглашусь с ним. Но необходимо твердо знать, что оно никем и ничем не подсказано. Это мнение должно быть строго мнением самого общества, но такое различие часто бывает довольно трудно уловить и объяснить. В данном случае я вижу, что это «общее мнение» о шайке возникло из-за сходного случая, который подробно описан в третьем из моих извлечений. Весь Париж неистовствует из-за того, что найден труп Мари — молодой, красивой девушки, уже привлекавшей к себе

внимание публики. На трупе обнаружены следы насилия, и он был вытащен из реки. Но тут же становится известно, что тогда же или примерно тогда же, когда была убита Мари Роже, другая девушка подверглась такому же надругательству, как и покойная, хотя и с менее трагическими последствиями, попав в лапы шайки молодых негодяев. Стоит ли удивляться, что достоверные сведения о возмутительном преступлении подействовали на общественное мнение и в связи с другим преступлением, о котором ничего достоверного пока не известно? Общественное мнение искало виновных, и они были услужливо подсказаны ему обстоятельствами другой драмы! Ведь Мари нашли в реке — в той же самой, на которой разыгралась эта вторая драма. Связь этих двух событий на первый взгляд представляется абсолютно очевидной, и было бы поразительно, если бы публика не заметила этого сходства и не ухватилась за него. Однако в действительности подобное преступление скорее доказывает, что второе, совершенное примерно в то же время, носило совсем иной характер. Если бы оказалось, что пока одна шайка мерзавцев в таком-то месте совершала чрезвычайно редкое по гнусности преступление, еще одна такая же шайка в тех же

окрестностях того же города при таких же обстоятельствах, прибегнув к таким же ухищрениям, творила точно такую же гнусность точно в то же время, — это вышло бы за пределы вероятного и могло бы называться чудом! А ведь общественное мнение, сложившееся под воздействием внушения, требует, чтоб мы поверили именно в эту невероятную цепь совпадений.

Прежде чем идти дальше, поговорим о предполагаемом месте убийства — о чаще неподалеку от заставы Дюруль. Эта чаща, хотя и густая, находится возле проезжей дороги. В ее глубине были найдены три-четыре больших камня, сложенные в виде сиденья со спинкой и подножкой. На верхнем камне была найдена белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф. Там же были обнаружены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была метка «Мари Роже». На ветках вокруг висели лоскутки платья. Земля была истоптана, кусты переломаны, и повсюду виднелись признаки отчаянной борьбы.

Какую бы важность ни придавали газеты этим находкам, с каким бы единодушием ни было решено, что место преступления наконец обнаружено, тем не менее есть немало веских причин для сомнения. Я могу верить или не верить, что

преступление было совершено именно там, но существуют весьма веские причины для сомнения. Если бы, как предположила «Коммерсьель», преступление совершилось где-то неподалеку от улицы Паве-Сент-Андре, его участники, если они остались в Париже, естественно, пришли бы в ужас оттого, что внимание публики оказалось направленным в верную сторону, и у людей определенного умственного склада немедленно возникло бы стремление что-то предпринять, чтобы отвлечь это внимание. А поскольку чаща у заставы Дюруль уже вызывала некоторые подозрения, это могло подсказать им мысль подбросить вещи девушки в то место, где они и были затем найдены. Вопреки убеждению «Солей» нет никаких реальных доказательств того, что вещи пролежали в чаще более трех-четырех дней, тогда как многие косвенные данные свидетельствуют, что они не могли бы остаться там незамеченными в течение тех двадцати суток, которые протекли между роковым воскресеньем и вечером, когда их обнаружили мальчики. «Под действием дождя, — утверждает «Солей», повторяя другие газеты, — они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг них выросла трава, а кое-где стебли проросли и сквозь них. Шелк

зонтика был толстым, но складки его склеились, а верхняя, сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что, когда ее раскрыли, он весь расползся». Что касается травы, которая «выросла вокруг них», и стеблей, «кое-где проросших и сквозь них», то эти факты могли быть почерпнуты только из рассказа, а следовательно, из впечатлений двух маленьких мальчиков, так как эти мальчики унесли все найденные ими вещи домой и никто третий в чаще их не видел. Однако в такую теплую и влажную погоду, какая стояла со времени убийства, трава порой вырастает на два-три дюйма в сутки. Зонтик, положенный среди молодой травки, через неделю может быть уже полностью скрыт от взгляда ее вытянувшимися стеблями. Ну а плесень, на которую редактор «Солей» ссылается с таким упорством, что в двух-трех фразах, процитированных мной, он трижды ее упоминает, — неужели этот господин и правда не знает, какова ее природа? Неужели ему надо объяснять, что это одна из разновидностей грибов, а грибам свойственно вырастать и сгнивать на протяжении двадцати четырех часов?

Таким образом, мы сразу видим, что наиболее торжественно преподносимое свидетельство пребывания этих вещей в чаще «не менее трех-

четырех недель» абсолютно ничем этого факта не доказывает. С другой стороны, очень трудно поверить, что эти вещи могли пролежать в указанной чаще дольше недели, то есть дольше, чем от одного воскресенья до другого. Людям, знакомым с окрестностями Парижа, хорошо известно, насколько трудно отыскать там укромное местечко — разве только в большом отдалении от предместий. В этих лесках и рощах просто нельзя вообразить не только уединенного уголка, но даже такого, который посещался бы не очень часто. Пусть-ка любитель природы, прикованный своими обязанностями к пыли и жаре этой огромной столицы, пусть-ка такой человек попробует даже в будний день утолить свою жажду одиночества среди окружающих ее прелестных естественных пейзажей. Их очарование ежеминутно будет нарушаться голосом, а то и появлением какого-нибудь бродяги или же веселящейся компании городских оборванцев. И он тщетно будет искать уединения в гуще деревьев и кустов. Именно там собираются неумытые в наибольшем числе, именно эти храмы подвергаются наибольшему поруганию. И с тоской в сердце такой скиталец устремится назад в осквернённый Париж, ибо в этом средоточии скверны она все же менее

бросается в глаза. Но если окрестности города столь многолюдны в будние дни, насколько больше переполнены они народом в воскресенье! Именно тогда, освободившись на день от необходимости трудиться или же на тот же срок лишившись возможности совершать обычные преступления, подонки города устремляются за его черту не из любви к сельской природе, которую они в глубине души презирают, но чтобы освободиться от уз и запретов, налагаемых на них обществом. Их манит не столько чистый воздух и зелень деревьев, сколько отсутствие какого-либо надзора. Где-нибудь в придорожном трактире или под пологом лесной листвы, вдали от чужих глаз, они в компании собутыльников предаются тому, что сходит у них за веселье — дикому разгулу, порождению безнаказанности и спиртных напитков. И повторяя, что в любой чаще под Парижем означенные вещи могли бы пролежать никем не замеченные дольше, чем от воскресенья до воскресенья, только если бы произошло чудо, я утверждаю лишь то, с чем не может не согласиться любой непредубежденный наблюдатель.

К тому же существует достаточно других оснований подозревать, что вещи эти были

подброшены в чащу у заставы с целью отвлечь внимание от настоящего места преступления. И в первую очередь я хотел бы, чтобы вы заметили, какого числа были найдены вещи. Сопоставьте это число с числом, которым помечено мое пятое извлечение из газет. Вы обнаружите, что открытие это последовало почти немедленно за сообщением вечерней газеты о полученных ею «гневных письмах». Эти письма, различавшиеся по содержанию и, по-видимому, исходившие от разных лиц, все клонили к одному и тому же, а именно — называли виновниками преступления шайку негодяев и указывали на заставу Дюруль как на место, где оно было совершено. Разумеется, никак нельзя считать, что мальчики отправились в чащу и отыскали там вещи Мари Роже вследствие этих писем и того внимания, которое они к себе привлекли; однако может представляться и представляется вполне вероятным, что мальчики не отыскали этих вещей раньше, так как раньше этих вещей в чаще не было, и что их оставили там, только когда газета сообщила о письмах (или же незадолго до этого), сами же виновные авторы указанных писем.

Эта чаща — очень своеобразная чаща, весьма и весьма своеобразная. Она чрезвычайно густа. А

внутри между стенами кустов находятся необычные камни, образующие сиденье со спинкой и подножкой. И эта-то чаща, такая необычная, находилась совсем рядом, всего в нескольких сотнях шагов от жилища мадам Дюлюк, чьи сыновья имели обыкновение обшаривать все соседние кусты, собирая кору сассафраса. Можно ли будет назвать неразумным пари, если я поставлю тысячу франков против одного, что не проходило дня, чтобы хотя бы один из этих мальчуганов не забирался в тенистую естественную беседку и не восседал на каменном троне? Те, кто откажется предложить такое пари, либо никогда сами не были мальчиками, либо забыли свое детство. И я повторяю: почти невозможно понять, как эти вещи могли бы пролежать в чаще больше двух дней и остаться незамеченными; а поэтому есть достаточно оснований заподозрить, что, вопреки дидактическому невежеству «Солей», они были подброшены туда, где их нашли, относительно недавно.

Однако существуют еще более веские основания полагать, что их именно подбросили, — куда более веские, чем все, о чем я упоминал до сих пор. Позвольте мне теперь указать вам на чрезвычайно искусственное расположение вещей.

На верхнем камне лежала белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф, а вокруг были разбросаны зонтик, перчатки и носовой платок с меткой «Мари Роже». Именно такое расположение им, естественно, придал бы не слишком умный человек, желая разбросать эти вещи естественно. На самом же деле это выглядит далеко не естественно. Было бы уместнее, если бы все они валялись на земле и были бы истоптаны. В тесноте этой полянки юбка и шарф едва ли остались бы лежать на камнях, если там шла какая-то борьба — их обязательно смахнули бы на землю. «Земля была утоптана, кусты поломаны — все там свидетельствовало об отчаянной борьбе», — утверждает газета, однако юбка и шарф были аккуратно разложены, словно на полках. «Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно три дюйма, а в длину — шесть. Один оказался куском нижней оборки со штопкой. Они выглядели так, словно были оторваны». Здесь «Солей» случайно употребила весьма подозрительный глагол. Действительно, судя по описанию, эти лоскутки кажутся оторванными — но сознательно, человеческой рукой. Лишь в чрезвычайно редких случаях колючка «отрывает» лоскут от подоб-

ной одежды. Эти ткани по самой своей природе таковы, что колючка или гвоздь, запутавшиеся в них, рвут их под прямым углом, образуя две перпендикулярные друг к другу прорехи, сходящиеся там, где колючка вонзилась в ткань, но трудно вообразить «оторванный» таким способом лоскуток. Мне этого видеть не приходилось. Да и вам тоже. Для того чтобы оторвать лоскуток такой ткани, необходимо почти в любом случае приложить две отдельные силы, действующие в разных направлениях. Если ткань имеет два края — если, например, вы захотите оторвать полоску от носового платка, — тогда и только тогда достаточно будет приложения одной силы. Но в данном случае речь идет о платье, имеющем один край. Чтобы колючки вырвали лоскут где-то выше, где нет краев, необходимо чудо, а одна колючка вообще этого сделать не может. Но даже и у нижнего края для этого требуется не меньше двух колючек, причем они должны действовать в двух сильно различающихся направлениях. Но и это относится лишь к неподрубленному краю ткани. Если же он подрублен, то опять-таки ничего подобного произойти не может. Итак, мы видим, сколько существует серьезных, почти непреодолимых препятствий к тому, чтобы лоскуток

был «вырван» просто «колючками», а нас просят поверить, что было вырвано несколько лоскутков! Причем «один оказался куском нижней оборки»! А второй «был вырван из юбки гораздо выше оборки», то есть колючки не оторвали его от края, а вырвали из внутренней части ткани! Да, человека, отказывающегося поверить в это, вполне можно извинить, но, взятые в целом, эти улики все же дают, пожалуй, меньше оснований для подозрения, чем одно-единственное поразительное обстоятельство, а именно — тот факт, что вещи вообще были оставлены среди кустов убийцами, у которых хватило хладнокровия унести труп. Однако вы поймете меня неверно, если предположите, будто моя цель — доказать, что преступление не было совершено в этой чаще. Оно могло произойти там, или же, что вероятнее, какая-то несчастная случайность привела к нему под кровлей мадам Дюлюк, но этот факт имеет второстепенное значение. Мы пытаемся установить, не где было совершено убийство, а кто его совершил. Мои рассуждения, несмотря на их обстоятельность, имели только целью, во-первых, показать всю нелепость решительных и опрометчивых выводов «Солей» и, во-вторых, что гораздо важнее, наиболее естественным путем

подвести вас к вопросу о том, было ли убийство совершено шайкой или нет.

Мы возобновим рассмотрение этого вопроса, кратко коснувшись отвратительных подробностей, сообщенных полицейским врачом на следствии. Достаточно сказать, что его опубликованное заключение, касающееся числа преступников, вызвало заслуженные насмешки всех видных анатомов Парижа, как неверное и абсолютно безосновательное. Конечно, он не предположил ничего невозможного, но никаких реальных оснований для такого предположения у него не было. Однако нельзя ли найти достаточных оснований для какого-нибудь другого предположения?

Займемся теперь «следами отчаянной борьбы». Позвольте мне спросить, свидетельством чего были сочтены эти следы? Свидетельством присутствия шайки. Но разве на самом деле они не свидетельствуют совсем об обратном? Какая борьба могла завязаться — какая борьба, настолько яростная и длительная, что она оставила «следы» повсюду, — между слабой, беззащитной девушкой и предполагаемой шайкой негодяев? Да они просто схватили бы ее, и все было бы кончено в одно мгновение и без всякого шума. У

жертвы не хватило бы сил вырваться из их грубых рук, и она оказалась бы в полной их власти. Но помните одно: доводы против того, что местом преступления является именно эта чаща, в подавляющем большинстве справедливы, только если считать, что преступников было несколько. Если же предположить, что насильник был один, то тогда — и только тогда — можно представить себе такую яростную и упорную борьбу, которая оставила бы пресловутые «следы».

И еще одно. Я уже упомянул, насколько подозрительным представляется тот факт, что вещи вообще были оставлены там, где их нашли. Почти невозможно вообразить, что их случайно забыли в чаще. У преступников достало хладнокровия (так по крайней мере считается) унести труп, и тем не менее улики куда более очевидные, чем сам труп (который мог вскоре быть изуродован разложением до неузнаваемости), оставляются на месте преступления — я имею в виду носовой платок с именем и фамилией убитой. Если это произошло случайно, то такая случайность исключает шайку. Она могла произойти, только если преступник был один. Будем рассуждать. Человек совершил убийство. Он стоит один перед трупом своей жертвы. Он испытывает глубо-

кий ужас, глядя на неподвижное тело. Бурная вспышка страстей угасла, и его сердцем овладевает естественный страх перед содеянным. Его не подбадривает присутствие сообщников. Он здесь один с убитой. Он трепещет и не знает, как поступить. Но труп необходимо как-то скрыть. Он тащит мертвое тело к реке и оставляет в чаще другие свидетельства своей вины, так как унести все сразу было бы очень трудно или даже вообще невозможно, но он полагает, что вернуться за остальным будет легко. Однако, пока он пробирается к реке, его страх удесятеряется. Со всех сторон до него доносятся звуки, свидетельствующие о близости людей. Много раз он слышит — или ему чудится, что он слышит, — шаги непрошеного свидетеля. Даже огни города пугают его. Но вот после долгих, исполненных ужаса остановок он достигает реки и избавляется от своей жуткой ноши — быть может, воспользовавшись для этого лодкой. Но какой страх перед воздаянием может понудить одинокого убийцу вернуться теперь по трудной и опасной тропе в чащу, полную ужасных воспоминаний? Ни за какие сокровища мира он не решится пойти туда еще раз, чем бы это ему ни грозило. Он не мог бы вернуться, даже если бы хотел. Сейчас он думает только об одном: бежать

отсюда, бежать как можно скорее. Он навсегда поворачивается спиной к этим страшным кустам и обращается в паническое бегство.

Ну, а если бы там действовала шайка? Их многочисленность придала бы им уверенности — закоренелым негодяям ее вообще не занимать стать. Подобные же шайки составляются именно из закоренелых негодяев. Их многочисленность, повторяю я, избавила бы их от растерянности и слепого ужаса, парализующего рассудок одинокого убийцы, о котором я говорил. Если бы не спохватился первый, второй, даже третий из них, четвертый исправил бы их промах. Они ничего не оставили бы в кустах, потому что легко могли бы унести все сразу. Возвращаться им не было бы нужды.

Теперь вспомните, что из верхней юбки, надетой на трупе, была вырвана от подола к талии «полоса дюймов в двенадцать шириной, но не оторвана совсем, а трижды обернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом». Сделано это было, несомненно, для того, чтобы облегчить переноску трупа. Но зачем нескольким мужчинам могло понадобиться такое приспособление? Троим-четверым было бы проще и удобнее нести тело за руки и за ноги. Такая

«ручка» могла понадобиться только человеку, которому предстояло перетаскивать тело одному, а это подводит нас к тому обстоятельству, что «в изгородях, находившихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве указывали, что тут волочили что-то тяжелое». Но неужели несколько мужчин стали бы ломать изгородь, чтобы протащить сквозь нее труп, когда им ничего не стоило бы в одно мгновение перекинуть его через любую ограду? Неужели несколько мужчин стали бы волочить тело по земле, оставляя следы-улики?

И тут нам следует обратиться к одному из замечаний «Коммерсьель», о котором я уже говорил. «От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут, и из него была устроена повязка, проходившая под подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками».

Я уже указывал, что бродяги, воры и другие темные личности всегда имеют при себе носовой платок. Но теперь меня интересует другое. Платок, брошенный в чаще, неопровержимо доказывает, что не отсутствие носового платка

побудило бы преступника воспользоваться этой повязкой для цели, которую ему приписала «Коммерсьель»; и предназначалась повязка отнюдь не для того, чтобы «помешать ей кричать» — для этого ведь он располагал гораздо более надежным средством. Однако в протоколе осмотра трупа говорится о полосе муслина, «свободно обвернутой вокруг шеи и завязанной неподвижным узлом». Это — довольно неопределенное описание, но оно существенно отличается от того, что мы находим в «Коммерсьель». Полоса шириной в восемнадцать дюймов, пусть даже муслиновая, представляет собой довольно крепкую веревку, если скрутить ее в продольном направлении. А она была скручена именно так. Я делаю из этого следующий вывод: одинокий убийца протащил труп несколько десятков шагов (в чаще у заставы или в другом месте — значения не имеет), держа его на весу за повязку, закрепленную скользящим узлом на талии жертвы, но обнаружил, что такая ноша слишком тяжела для него. Он решил дальше волочить ее — следы на земле свидетельствуют, что труп именно волочили. Для этого необходимо привязать веревку к шее жертвы или к ее ногам. Шея представляется ему более удобной, так как подбородок не даст веревке

соскользнуть. Тут убийца, несомненно, подумал о повязке, уже охватывающей пояс жертвы. Но чтобы воспользоваться ею, надо распутать скользящий узел, размотать ее и оторвать от корсажа. Проще оторвать еще одну такую полосу ткани от нижней юбки. Он отрывает такую полосу, завязывает ее на шее мертвой девушки и волочит свою жертву к реке. Тот факт, что была использована «повязка», которую можно было изготовить только ценой определенных усилий и задержки, причем она довольно плохо отвечала своему назначению, ясно показывает, что прибегнуть к ней пришлось под давлением каких-то обстоятельств в тот момент, когда носового платка рядом уже не было, то есть, как мы уже предположили, когда убийца выбрался из чащи (если все произошло именно там) и находился на полпути между чащей и рекой.

Однако, скажете вы, показания мадам Дюлюк (!) не оставляют никаких сомнений, что в час, когда было совершено убийство, или примерно в этот час неподалеку от чащи бродила какая-то шайка. Да, конечно. Вполне возможно, что в момент трагедии или примерно в то же время неподалеку от заставы Дюруль шлялось даже полдесятка шаек вроде описанной мадам Дюлюк.

Но шайка, привлекшая к себе особое внимание благодаря довольно запоздалым и весьма подозрительным показаниям мадам Дюлюк, — это единственная шайка, которая, по словам этой честной и щепетильной дамы, ела ее пироги и пила ее пиво, не побеспокоившись заплатить за них. Et hinc illae irae?[83]

Но что именно показала мадам Дюлюк? «В трактир ввалилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка, вернулись в трактир, когда начинало смеркаться, и переправились на другой берег как будто в большой спешке».

Эта «большая спешка» могла представиться мадам Дюлюк особенно большой потому, что она оплакивала судьбу своих пирогов и пива и, возможно, все еще таила слабую надежду получить причитающиеся ей деньги. Иначе почему она с такой настойчивостью указывает на их «большую спешку», хотя уже начинало смеркаться? Неужели следует удивляться, что даже эта буйная компания спешила вернуться домой? Ведь

---

[83] Сноски: 83
Не отсюда ли этот гнев? *(лат.)*

собиралась гроза, приближалась ночь, а им еще предстояло переправиться через широкую реку в маленьких лодках.

Я говорю — «приближалась ночь», так как еще не стемнело. Ведь неприличная торопливость этих «хулиганов» оскорбила трезвый взор мадам Дюлюк, когда только-только начинало смеркаться. Однако нам сообщают, что в тот же самый вечер мадам Дюлюк и ее старший сын «слышали женские крики неподалеку от трактира». Какими же словами мадам Дюлюк обозначила тот час вечера, когда раздались эти крики? Она их услышала «после того, как совсем стемнело». Но «совсем стемнело» означает полную темноту, а «начинало смеркаться» подразумевает дневной свет. Следовательно, шайка покинула окрестности заставы Дюруль до того, как мадам Дюлюк услышала (?) крики. Но, хотя во всех сообщениях о показаниях мадам Дюлюк эти обозначения времени неизменно приводятся именно в тех словах, которые я повторил сейчас в беседе с вами, пока еще ни газеты, ни полицейские агенты не обратили внимания на грубое противоречие, которое в них содержится.

Я приведу еще только один довод против предположения, что в деле замешана шайка, но этот

один вывод, на мой взгляд, неопровержим. Раз за поимку преступников предложена большая награда и обещано полное прощение тому, кто их выдаст, среди членов такой шайки уж непременно нашелся бы предатель. Каждый член шайки, оказавшись в подобном положении, не столько думает о награде или о возможности избежать кары, сколько опасается предательства со стороны своих сообщников. Он торопится донести на них первым, чтобы другой не успел донести на него. И то, что тайна остается нераскрытой, вернее всего свидетельствует о том, что это — действительно тайна. Подробности этого гнусного преступления известны только одному человеку — или в крайнем случае двум людям — и Богу.

Теперь подведем итоги скудных, но, во всяком случае, верных выводов из нашего долгого анализа. Он показал нам, что либо в трактире мадам Дюлюк произошел несчастный случай, либо в чаще у заставы Дюруль было совершено убийство, причем совершил его любовник покойной девушки или, во всяком случае, ее близкий и тайный знакомый. Про него мы знаем, что он — «смуглый» молодой человек. Эта смуглота, пресловутый «скользящий узел», а также «морской узел», которым были завязаны ленты

шляпки, указывают на моряка. Его отношения с покойной — разбитной, но разборчивой девушкой — позволяют сделать вывод, что он не мог быть простым матросом. Это подтверждается и хорошо написанными гневными письмами, адресованными в газеты. Обстоятельства первого бегства, упомянутые «Меркюри», заставляют связать этого моряка с тем «морским офицером», который, как известно, один раз уже увлек несчастную девушку на гибельный путь.

И здесь весьма уместно вспомнить о том, что этот смуглый молодой человек до сих пор никак не заявил о себе. Я немного отвлекусь и замечу, что он смугл до черноты — эта смуглость настолько необычна, что и Валанс, и мадам Дюлюк обратили внимание только на нее и никаких других его примет не указали. Но почему этот молодой человек исчез? Может быть, шайка его убила? Но в этом случае почему сохранились только следы убийства девушки? Естественно предположить, что убить их должны были бы в одном и том же месте. И где его труп? Убийцы скорее всего избавились бы от них обоих одинаковым способом. Но можно предположить, что он жив и не хочет обнаружить себя, опасаясь обвинения в убийстве. Такое соображение имеет

определенный вес сейчас, на этом позднем этапе, поскольку свидетели видели его с Мари, но в то время, когда произошло убийство, оно не имело никакой силы.

Ни в чем не повинный человек поспешил бы сообщить о случившемся и помог бы розыску преступника. Такое поведение было бы самым разумным. Его видели в обществе убитой. Он переехал с ней через реку на открытом пароме. Даже идиот понял бы, что обличение убийц было бы наиболее верным и к тому же единственным способом очистить себя от подозрений, а предположить, что вечером в воскресенье он был и неповинен в совершенном преступлении, и ничего о нем не знал, невозможно. Однако только в этом случае он, если он остался жив, мог бы не объявить об убийстве и не обличить убийц.

А какими средствами мы располагаем, чтобы узнать истину? Мы обнаружим, что средства эти умножаются и становятся все более верными по мере того, как мы будем продвигаться в нужном направлении. Давайте до конца выясним все подробности первого побега. Давайте познакомимся со всеми обстоятельствами жизни этого «офицера», узнаем, где он сейчас и где находился в час убийства. Давайте тщательно сравним все

письма, присланные в вечернюю газету с целью обвинить в преступлении шайку. Затем сравним эти письма — их стиль и почерк — с письмами, которые ранее присылались в утреннюю газету и содержали столь настойчивые обвинения по адресу Менэ. После чего сравним все эти письма с какими-нибудь письмами «офицера». Попробуем вновь допросить мадам Дюлюк, ее сыновей и кучера омнибуса, чтобы узнать другие приметы «смуглого молодого человека». Искусно составленные вопросы непременно помогут кому-нибудь из вышеперечисленных свидетелей вспомнить такую примету (или еще что-нибудь), хотя сейчас он даже не отдает себе отчета, что ему что-то известно. И давайте проследим лодку, которая утром в понедельник была найдена плывущей вниз по Сене, а затем еще до обнаружения трупа кем-то забрана без ведома начальника пристани и без руля. Соблюдая необходимые предосторожности и действуя настойчиво, мы, без всяких сомнений, разыщем эту лодку, потому что ее не только может опознать лодочник, доставивший ее к пристани, но еще и потому, что в наших руках находится ее руль. Человек, которому нечего опасаться, не оставит на произвол судьбы руль от парусной лодки. И тут я кстати

задам вопрос. О найденной лодке не было дано никакого объявления. Она была отбуксирована к пристани и на следующее утро уже исчезла. Но каким образом ее владелец или наниматель к утру вторника без помощи объявления уже узнал, куда отогнали лодку, найденную в понедельник? Этого нельзя объяснить, не предположив какой-нибудь связи с соответствующим ведомством, какого-нибудь обмена мелкими новостями на основе общих интересов.

Когда я описывал, как убийца один волок свою жертву к реке, я уже упоминал, что затем он, возможно, воспользовался лодкой. Теперь мы можем считать, что тело Мари Роже действительно было брошено в реку с лодки. Произойти иначе это не могло. Кто рискнул бы оставить труп на мелководье у берега? Странные рубцы на спине и плечах жертвы заставляют вспомнить о шпангоутах на дне лодки. Подтверждается это предположение еще и тем, что труп был брошел в воду без груза. Если бы его бросали в воду с берега, к нему обязательно привязали бы груз. Такой недосмотр убийцы мы можем объяснить, только предположив, что второпях он забыл захватить с собой в лодку что-нибудь подходящее. Когда он выбрасывал тело за борт, то, конечно,

обнаружил свой недосмотр, но уже не мог его исправить. Он готов был пойти на любой риск, лишь бы не возвращаться к этому проклятому берегу. Избавившись от своего жуткого балласта, убийца, без сомнения, поспешил к городу. Там он выпрыгнул на какую-нибудь темную пристань. Но лодка? Привязал ли он ее? Нет, он слишком торопился, чтобы тратить время на привязывание лодки. Кроме того, он почувствовал бы, что, привязывая ее к пристани, тем самым оставляет там страшную улику против себя. Ему, естественно, хотелось избавиться от всего, что было связано с его преступлением. Он не только сам бежал без оглядки от этой пристани, но никак не мог оставить там лодку. Конечно же, он пустил ее плыть по течению. Последуем и дальше за игрой нашего воображения. Утром негодяй с ужасом узнает, что лодку поймали и отвели туда, где он имеет обыкновение бывать чуть ли не ежедневно, туда, где он, возможно, обязан бывать по долгу службы. В эту же ночь, не посмев взять из конторы руль, он забирает лодку. Итак, где теперь находится эта лодка, лишенная руля? Вот что нам надо узнать прежде всего. Первые сведения о ней будут нашим первым шагом к верному успеху. Эта лодка с быстротой, которая удивит даже нас самих,

приведет нас к тому, кто плыл с ней в полночь этого рокового воскресенья. Одно подтверждение последует за другим, и убийца будет обнаружен.

(По причинам, которые мы не будем называть, но которые многие наши читатели поймут без всяких объяснений, мы взяли на себя смелость изъять из врученной нам рукописи подробности того, как были использованы немногочисленные улики, обнаруженные Дюпеном. Мы считаем необходимым лишь вкратце сообщить, что цель была достигнута и что префект добросовестно, хотя и с большой неохотой, выполнил условия своего договора с шевалье. Статья мистера По завершается следующим образом. — *Ред.*[84])

Само собой разумеется, что я говорю тут только о совпадениях и ни о чем другом. Того, что я сказал об этом выше, должно быть достаточно. В моем собственном сердце нет веры в сверхъестественное. Ни один мыслящий человек не станет отрицать двоицы — Природы и ее Бога. Бесспорно и то, что последний, творя первую, может по своей воле управлять ею и изменять ее. Я говорю — «по своей воле», ибо речь здесь идет о воле, а не о власти, как это предполагает безу-

---

[84] Сноски: 84
Из журнала, в котором впервые была напечатана эта статья.

мие логики. Конечно, Всевышний может менять свои законы, но мы оскорбляем его, выдумывая необходимость такого изменения. Эти законы с самого начала были созданы так, чтобы обнять любые возможности, какие только таило в себе будущее. Для Бога все — только ТЕПЕРЬ.

И я повторяю, что рассматриваю все, о чем здесь шла речь, только как совпадения. И далее: вдумываясь в мой рассказ, нетрудно усмотреть, что между судьбой злополучной Мэри Сесилии Роджерс — насколько эта судьба известна — и историей некой Мари Роже вплоть до определенного момента существует параллелизм, поразительная точность которого приводит в смущение рассудок. Да, усмотреть это нетрудно. Но не следует полагать, будто я продолжил грустную историю Мари после упомянутого выше момента и проследил весь путь раскрытия тайны ее смерти с задней мыслью, желая намекнуть на дальнейшие совпадения или даже давая понять, что меры, принятые в Париже для обнаружения убийцы хорошенькой гризетки, или меры, опирающиеся на сходный анализ, привели бы и здесь к таким же результатам.

Ведь следует помнить, что при таком ходе рассуждений даже самое крохотное различие в

фактах того и другого случая могло бы привести к колоссальному просчету, потому что тут обе цепи событий начали бы расходиться. Точно так же в арифметике ошибка, сама по себе ничтожнейшая, в ходе вычислений после ряда умножений может дать результат, чрезвычайно далекий от истинного. К тому же не следует забывать, что та самая теория вероятности, на которую я ссылался, налагает запрет на всякую мысль о продолжении такого параллелизма — налагает с решительностью, находящейся в прямой зависимости от длительности и точности уже установленного параллелизма. Это — одна из тех аномалий, которые, хотя и чаруют умы, далекие от математики, тем не менее полностью постижимы только для математиков. Например, обычного читателя почти невозможно убедить, что при игре в кости двукратное выпадение шестерки делает почти невероятным выпадение ее в третий раз и дает все основания поставить против этого любую сумму. Заурядный интеллект не может этого воспринять, он не может усмотреть, каким образом два броска, принадлежащие уже прошлому, могут повлиять на бросок, существующий еще пока только в будущем. Возможность выпадения шестерки кажется точно такой же, как и в любом

случае, — то есть зависящей только от того, как именно будет брошена кость. И это представляется настолько очевидным, что всякое возражение обычно встречается насмешливой улыбкой, а отнюдь не выслушивается с почтительным вниманием. Суть скрытой тут ошибки — грубейшей ошибки — я не могу объяснить в пределах места, предоставленного мне здесь, а людям, искушенным в философии, никакого объяснения и не потребуется. Тут достаточно будет сказать, что она принадлежит к бесконечному ряду ошибок, которые возникают на пути Разума из-за его склонности искать истины в частностях.

1843

Сердце-обличитель[85]

Правда! Я нервный — очень даже нервный, просто до ужаса, таким уж уродился; но как можно называть меня сумасшедшим? От болезни чувства мои только обострились — они вовсе не ослабели, не притупились. И в особенности — тонкость слуха. Я слышал все, что совершалось на небе и на земле. Я слышал многое, что совершалось в аду. Какой я после этого сумасшедший? Слушайте же! И обратите внимание, сколь здраво, сколь рассудительно могу я рассказать все от начала и до конца.

Сам не знаю, когда эта мысль пришла мне в голову; но, явившись однажды, она уже не покидала меня ни днем, ни ночью. Никакого повода у меня не было. И бешенства я никакого не испытывал. Я любил этого старика. Он ни разу не причинил мне зла. Ни разу не нанес обиды. Золото его меня не прельщало. Пожалуй, виной всему был его глаз! Да, именно! Один глаз у него был, как у хищной птицы, — голубоватый, подернутый пленкой. Стоило ему глянуть на меня, и

---

[85] Сноски: 85

© Перевод. В. Хинкис, наследники, 2002

кровь стыла в моих жилах; мало-помалу, исподволь, я задумал прикончить старика и навсегда избавиться от его глаза.

В этом-то вся суть. По-вашему, я сумасшедший. Сумасшедшие ничего не соображают. Но видели бы вы меня. Видели бы вы, как мудро я действовал — с какой осторожностью, с какой предусмотрительностью, с каким искусным притворством принялся я за дело! Всю неделю, перед тем как убить старика, я был с ним сама любезность. И всякую ночь, около полуночи, я поднимал щеколду и приотворял его дверь — тихо-тихо! А потом, когда в щель могла войти моя голова, я вводил туда затемненный фонарь, закрытый наглухо, так плотно, что и капли света не могло просочиться, а следом засовывал и голову. Ах, вы не удержались бы от смеха, если б видели, до чего ловко я ее засовывал! Я делал это медленно — очень, очень медленно, чтобы не потревожить сон старика. Лишь через час голова моя оказывалась внутри, так что я мог видеть старика на кровати. Ха!.. Да разве мог бы сумасшедший действовать столь мудро? А когда моя голова проникала в комнату, я открывал фонарь с осторожностью — с превеликой осторожностью, — открывал его (ведь петли могли скрипнуть) ровно настолько, чтобы

один-единственный тоненький лучик упал на птичий глаз. И все это я проделывал семь долгих ночей — всегда ровно в полночь, — но глаз неизменно бывал закрыт, и я никак не мог покончить с делом, потому что не сам старик досаждал мне, а его Дурной Глаз. И всякое утро, когда светало, я преспокойно входил в комнату и без робости заговаривал с ним, приветливо окликал его по имени и справлялся, как ему спалось ночью. Сами видите, лишь очень проницательный человек мог бы заподозрить, что каждую ночь, ровно в двенадцать, я заглядывал к нему, пока он спал.

На восьмую ночь я отворил дверь с особенной осторожностью. Рука моя скользила медленней, чем минутная стрелка на часах. До той ночи я никогда еще так не упивался своим могуществом, своей прозорливостью. Я едва мог сдерживать торжество. Подумать только, я потихоньку отворял дверь, а старику и во сне не снились мои тайные дела и помыслы. Когда это пришло мне на ум, я даже прыснул со смеху, и он, верно, услышал, потому что вдруг шевельнулся, потревоженный во сне. Вы, может быть, подумаете, что я отступил — но ничуть не бывало. В комнате у него было темным-темно (он боялся воров и плотно закрывал ставни), поэтому я знал, что он

не видит, как приотворяется дверь, и потихоньку все налегал на нее, все налегал.

Я просунул голову внутрь и хотел уже было открыть фонарь, даже нащупал пальцем жестяную защелку, но тут старик подскочил, сел на кровати и крикнул: «Кто там?»

Я затаился и молчал. Целый час я простоял не шелохнувшись, и все это время не слышно было, чтобы он опять лег. Он сидел на кровати и прислушивался — точно так же, как я ночь за ночью прислушивался к бессонной гробовой тишине в четырех стенах.

Но вот я услышал слабый стон и понял, что стон этот исторгнут смертным страхом. Не боль, не горесть исторгли его — о нет! — то было тихое, сдавленное стенание, какое изливается из глубины души, терзаемой страхом. Уж я-то знаю. Сколько раз, ровно в полночь, когда весь мир спал, этот стон рвался из собственной моей груди, умножая своим зловещим эхом страхи, которые раздирали меня. Кому уж знать, как не мне. Я знал, что чувствует старик, и жалел его, но все же посмеивался над ним про себя. Я знал, что ему стало не до сна с того самого мгновения, как легкий шум заставил его шевельнуться на кровати. Ужас одолевал его все сильней. Он пытался убе-

дить себя, что это пустое беспокойство, и не мог. Он твердил себе: «Это всего лишь ветер прошелестел в трубе, это только мышка прошмыгнула по полу», — или: «Это попросту сверчок застрекотал и умолк». Да, он пытался успокоить себя такими уговорами; но все было тщетно.

Все тщетно; потому что черная тень Смерти подкрадывалась к нему и уже накрыла свою жертву. И неотвратимое присутствие этой бесплотной тени заставило его почувствовать — незримо и неслышимо почувствовать, что моя голова здесь, в комнате.

Я ждал долго и терпеливо, но не слышал, чтобы он лег снова, и тогда решился приоткрыть фонарь — разомкнуть тонкую-претонкую щелочку. Я стал его приоткрывать — спокойно-преспокойно, так что трудно даже этому поверить, — и вот наконец один-единственный лучик не толще паутинки пробился сквозь щель и упал на птичий глаз.

Он был открыт, широко-преширoко открыт, и от одного его вида я пришел в ярость. Он был передо мной как на ладони, — голубоватый, подернутый отвратительной пленкой, от которой я весь похолодел, но лицо и все тело старика скрывала темнота, потому что я, словно по наитию,

направил луч прямо в проклятую глазницу.

Ну, не говорил ли я вам, что вы полагаете сумасшествием лишь крайнее обострение чувств? Так вот, в ушах у меня послышался тихий, глухой, частый стук, будто тикали часы, завернутые в вату. Мне ли не знать этого звука. То билось сердце старика. Его удары распалили мою ярость, подобно тому как барабанный бой будит отвагу в душе солдата.

Но даже тогда я сдержал себя и не шелохнулся. Я затаил дыхание. Фонарь не дрогнул в моей руке. Я проверил, насколько твердо я могу удерживать луч, направленный в его глаз. А меж тем адский барабанный грохот сердца нарастал. Что ни миг, он становился все быстрей и быстрей, все громче и громче. Страх старика неотвратимо дошел до крайности! С каждым мгновением сердце его билось все громче, да, все громче!.. Понятно вам? Я же сказал, что я нервный: это так. И тогда, глухой ночью, в зловещем безмолвии старого дома, неслыханный этот звук поверг меня самого в беспредельный ужас. И все же еще несколько минут я сдерживал себя и не шелохнулся. Но удары звучали все громче, громче! Казалось, сердце вот-вот разорвется. И тут у меня возникло новое опасение — ведь стук мог услышать кто-нибудь из

соседей! Час старика пробил! С громким воплем я сорвал заслонку с фонаря и прыгнул в комнату. Старик вскрикнул только раз — один-единственный раз. Я мигом стащил его на пол и придавил тяжелой кроватью. Дело было сделано на славу, и я сиял от радости. Но долгие минуты сердце еще глухо стучало. Однако это меня не беспокоило; теперь уж его не могли услышать за стеной. Наконец все смолкло. Старик был мертв. Я оттащил кровать и осмотрел труп. Да, он был навеки, навеки мертв. Я приложил руку к его груди, против сердца, и держал так долгие минуты. Сердце не билось. Он был навеки мертв. Его глаз больше не потревожит меня.

Если вы все еще считаете меня сумасшедшим, вам придется переменить свое мнение, когда я расскажу о тех мудрых предосторожностях, с какими я спрятал тело. Ночь была уже на исходе, и я действовал поспешно, но без шума. Первым делом я расчленил труп. Отрезал голову, руки и ноги.

Потом я оторвал три половицы и уложил все останки меж брусьев. После этого приладил доски на место так хитроумно, так ловко, что никакой человеческий глаз — даже его глаз — не заметил бы ничего подозрительного. Смывать следы не

пришлось: нигде ни пятнышка, ни капельки крови. Уж об этом я позаботился. Все попало прямехонько в таз — ха-ха!

Когда я управился со всем этим, было уже четыре часа — но темнота стояла такая же, как в полночь. Едва колокол пробил четыре, в парадную дверь постучали. Я спустился вниз и отворил со спокойной душой — чего мне теперь было бояться? Вошли трое и как нельзя более учтиво сообщили, что они из полиции. Сосед слышал ночью крик; возникло подозрение, что совершено злодейство; об этом сообщили в полицейский участок, и они (полицейские) получили приказ обыскать дом.

Я улыбнулся — в самом деле, чего мне было бояться? Я любезно пригласил их в комнаты. Я объяснил, что это сам я вскрикнул во сне. А старика нет, заметил я мимоходом, он уехал из города. Я водил их по всему дому. Я просил искать — искать хорошенько. Наконец я провел их в его комнату. Я показал им все его драгоценности, целехонькие, нетронутые. Самонадеянность моя была столь велика, что я принес в комнату стулья и предложил им отдохнуть здесь от трудов, а сам, преисполненный торжества, с отчаянной дерзостью поставил свой стул на то самое место,

где покоился труп моей жертвы.

Полицейские были удовлетворены. Мое поведение их убедило. Я держался с редкой непринужденностью. Они сели и принялись болтать о всяких пустяках, а я оживленно поддержал разговор. Но в скором времени я почувствовал, что бледнею, и мне захотелось поскорей их спровадить. У меня болела голова и, кажется, звенело в ушах; а они все сидели и болтали. Звон становился явственней; он не смолкал, нет, он становился явственней; я заговорил еще более развязно, чтобы избавиться от него; но он не смолкал, а лишь обретал отчетливость, — и наконец я обнаружил, что он раздается вовсе не у меня в ушах.

Без сомнения, я очень побледнел; теперь я говорил без умолку и повысил голос. Но звук нарастал — и что мог я поделать? Это был тихий, глухой, частый стук — очень похожий на тиканье часов, если их завернуть в вату. Я задыхался, мне не хватало воздуха, — а полицейские ничего не слышали. Я заговорил еще быстрей — еще исступленней; но звук нарастал неотвратимо. Я вскочил и затеял какой-то нелепый спор, громогласно нес всякую чушь, неистово размахивал руками; но звук неотвратимо нарастал. Отчего они не хотят уйти? Я расхаживал по комнате

и топал ногами, как будто слова этих людей привели меня в ярость, — но звук неотвратимо нарастал. О Господи! Что мог я поделать? Я брызгал слюной — я бушевал — я ругался! Я двигал стул, на котором только что сидел, со скрежетом возил его по половицам, но звук перекрывал все и нарастал непрестанно. Он становился все громче — громче — громче! А эти люди мило болтали и улыбались. Возможно ли, что они ничего не слышали? Господи всемогущий!.. Нет, нет! Они слышали!.. они подозревали!.. они знали!.. они забавлялись моим ужасом! — так думал я и так думаю посейчас. Но нет, что угодно, только не это мучение! Будь что будет, только бы положить конец этому издевательству! Я не мог более выносить их лицемерные улыбки! Я чувствовал, что крик должен вырваться из моей груди, иначе я умру!.. Вот… опять!.. Чу! Громче! Громче! Громче! Громче!..

— Негодяи! — возопил я. — Будет вам притворяться! Я сознаюсь!.. оторвите половицы!.. вот здесь, здесь!.. это стучит его мерзкое сердце!

1843

Черный кот[86]

Я не надеюсь и не притязаю на то, что кто-нибудь поверит самой чудовищной и вместе с тем самой обыденной истории, которую я собираюсь рассказать. Только сумасшедший мог бы на это надеяться, коль скоро я сам себе не могу поверить. А я не сумасшедший — и все это явно не сон. Но завтра меня уже не будет в живых, и сегодня я должен облегчить свою душу покаянием. Единственное мое намерение — это ясно, кратко, не мудрствуя лукаво, поведать миру о некоторых чисто семейных событиях. Мне эти события в конце концов принесли лишь ужас — они извели, они погубили меня. И все же я не стану искать разгадки. Я из-за них натерпелся страху — многим же они покажутся безобидней самых несуразных фантазий. Потом, быть может, какой-нибудь умный человек найдет сгубившему меня призраку самое простое объяснение — такой человек, с умом, более холодным, более логическим и, главное, не столь впечатлительным, как у меня, усмотрит в обстоятельствах, о которых я не могу

---

[86] Сноски: 86

© Перевод. В. Хинкис, наследники, 2002

говорить без благоговейного трепета, всего только цепь закономерных причин и следствий.

С детских лет я отличался послушанием и кротостью нрава. Нежность моей души проявлялась столь открыто, что сверстники даже дразнили меня из-за этого. В особенности любил я разных зверюшек, и родители не препятствовали мне держать домашних животных. С ними я проводил всякую свободную минуту и бывал наверху блаженства, когда мог их кормить и ласкать. С годами эта особенность моего характера развивалась, и когда я вырос, немногое в жизни могло доставить мне более удовольствия. Кто испытал привязанность к верной и умной собаке, тому нет нужды объяснять, какой горячей благодарностью платит она за это. В бескорыстной и самоотверженной любви зверя есть нечто, покоряющее сердце всякого, кому не раз довелось изведать вероломную дружбу и обманчивую преданность, свойственные Человеку.

Женился я рано и, по счастью, обнаружил в своей супруге близкие мне наклонности. Видя мое пристрастие к домашним животным, она не упускала случая меня порадовать. У нас были птицы, золотые рыбки, породистая собака, кролики, обезьянка и кот.

Кот, необычайно крупный, красивый и сплошь черный, без единого пятнышка, отличался редким умом. Когда заходила речь о его сообразительности, моя жена, в душе не чуждая суеверий, часто намекала на старинную народную примету, по которой всех черных котов считали оборотнями. Намекала, разумеется, не всерьез — и я привожу эту подробность единственно для того, что сейчас самое время о ней вспомнить.

Плутон — так звали кота — был моим любимцем, и я часто играл с ним. Я всегда сам кормил его, и он ходил за мной по пятам, когда я бывал дома. Он норовил даже увязаться за мной на улицу, и мне стоило немалого труда отвадить его от этого.

Дружба наша продолжалась несколько лет, и за это время мой нрав и характер — под влиянием Дьявольского Соблазна — резко изменились (я сгораю от стыда, признаваясь в этом) в худшую сторону. День ото дня я становился все мрачней, раздражительней, безразличней к чувствам окружающих. Я позволял себе грубо кричать на жену. В конце концов я даже поднял на нее руку. Мои питомцы, разумеется, тоже чувствовали эту перемену. Я не только перестал обращать на них внимание, но даже обходился с ними дурно.

Однако к Плутону я все же сохранил довольно почтительности и не позволял себе его обижать, как обижал без зазрения совести кроликов, обезьянку и даже собаку, когда они ласкались ко мне или случайно попадались под руку. Но болезнь развивалась во мне, — а нет болезни ужаснее пристрастия к Алкоголю! — и наконец даже Плутон, который уже состарился и от этого стал капризнее, — даже Плутон начал страдать от моего скверного нрава.

Однажды ночью я вернулся в сильном подпитии, побывав в одном из своих любимых кабачков, и тут мне взбрело в голову, будто кот меня избегает. Я поймал его; испуганный моей грубостью, он не сильно, но все же до крови, укусил меня за руку. Демон ярости тотчас вселился в меня. Я более не владел собою. Душа моя, казалось, вдруг покинула тело; и злоба, свирепее дьявольской, распаляемая джином, мгновенно обуяла все мое существо. Я выхватил из кармана жилетки перочинный нож, открыл его, стиснул шею несчастного кота и без жалости вырезал ему глаз! Я краснею, я весь горю, я содрогаюсь, описывая это чудовищное злодейство.

Наутро, когда рассудок вернулся ко мне — когда я проспался после ночной попойки и винные

пары выветрились, — грязное дело, лежавшее на моей совести, вызвало у меня раскаяние, смешанное со страхом; но то было лишь смутное и двойственное чувство, не оставившее следа в моей душе. Я снова стал пить запоем и вскоре утопил в вине самое воспоминание о содеянном.

Рана у кота тем временем понемногу заживала. Правда, пустая глазница производила ужасающее впечатление, но боль, по-видимому, утихла. Он все так же расхаживал по дому, но, как и следовало ожидать, в страхе бежал, едва завидя меня. Сердце мое еще не совсем ожесточилось, и поначалу я горько сожалел, что существо, некогда так ко мне привязанное, теперь не скрывает своей ненависти. Но вскоре чувство это уступило место озлоблению. И тогда, словно в довершение окончательной моей погибели, во мне пробудился дух противоречия. Философы оставляют его без внимания. Но я убежден до глубины души, что дух противоречия принадлежит к извечным побуждающим началам в сердце человеческом — к неотторжимым, первозданным способностям, или чувствам, которые определяют самую природу Человека. Кому не случалось сотню раз совершить дурной или бессмысленный поступок безо всякой на то причины, лишь потому, что

этого нельзя делать? И разве не испытываем мы, вопреки здравому смыслу, постоянного искушения нарушить Закон лишь потому, что это запрещено? Так вот, дух противоречия пробудился во мне в довершение окончательной моей погибели. Эта непостижимая склонность души к самоистязанию — к насилию над собственным своим естеством, склонность творить зло ради зла — и побудила меня довести до конца мучительство над бессловесной тварью. Как-то утром я хладнокровно накинул коту на шею петлю и повесил его на суку — повесил, хотя слезы текли у меня из глаз и сердце разрывалось от раскаянья, — повесил, потому что знал, как он некогда меня любил, потому что чувствовал, как несправедливо я с ним поступаю, — повесил, потому что знал, какой совершаю грех — смертный грех, обрекающий мою бессмертную душу на столь страшное проклятие, что она оказалась бы низвергнута — будь это возможно — в такие глубины, куда не простирается даже милосердие Всеблагого и Всекарающего Господа.

В ночь после совершения этого злодейства меня разбудил крик: «Пожар!» Занавеси у моей кровати полыхали. Весь дом был объят пламенем. Моя жена, слуга и я сам едва не сгорели заживо.

Я был разорен совершенно. Огонь поглотил все мое имущество, и с тех пор отчаянье стало моим уделом.

Во мне довольно твердости, дабы не пытаться изыскать причину и следствие, связать несчастье со своим безжалостным поступком. Я хочу лишь проследить в подробности всю цепь событий — и не намерен пренебречь ни единым, пусть даже сомнительным звеном. На другой день после пожара я побывал на пепелище. Все стены, кроме одной, рухнули. Уцелела лишь довольно тонкая внутренняя перегородка посреди дома, к которой примыкало изголовье моей кровати. Здесь штукатурка вполне противостояла огню — я объяснил это тем, что стена была оштукатурена совсем недавно. Подле нее собралась большая толпа, множество глаз пристально и жадно всматривались все в одно место. Слова: «Странно!», «Поразительно!» и всякие восклицания в том же роде возбудили мое любопытство. Я подошел ближе и увидел на белой поверхности нечто вроде барельефа, изображавшего огромного кота. Точность изображения поистине казалась непостижимой. На шее у кота была веревка.

Сначала этот призрак — я попросту не могу назвать его иначе — поверг меня в ужас и

недоумение. Но, поразмыслив, я несколько успокоился. Я вспомнил, что повесил кота в саду подле дома. Во время переполоха, поднятого пожаром, сад наводнила толпа — кто-то перерезал веревку и швырнул кота через открытое окно ко мне в комнату. Возможно, таким способом он хотел меня разбудить. Когда стены рухнули, развалины притиснули жертву моей жестокости к свежеоштукатуренной перегородке, и от жара пламени и едких испарений на ней запечатлелся рисунок, который я видел.

Хотя я успокоил если не свою совесть, то по крайней мере ум, быстро объяснив поразительное явление, которое только что описал, оно все же оставило во мне глубокий след. Долгие месяцы меня неотступно преследовал призрак кота; и тут в душу мою вернулось смутное чувство, внешне, но только внешне, похожее на раскаяние. Я начал даже жалеть об утрате и искал в грязных притонах, откуда теперь почти не вылезал, похожего кота той же породы, который заменил бы мне бывшего моего любимца.

Однажды ночью, когда я сидел, томимый полузабытьем, в каком-то богомерзком месте, внимание мое вдруг привлекло что-то черное на одной из огромных бочек с джином или ромом,

из которых состояла едва ли не вся обстановка заведения. Несколько минут я не сводил глаз с бочки, недоумевая, как это я до сих пор не замечал столь странной штуки. Я подошел и коснулся ее рукой. То был черный кот, очень крупный — под стать Плутону — и похожий на него как две капли воды, с одним лишь отличием. В шкуре Плутона не было ни единой белой шерстинки; а у этого кота оказалось грязно-белое пятно чуть ли не во всю грудь.

Когда я коснулся его, он вскочил с громким мурлыканьем и потерся о мою руку, видимо, очень обрадованный моим вниманием. А ведь я как раз искал такого кота. Я тотчас пожелал его купить; но хозяин заведения отказался от денег — он не знал, откуда этот кот взялся, — никогда его раньше не видел.

Я все время гладил кота, а когда собрался домой, он явно пожелал идти со мною. Я ему не препятствовал; по дороге я иногда нагибался и поглаживал его. Дома он быстро освоился и сразу стал любимцем моей жены.

Но сам я вскоре начал испытывать к нему растущую неприязнь. Этого я никак не ожидал; однако — не знаю, как и почему это случилось, — его очевидная любовь вызывала во мне лишь

отвращение и досаду. Мало-помалу эти чувства вылились в злейшую ненависть. Я всячески избегал кота; лишь смутный стыд и память о моем прежнем злодеянии удерживали меня от расправы над ним. Проходили недели, а я ни разу не ударил его и вообще не тронул пальцем; но медленно — очень медленно — мною овладело неизъяснимое омерзение, и я молчаливо бежал от постылой твари, как от чумы.

Я ненавидел этого кота тем сильней, что он, как обнаружилось в первое же утро, лишился, подобно Плутону, одного глаза. Однако моей жене он стал от этого еще дороже, она ведь, как я уже говорил, сохранила в своей душе ту мягкость, которая некогда была мне свойственна и служила для меня неиссякаемым источником самых простых и чистых удовольствий.

Но, казалось, чем более возрастала моя недоброжелательность, тем крепче кот ко мне привязывался. Он ходил за мной по пятам с упорством, которое трудно описать. Стоило мне сесть, как он забирался под мой стул или прыгал ко мне на колени, донимая меня своими отвратительными ласками. Когда я вставал, намереваясь уйти, он путался у меня под ногами, так что я едва не падал, или, вонзая острые когти в мою одежду,

взбирался ко мне на грудь. В такие минуты мне нестерпимо хотелось убить его на месте, но меня удерживало до некоторой степени сознание прежней вины, а главное — не стану скрывать, — страх перед этой тварью.

В сущности, то не был страх перед каким-либо конкретным несчастьем, — но я затрудняюсь определить это чувство другим словом. Мне стыдно признаться — даже теперь, за решеткой, мне стыдно признаться, — что чудовищный ужас, который вселял в меня кот, усугубило самое немыслимое наваждение. Жена не раз указывала мне на белесое пятно, о котором я уже упоминал, единственное, что внешне отличало эту странную тварь от моей жертвы. Читатель, вероятно, помнит, что пятно это было довольно большое, однако поначалу очень расплывчатое; но медленно — едва уловимо, так что разум мой долгое время восставал против столь очевидной нелепости, — оно приобрело наконец неумолимо ясные очертания. Не могу без трепета назвать то, что оно отныне изображало — из-за этого главным образом я испытывал отвращение и страх и избавился бы, если б только посмел, от проклятого чудовища, — отныне, да будет вам ведомо, оно являло взору нечто мерзкое — нечто зловещее, —

ВИСЕЛИЦУ! — это кровавое и грозное оружие Ужаса и Злодейства — Страдания и Погибели!

Теперь я воистину был несчастнейшим из смертных. Презренная тварь, подобная той, которую я прикончил, не моргнув глазом, — эта презренная тварь причиняла мне — мне, человеку, сотворенному по образу и подобию Всевышнего, — столько невыносимых страданий! Увы! Денно и нощно не знал я более благословенного покоя! Днем кот ни на миг не отходил от меня, ночью же я что ни час пробуждался от мучительных сновидений и ощущал горячее дыхание этого существа на своем лице и его невыносимую тяжесть, — кошмар во плоти, который я не в силах был стряхнуть, — до конца дней навалившуюся мне на сердце!

Эти страдания вытеснили из моей души последние остатки добрых чувств. Я лелеял теперь лишь злобные мысли — самые черные и злобные мысли, какие только могут прийти в голову. Моя обычная мрачность переросла в ненависть ко всему сущему и ко всему роду человеческому; и более всех страдала от внезапных, частых и неукротимых взрывов ярости, которым я слепо предавался, моя безропотная и многотерпеливая жена.

Однажды по какой-то хозяйственной надобности мы с ней спустились в подвал старого дома, в котором бедность принуждала нас жить. Кот увязался следом за мной по крутой лестнице, я споткнулся, едва не свернул себе шею и обезумел от бешенства. Я схватил топор и, позабыв в гневе презренный страх, который до тех пор меня останавливал, готов был нанести коту такой удар, что зарубил бы его на месте. Но жена удержала мою руку. В ярости, перед которой бледнеет ярость самого дьявола, я вырвался и раскроил ей голову топором. Она упала без единого стона.

Совершив это чудовищное убийство, я с полнейшим хладнокровием стал искать способа спрятать труп. Я понимал, что не могу вынести его из дома днем или даже под покровом ночи без риска, что это увидят соседи. Много всяких замыслов приходило мне на ум. Сперва я хотел разрубить тело на мелкие куски и сжечь в печке. Потом решил закопать его в подвале. Тут мне подумалось, что лучше, пожалуй, бросить его в колодец на дворе — или забить в ящик, нанять носильщика и велеть вынести его из дома. Наконец, я избрал, как мне казалось, наилучший путь. Я решил замуровать труп в стене, как некогда замуровывали свои жертвы средневековые

монахи.

Подвал прекрасно подходил для такой цели. Кладка стен была непрочной, к тому же не столь давно их наспех оштукатурили, и по причине сырости штукатурка до сих пор не просохла. Более того, одна стена имела выступ, в котором для украшения устроено было подобие камина или очага, позднее заложенного кирпичами и тоже оштукатуренного. Я не сомневался, что легко сумею вынуть кирпичи, упрятать туда труп и снова заделать отверстие так, что самый наметанный глаз не обнаружит ничего подозрительного.

Я не ошибся в расчетах. Взяв лом, я легко вывернул кирпичи, поставил труп стоймя, прислонив его к внутренней стене, и без труда водворил кирпичи на место. Со всяческими предосторожностями я добыл известь, песок и паклю, приготовил штукатурку, совершенно неотличимую от прежней, и старательно замазал новую кладку. Покончив с этим, я убедился, что все в полном порядке. До стены словно никто и не касался. Я прибрал с полу весь мусор, до последней крошки. Затем огляделся с торжеством и сказал себе:

— На сей раз по крайней мере труды мои не пропали даром.

После этого я принялся искать тварь, бывшую

причиной стольких несчастий; теперь я наконец твердо решился ее убить. Попадись мне кот в то время, участь его была бы решена; но хитрый зверь, напуганный, как видно, моей недавней яростью, исчез, будто в воду канул. Невозможно ни описать, ни даже вообразить, сколь глубокое и блаженное чувство облегчения наполнило мою грудь, едва ненавистный кот исчез. Всю ночь он не показывался; то была первая ночь, с тех пор как он появился в доме, когда я спал крепким и спокойным сном; да, спал, хотя на душе моей лежало бремя преступления.

Прошел второй день, потом третий, а мучителя моего все не было. Я вновь дышал свободно. Чудовище в страхе бежало из дома навсегда! Я более его не увижу! Какое блаженство! Раскаиваться в содеянном я и не думал. Было учинено короткое дознание, но мне не составило труда оправдаться. Сделали даже обыск — но, разумеется, ничего не нашли. Я не сомневался, что отныне буду счастлив.

На четвертый день после убийства ко мне неожиданно нагрянули полицейские и снова произвели в доме тщательный обыск. Однако я был уверен, что тайник невозможно обнаружить, и чувствовал себя преспокойно. Полицейские

велели мне присутствовать при обыске. Они обшарили все уголки и закоулки. Наконец они в третий или четвертый раз спустились в подвал. Я не повел и бровью. Сердце мое билось так ровно, словно я спал сном праведника. Я прохаживался по всему подвалу. Скрестив руки на груди, я неторопливо вышагивал взад-вперед. Полицейские сделали свое дело и собрались уходить. Сердце мое ликовало, и я не мог сдержаться. Для полноты торжества я жаждал сказать хоть словечко и окончательно убедить их в своей невиновности.

— Господа, — сказал я наконец, когда они уже поднимались по лестнице, — я счастлив, что рассеял ваши подозрения. Желаю вам всем здоровья и немного более учтивости. Кстати, господа, это… это очень хорошая постройка (в неистовом желании говорить непринужденно я едва отдавал себе отчет в своих словах), я сказал бы даже, что постройка попросту превосходна. В кладке этих стен — вы торопитесь, господа? — нет ни единой трещинки. — И тут, упиваясь своей безрассудной удалью, я стал с размаху колотить тростью, которую держал в руке, по тем самым кирпичам, где был замурован труп моей благоверной.

Господи Боже, спаси и оборони меня от когтей сатаны! Едва смолкли отголоски этих ударов,

как мне откликнулся голос из могилы!.. Крик, сперва глухой и прерывистый, словно детский плач, быстро перешел в неумолчный, громкий, протяжный вопль, дикий и нечеловеческий, — в звериный вой, в душераздирающее стенание, которое выражало ужас, смешанный с торжеством, и могло исходить только из ада, где вопиют все обреченные на вечную муку и злобно ликуют дьяволы.

Нечего и говорить о том, какие безумные мысли полезли мне в голову. Едва не лишившись чувств, я отшатнулся к противоположной стене. Мгновение полицейские неподвижно стояли на лестнице, скованные ужасом и удивлением. Но тотчас же десяток сильных рук принялись взламывать стену. Она тотчас рухнула. Труп моей жены, уже тронутый распадом и перепачканный запекшейся кровью, открылся взору. На голове у нее, разинув красную пасть и сверкая единственным глазом, восседала гнусная тварь, которая коварно толкнула меня на убийство, а теперь выдала меня своим воем и обрекла на смерть от руки палача. Я замуровал это чудовище в каменной могиле.

1843

Заживо погребенные[87]

Есть темы, проникнутые всепокоряющим интересом, но слишком ужасные, чтобы стать законным достоянием литературы. Обыкновенно романисту надлежит их избегать, если он не хочет оскорбить или оттолкнуть читателя. Прикасаться к ним подобает лишь в том случае, когда они освящены и оправданы непреложностью и величием истины. Так, например, мы содрогаемся от «сладостной боли», читая о переправе через Березину, о землетрясении в Лиссабоне, о чуме в Лондоне, о Варфоломеевской ночи или о том, как в калькуттской Черной Яме задохнулись сто двадцать три узника. Но в этих описаниях волнует сама достоверность — сама подлинность — сама история. Будь они вымышлены, мы не испытали бы ничего, кроме отвращения.

Я перечислил лишь некоторые из знаменитейших и величайших исторических трагедий; но самая их огромность потрясает воображение ничуть не меньше, чем зловещая сущность. Мне нет нужды напоминать читателю, что из длин-

---

[87] Сноски: 87

© Перевод. В. Хинкис, наследники, 2002

ного и мрачного перечня людских несчастий я мог бы извлечь немало отдельных свидетельств подлинного страдания, гораздо более жестоких, нежели любое из этих всеобщих бедствий. Воистину, настоящее горе, наивысшая боль всегда единственны, неповторимы. И коль скоро испить до дна эту горькую чашу приходится лишь человеку, а не человечеству — возблагодарим за это милосердного творца!

Погребение заживо, несомненно, чудовищнее всех ужасов, какие выпали на долю смертного. И здравомыслящий человек едва ли станет отрицать, что это случалось часто, очень часто. Грань, отделяющая Жизнь от Смерти, в лучшем случае, обманчива и неопределенна. Кто может сказать, где кончается одно и начинается другое? Известно, что есть болезни, при которых исчезают все явные признаки жизни, но, строго говоря, они не исчезают совершенно, а лишь прерываются. Возникает временная остановка в работе неведомого механизма. Наступает срок, и некое незримое таинственное начало вновь приводит в движение волшебные крыла и магические колеса. Серебряная нить не оборвана навеки, и златой сосуд не разбит безвозвратно. Но где в эту пору обреталась душа?

Однако, кроме неизбежного заключения априори, что соответствующие причины влекут за собой соответствующие следствия, и поскольку известны случаи, когда жизнедеятельность прерывается, не подлежит сомнению, что людей иногда хоронят заживо, — кроме этого общего соображения, опыт медицины и самой жизни прямо свидетельствует, что это действительно бывало не раз. При необходимости я мог бы сослаться на целую сотню самых достоверных примеров. Один такой случай, весьма примечательный и, вероятно, еще не изгладившийся из памяти некоторых читателей, имел место не столь давно в соседнем городе Балтиморе и произвел на многих потрясающее, неотразимое впечатление. Супругу одного из самых почтенных граждан — известного юриста и члена конгресса — постигла внезапная и необъяснимая болезнь, перед которой оказалось бессильно все искусство медиков. После тяжких страданий наступила смерть или состояние, которое сочли смертью. Никто даже не подозревал, да и не имел причин подозревать, что она вовсе не умерла. Обнаружились все обычные признаки смерти. Лицо осунулось, черты его заострились. Губы стали белее мрамора. Глаза помутнели. Наступило

окоченение. Сердце не билось. Так она пролежала три дня, и за это время тело сделалось твердым, как камень. Одним словом, надо было поспешить с похоронами, поскольку труп, казалось, быстро разлагается.

Ее похоронили в семейном склепе, и три года никто не тревожил могильный покой. По прошествии этого времени склеп открыли, чтобы установить там саркофаг, — но увы! — какое страшное потрясение ожидало ее супруга, который своими руками отворил дверь! Едва створки распахнулись наружу, что-то, закутанное в белое, со стуком упало прямо в его объятия. То был скелет его жены в еще не истлевшем саване.

Тщательное расследование показало, что она ожила через два дня после погребения и билась в гробу, который упал на пол с уступа или с возвышения и раскололся, так что ей удалось встать. Случайно забытый масляный фонарь, налитый дополна, теперь оказался пуст; впрочем, масло могло улетучиться само по себе. На верхней ступени лестницы при входе в зловещую гробницу валялся большой обломок гроба, которым она, по всей видимости, колотила в железную дверь, призывая на помощь. При этом она, вероятно, лишилась чувств или умерла от страха; падая,

она зацепилась саваном за какой-то железный крюк, торчавший из стены. Так и осталась она на месте, так и истлела стоя.

В 1810 году во Франции был случай погребения заживо, который красноречиво свидетельствует, что подлинные события воистину бывают удивительней вымыслов сочинителей. Героиней этой истории стала мадемуазель Викторина Лафуркад, юная девица из знатного семейства, богатая и на редкость красивая. Среди ее многочисленных поклонников был Жюльен Боссюэ, бедный парижский littérateur[88] или журналист. Его таланты и обаяние пленили богатую наследницу, и она, кажется, полюбила его всем сердцем; но из сословного высокомерия она все же решилась отвергнуть его и отдать руку мосье Ренелю, банкиру и довольно известному дипломату. После свадьбы, однако, супруг тотчас к ней охладел и, вероятно, дурно с нею обращался. Прожив несколько лет в несчастном браке, она умерла — по крайней мере состояние ее было столь похоже на смерть, что ни у кого не возникло и тени сомнения. Ее похоронили, — но не в склепе, а в обыкновенной могиле близ усадьбы, где она

[88] Сноски: 88
Литератор *(фр.).*

родилась. Влюбленный юноша, терзаемый отчаянием и все еще волнуемый былой страстью, отправляется из столицы в далекую провинцию с романтическим намерением вырыть тело и взять на память чудесные локоны покойной. Он разыскивает могилу. В полночь он откапывает гроб и принимается уже состригать локоны, как вдруг его возлюбленная открывает глаза. Как оказалось, она была похоронена заживо. Жизнь не вполне покинула несчастную; ласки влюбленного пробудили ее от летаргии, ошибочно принятой за смерть. Он поспешил перенести ее в свою комнату на постоялом дворе. Обладая немалыми познаниями в медицине, он применил самые сильные укрепляющие лекарства. Наконец она ожила. Она узнала своего спасителя. Она оставалась с ним до тех пор, пока здоровье ее понемногу не восстановилось. Женское сердце не камень, и последний урок, преподанный любовью, смягчил его совершенно. Она отдала свое сердце Боссюэ. Она не вернулась к супругу, но, сохранив свое воскресение в тайне, уехала вместе с верным возлюбленным в Америку. Через двадцать лет оба вернулись во Францию, уверенные, что время достаточно изменило ее внешность и даже близкие ее не узнают. Однако они ошиблись; при

первой же встрече мосье Ренель тотчас узнал супругу и потребовал, чтобы она к нему вернулась. Она отвергла его притязания; и беспристрастный суд решил дело в ее пользу, постановив, что в силу особых обстоятельств, а также за давностью времени супружеские права утрачены не только по справедливости, но и по букве закона.

Лейпцигский «Хирургический журнал» — весьма уважаемый и заслуживающий доверия печатный орган, достойный того, чтобы кто-нибудь из американских издателей выпускал его в переводе на наш язык, — сообщает в последнем номере о подобном же прискорбном происшествии.

Один артиллерийский офицер, человек огромного роста и несокрушимого здоровья, был сброшен норовистой лошадью и сильно ушиб голову, отчего мгновенно лишился чувств; в черепе обнаружилась небольшая трещина, но врачи не видели прямой опасности для жизни. Трепанация черепа прошла успешно. Больному пустили кровь и пользовали его прочими обычными средствами. Но постепенно он впадал во все более глубокое оцепенение, и наконец, казалось, наступила смерть.

Стояла жара, и его похоронили поспешно до

неприличия где-то на общем кладбище. Похороны были в четверг. В ближайшее воскресенье многие, как обычно, пришли навестить могилы, и около полудня один крестьянин произвел сильное волнение, утверждая, что присел отдохнуть на могилу офицера и вдруг почувствовал сотрясение земли, словно покойник норовил встать из гроба. Поначалу его рассказу мало кто верил, но неподдельный ужас и твердая убежденность, с которыми он доказывал истинность своих слов, в конце концов возымели действие на толпу. Бросились за лопатами, в несколько минут раскопали могилу, такую мелкую, что стыдно было смотреть, и голова офицера предстала на свет. Казалось, он был мертв, но сидел скорчившись в гробу, крышку которого ему удалось приподнять отчаянным усилием.

Его тотчас отвезли в ближайшую больницу, где выяснилось, что он жив, хотя и лишился чувств от удушья. Через несколько часов он пришел в себя, стал узнавать знакомых и, путаясь в словах, рассказал о невыносимых страданиях, которые претерпел в могиле.

Судя по его рассказу, сознание теплилось в нем более часа после похорон, а затем он впал в беспамятство. Могила была наспех забросана рыхлой

землей, так что оставался некоторый приток воздуха. Он услышал над головой топот множества ног и попытался привлечь к себе внимание. Как он объяснил, шум на кладбище пробудил его от мертвого сна, но, едва очнувшись, он сразу понял всю безысходность своего положения.

Сообщают, что больной уже поправлялся и был на пути к полному выздоровлению, но по вине шарлатанов пал жертвой медицинского опыта. Они применили гальваническую батарею, и он скончался во время бурного приступа, вызванного, как это бывает, действием тока.

Поскольку речь зашла о гальванической батарее, мне вспомнился, кстати, широко известный и воистину поразительный случай, когда ее действие вернуло к жизни молодого лондонского стряпчего, два дня пролежавшего в могиле. Случай этот произошел в 1831 году и наделал в свое время немало шума.

Больной, мистер Эдвард Стэплтон, умер, по всей вероятности, от тифозной горячки с некоторыми странными симптомами, которые вызвали любопытство лечивших его врачей. После мнимой смерти врачи попросили у его близких согласия на посмертное вскрытие, но получили решительный отказ. Как это часто случается, они решили

выкопать труп и тайно вскрыть его без помех. Не составляло труда сговориться с шайкой похитителей трупов, которых так много в Лондоне; и на третью ночь после похорон тело, которое считали мертвым, было вырыто из могилы глубиной в восемь футов и перенесено в секционную палату одной частной больницы.

Уже сделав изрядный надрез на животе, врачи обратили внимание на то, что тело ничуть не разложилось, и решили испробовать батарею. Опыт следовал за опытом без особого успеха, разве что в некоторых случаях судорожные подергивания более обыкновенного походили на движения живого организма.

Время истекало. Близился рассвет, и наконец решено было безотлагательно приступить к вскрытию. Но один из врачей непременно желал проверить какую-то свою теорию и убедил всех подвергнуть действию тока одну из грудных мышц. Грубо рассекли кожный покров, кое-как присоединили проволоки; вдруг мертвец стремительным, но отнюдь не похожим на судорогу движением соскользнул со стола на пол, постоял немного, тревожно озираясь, и заговорил. Понять его слова не удалось; и все же это, безусловно, были слова, — некое подобие членораздельной

речи. Умолкнув, он тяжело рухнул на пол.

Сначала все оцепенели от ужаса — но медлить было нельзя, и врачи вскоре овладели собой. Оказалось, что мистер Стэплтон жив, хотя и в глубоком обмороке. С помощью эфира его привели в чувство, а через несколько времени он совсем поправился и мог вернуться к своим близким, от которых его воскресение скрывали до тех пор, пока не перестали опасаться повторного приступа. Их восторг, их радостное удивление нетрудно себе представить.

Но самое потрясающее во всей истории — это свидетельство самого мистера С. Он уверяет, что ни на миг не впадал в полное беспамятство, что смутно и туманно он сознавал все происходящее с той минуты, как врачи объявили его мертвым, и вплоть до того времени, когда он лишился чувств в больнице. «Я жив», — таковы были невнятные слова, которые он в отчаянье пытался вымолвить, поняв, что попал в мертвецкую.

Мне нетрудно было бы рассказать еще много подобных историй, но я полагаю это излишним — ведь и без того не остается сомнений, что людей в самом деле хоронят заживо. И если учесть, как редко, в силу своего характера, такие случаи становятся нам известны, мы вынуждены будем

признать, что они, вероятно, часто происходят неведомо для нас. Право же, едва ли не всякий раз, как землекопам случается работать на кладбище, скелеты обнаруживают в таких позах, что возникают самые ужасные подозрения.

Но как ни ужасны подозрения, несравненно ужасней участь самих несчастных! Можно с уверенностью сказать, что никакая иная судьба не уготовила человеку столь безысходные телесные и душевные муки, как погребение заживо. Невыносимое стеснение в груди, удушливые испарения сырой земли, холодные объятия савана, давящая теснота последнего жилища, мрак беспросветной Ночи, безмолвие, словно в пучине моря, незримое, но осязаемое присутствие Червя-Победителя — все это и вдобавок мысли о воздухе и зеленой траве над головой, воспоминания о любимых друзьях, которые поспешили бы на помощь, если б только узнали о твоей беде, и уверенность, что этого им никогда не узнать, что ты обречен навеки покоиться среди мертвецов, — все это, говорю я вам, исполняет еще трепещущее сердце леденящим и нестерпимым ужасом, перед которым отступает самое смелое воображение. Нам не дано изведать таких страданий на Земле — мы не в силах представить

себе ничего подобного даже на дне Преисподней. Вполне понятно, что рассказы об этом вызывают глубочайший интерес; однако ж интерес этот, под влиянием благоговейного ужаса перед самой темой, оправдывается исключительно нашим убеждением в истинности самих рассказов. То, что мне предстоит описать далее, я знаю доподлинно — все это я пережил и испытал на себе.

Несколько лет подряд меня терзали приступы таинственной болезни, которую врачи условно называют каталепсией, так как не находят для нее более точного определения. Хотя не только прямые и косвенные причины, но даже самый диагноз этой болезни остается загадкой, внешние симптомы изучены достаточно хорошо. Формы ее, видимо, отличаются друг от друга лишь своей тяжестью. Иногда больной лежит всего день или того меньше, погруженный в глубочайшую летаргию. Он теряет сознание и не может пошевелиться; но в груди прослушиваются слабые биения сердца; тело хранит едва ощутимую теплоту; на скулах еще заметны следы румянца; приложив к губам зеркало, можно обнаружить редкое, неровное, прерывистое дыхание. Иногда же оцепенение длится недели — и даже месяцы; при этом самое пристальное наблюдение, самые

тщательные медицинские анализы не выявят никакой осязаемой разницы между подобным приступом и тем необратимым состоянием, которое называют смертью. От погребения заживо такого больного обычно спасают друзья, которые знают о его подверженности каталепсии и, естественно, начинают подозревать неладное, в особенности если нет признаков распада. По счастью, болезнь развивается постепенно. Первые же ее проявления, хоть и скрытые, не оставляют сомнений. С каждым разом приступы становятся все сильней и длительней. В этом главная гарантия от погребения. Несчастный, с которым сразу случится тяжелый припадок, как это порой бывает, почти неизбежно обречен заживо лечь в могилу.

Моя болезнь не отличалась сколько-нибудь заметно от случаев, описанных в медицинской литературе. Иногда, безо всякой видимой причины, я мало-помалу впадал в полуобморок или в полубесчувствие; и в этом состоянии, не испытывая боли, утратив способность шевелиться и, в сущности, даже думать, но смутно сознавая в летаргическом сне, что я жив и меня окружают люди, я пребывал до тех пор, пока не наступал кризис, который внезапно возвращал меня к

жизни. Иногда же недуг одолевал меня бурно и стремительно. Я чувствовал дурноту, скованность, холод во всем теле, головокружение и падал замертво. После этого целые недели меня окружали пустота, мрак, безмолвие, и весь мир превращался в Ничто. Я погружался в полнейшее небытие. Но чем быстрей наступали такие припадки, тем медленней я приходил в себя. Подобно тому, как брезжит рассвет для одинокого, бесприютного нищего, который бродит по улицам в долгую и глухую зимнюю ночь, — так же запоздало, так же томительно, так же радостно возвращался ко мне свет Души.

Но помимо этой наклонности к оцепенению, в остальном здоровье мое не пошатнулось; чувствовал я себя вполне хорошо — если не считать болезненного расстройства обычного сна. Просыпаясь, я не вдруг приходил в себя и на время оказывался во власти самого нелепого смятения; в такие минуты все мои умственные способности, и в особенности память, отказывались мне служить.

Я не испытывал никаких телесных страданий, но душа моя изнывала от мук. Воображение рисовало мне темные склепы. Я без конца говорил «об эпитафиях, гробницах и червях». Я

предавался бредням о смерти, и навязчивый страх перед погребением заживо терзал меня неотступно. Зловещая опасность, нависшая надо мной, не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Днем мне было невыносимо думать о ней; ночью же это превращалось в настоящую пытку. Когда грозный Мрак поглощал Землю, я трепетал при одной мысли об этом — трепетал, как легкие перья на катафалке. Когда же самое мое Естество изнемогало от бессонницы, я смыкал глаза лишь после долгой внутренней борьбы — так страшило меня предчувствие, что я проснусь в могиле. И едва я погружался в сон, меня тотчас обступал мир призраков, над которыми витал, распластав широкие, черные, чудовищные крыла, тот же вездесущий Дух смерти.

Кошмары, душившие меня во сне, были неисчислимы, но здесь я упомяну лишь об одном видении. Мне приснилось, будто я впал в каталептическое состояние, которое было длительнее и глубже обычного. Вдруг ледяная рука коснулась моего лба и тревожный дрожащий голос шепнул мне на ухо: «Восстань!»

Я сел. Вокруг была непроглядная тьма. Я не мог видеть того, кто меня разбудил. Я не помнил ни времени, когда впал в оцепенение, ни ме-

ста, где это случилось. Я не двигался и пробовал собраться с мыслями, а хладная рука меж тем исступленно стиснула мое запястье, встряхивая меня в нетерпении, и дрожащий голос повторил:

— Восстань! Разве не повелел я тебе восстать от сна?

— Но кто ты? — спросил я.

— Там, где я обитаю, у меня нет имени, — печально отвечал голос. — Некогда я был смертным, ныне я дух. Некогда я был беспощаден, ныне я исполнен милосердия. Ты чувствуешь, я дрожу. Я взываю к тебе, а зубы мои стучат, но отнюдь не от хлада ночи — ночи, что пребудет во веки веков. Ибо мерзость сия мне противна. Как можешь ты безмятежно спать? Мне не дает покоя глас предсмертных мучений. Видеть это превыше моих сил. Восстань! Ступай за мной в бездну Ночи, и я разверзну пред тобой могилы. Это ли не юдоль скорби?.. Воззри!

Я вгляделся; и волею невидимого, который все еще сжимал мое запястье, предо мной отверзлись все могилы на лике земли, и каждая источала слабый фосфорический свет, порожденный тлением, так что взор мой проникал в сокровенные глубины и различал тела, закутанные в саваны, печально и торжественно опочившие среди

могильных червей. Но увы! Не все они уснули беспробудным сном, на много миллионов больше было других, не усопших навек; и происходили слабые борения; и отовсюду возносился безутешный ропот; и из глубин несчетных могил исходил унылый шелест погребальных покровов; и я увидел, что многие, казалось бы, покоящиеся в мире, так или иначе изменили те застывшие, неудобные позы, в которых их предали земле. Я все смотрел, а голос шепнул снова:

— Это ли… Ах, это ли не юдоль скорби?

Но прежде чем я успел вымолвить хоть слово, хладная рука выпустила мое запястье, фосфорические огни погасли и земля сомкнулась над могилами, а оттуда вырвался все тот же отчаянный вопль:

— Это ли… О Господи, это ли, воистину, не юдоль скорби?

Кошмары, отравлявшие мой сон по ночам, часто мучили меня и наяву. Нервы мои совершенно расстроились, и я стал жертвой неотступных страхов. Я не решался ни ездить верхом, ни ходить, лишил себя прогулок и безвыходно сидел дома. Словом, я не смел даже на короткое время расстаться с людьми, которые знали о моей подверженности каталепсии, из опасения, что

со мной случится припадок и меня, не долго думая, предадут могиле. Я не доверял заботам и преданности ближайших своих друзей. Я боялся, как бы во время затяжного приступа их не убедили в том, что меня невозможно вернуть к жизни. Мало того, я опасался, что доставляю им слишком много хлопот и при первом же длительном припадке они будут рады избавиться от меня навсегда. Тщетно пытались они успокоить меня самыми торжественными заверениями. Я требовал священных клятв, что меня похоронят лишь после того, как явные признаки распада сделают дальнейшее промедление немыслимым. Но все равно, объятый смертным страхом, я был глух к гласу разума и не знал покоя. Я придумал множество хитроумных предосторожностей. Между прочим, я распорядился так перестроить семейный склеп, чтобы его можно было с легкостью открыть изнутри. От малейшего нажима на длинный рычаг, выведенный далеко в глубину гробницы, железные двери тотчас распахивались. Были сделаны отдушины, пропускавшие воздух и свет, а также удобные хранилища для пищи и воды, до которых можно было свободно дотянуться из уготованного для меня гроба. Самый гроб был выстлан изнутри мягкой и теплой

обивкой, и крышку его снабдили таким же приспособлением, что и двери склепа, с пружинами, которые откидывали ее при малейшем движении тела. Кроме того, под сводом склепа был подвешен большой колокол, и веревку от него должны были пропустить через отверстие в гробу и привязать к моей руке. Но увы! Что толку в предусмотрительности пред волей Судьбы? Даже эти хитроумные устройства не могли избавить от адских мук погребения заживо несчастного, который был на них обречен!

Настал срок — как случалось уже не раз, — когда среди полнейшего бесчувствия во мне забрезжили первые, еще слабые и смутные проблески бытия. Медленно — черепашьим шагом — растекался в моей душе тусклый, серый рассвет. Смутное беспокойство. Безучастность к глухой боли. Равнодушие… безнадежность… упадок сил. И вот, долгое время спустя, звон в ушах; вот, спустя еще дольше, покалывание или зуд в конечностях; вот целая вечность блаженного покоя, когда пробуждающиеся чувства воскрешают мысль; вот снова краткое небытие; вот внезапный возврат к сознанию. Наконец, легкая дрожь век и тотчас же, словно электрический разряд, ужас, смертельный и необъяснимый, от кото-

рого кровь приливает к сердцу. Затем — первая сознательная попытка мыслить. Первая попытка вспомнить. Это удается с трудом. Но вот уже память настолько обрела прежнюю силу, что я начинаю понимать свое положение. Я понимаю, что не просто пробуждаюсь от сна. Я вспоминаю, что со мной случился приступ каталепсии. И вот наконец мою трепещущую душу, как океан, захлестывает одна зловещая Опасность — одна гробовая, всепоглощающая мысль.

Когда это чувство овладело мною, я несколько минут лежал недвижно. Но почему? Просто у меня недоставало мужества шевельнуться. Я не смел сделать усилие, которое обнаружило бы мою судьбу — и все же некий внутренний голос шептал мне, что сомнений нет. Отчаянье, перед которым меркнут все прочие человеческие горести, — одно лишь отчаянье, заставило меня, после долгих колебаний, — приподнять тяжелые веки. И я приподнял их. Вокруг была тьма — кромешная тьма. Я знал, что приступ прошел. Знал, что кризис моей болезни давно позади. Знал, что вполне обрел способность видеть — и все же вокруг была тьма, кромешная тьма, сплошной и непроницаемый мрак Ночи, нескончаемой во веки веков.

Я попытался крикнуть; мои губы и запекшийся язык дрогнули в судорожном усилии — но я не исторг ни звука из своих бессильных легких, которые изнемогали, словно на них навалилась огромная гора, и трепетали, вторя содроганиям сердца, при каждом тяжком и мучительном вздохе.

Когда я попробовал крикнуть, оказалось, что челюсть у меня подвязана, как у покойника. К тому же я чувствовал под собою жесткое ложе; и нечто жесткое давило меня с боков. До того мгновения я не смел шевельнуть ни единым членом — но теперь я в отчаянье вскинул кверху руки, скрещенные поверх моего тела. Они ударились о твердые доски, которые оказались надо мною в каких-нибудь шести дюймах от лица. У меня более не оставалось сомнений в том, что я лежу в гробу.

И тут, в бездне отчаянья, меня, словно ангел, посетила благая Надежда — я вспомнил о своих предосторожностях. Я извивался и корчился, силясь откинуть крышку: но она даже не шелохнулась. Я ощупывал свои запястья, пытаясь нашарить веревку, протянутую от колокола: но ее не было. И тут Ангел-Утешитель отлетел от меня навсегда, и Отчаянье, еще неумолимей

прежнего, восторжествовало вновь; ведь теперь я знал наверняка, что нет мягкой обивки, которую я так заботливо приготовил; и к тому же в ноздри мне вдруг ударил резкий, характерный запах сырой земли. Оставалось признать неизбежное.

Я был не в склепе. Припадок случился со мной вдали от дома, среди чужих людей, когда и как, я не мог вспомнить; и эти люди похоронили меня, как собаку, заколотили в самом обыкновенном гробу, глубоко закопали на веки вечные в простой, безвестной могиле.

Когда эта неумолимая уверенность охватила мою душу, я вновь попытался крикнуть; и крик, вопль, исполненный смертного страдания, огласил царство подземной ночи.

— Эй! Эй, в чем дело? — отозвался грубый голос.

— Что еще за чертовщина! — сказал другой голос.

— Вылазь! — сказал третий.

— С чего это тебе взбрело в башку устроить кошачью музыку? — сказал четвертый; тут ко мне скопом подступили какие-то головорезы злодейского вида и бесцеремонно принялись меня трясти. Они не разбудили меня — я уже проснулся, когда крикнул, — но после встряски

память вернулась ко мне окончательно.

Дело было неподалеку от Ричмонда, в Виргинии. Вместе с одним другом я отправился на охоту, и мы прошли несколько миль вниз по Джеймс-Ривер. Поздним вечером нас застигла гроза. Укрыться можно было лишь в каюте небольшого шлюпа, который стоял на якоре с грузом перегноя, предназначенного на удобрение. За неимением лучшего нам пришлось заночевать на борту. Я лег на одну из двух коек, — можете себе представить, что за койки на шлюпе грузоподъемностью в шестьдесят или семьдесят тонн. На моей койке не было даже подстилки. Ширина ее не превышала восемнадцати дюймов. И столько же было от койки до палубы. Я с немалым трудом втиснулся в тесное пространство. Тем не менее спал я крепко; и все, что мне привиделось — ведь это не было просто кошмарным сном, — легко объяснить неудобством моего ложа, обычным направлением моих мыслей, а также тем, что я, как уже было сказано, просыпаясь, не мог сразу прийти в себя и подолгу лежал без памяти. Трясли меня матросы и наемные грузчики. Запах земли исходил от перегноя. Повязка, стягивавшая мне челюсть, оказалась шелковым носовым платком, которым я воспользовался взамен ночного

колпака.

И все же в ту ночь я пережил такие страдания, словно меня в самом деле похоронили заживо. Это была ужасная, немыслимая пытка; но нет худа без добра, и сильнейшее потрясение вызвало неизбежный перелом в моем рассудке. Я обрел душевную силу — обрел равновесие. Я уехал за границу. Я усердно занимался спортом. Я дышал вольным воздухом под сводом Небес. Я и думать забыл о смерти. Я выкинул вон медицинские книги. Бьюкена я сжег. Я бросил читать «Ночные мысли» — всякие кладбищенские страсти, жуткие истории, вроде этой. Словом, я сделался совсем другим человеком и начал новую жизнь. С той памятной ночи я навсегда избавился от страхов перед могилой, а с ними и от каталепсии, которая была скорее их следствием, нежели причиной.

Бывают мгновения, когда даже бесстрастному взору Разума печальное Бытие человеческое представляется подобным аду, но нашему воображению не дано безнаказанно проникать в сокровенные глубины. Увы! Зловещий легион гробовых ужасов нельзя считать лишь пустым вымыслом; но, подобные демонам, которые сопутствовали Афрасиабу в его плавании по Оксусу, они должны спать, иначе они растерзают нас, — а мы не должны посягать на их сон, иначе нам не миновать погибели.

1844

Похищенное письмо[89]

Nil sapientiae odiosius acumine nimio[90].

Сенека

Как-то вечером в Париже, осенью 18.. года, вскоре после наступления темноты я сидел со своим другом Ш. Огюстом Дюпеном в его тихой небольшой библиотеке, или, вернее, в хранилище для книг au troisième No. 33 Rue Dunôt Faubourg St. Germain[91] и, прислушиваясь к завыванию ветра на дворе, услаждал свою душу размышлениями и пенковой трубкой. Битый час мы хранили молчание, всецело погруженные, как показалось бы случайному наблюдателю, в созерцание причудливых облаков дыма, наполнивших комнату. Что до меня, однако, то мысли мои были заняты некоторыми событиями, о которых мы беседовали ранее в тот вечер, — я имею в виду историю на улице Морг и тайну, связанную с убийством

---

[89] Сноски: 89

© Перевод. Н. Демурова, 2002

[90] Сноски: 90

Для мудрости нет ничего ненавистнее мудрствования *(лат.)*.

[91] Сноски: 91

В Сен-Жерменском предместье, на улице Дюно, 33, четвертый этаж *(фр.)*.

Мари Роже. Вот почему я невольно вздрогнул, когда дверь распахнулась и в комнату вошел наш старый знакомый, мосье Г., префект парижской полиции.

Мы встретили его приветливо; хоть многое в нем заслуживало презрения, но человек он был презабавный, — к тому же мы не видели его несколько лет. Мы сумерничали, и Дюпен тут же встал, чтобы зажечь лампу, но снова уселся в свое кресло, когда Г. сказал, что пришел посоветоваться с нами, или, скорее, узнать мнение моего друга об одном служебном происшествии, причинившем немало неприятностей.

— Если дело это требует размышления, — заметил Дюпен, задувая спичку, поднесенную было к фитилю, — лучше рассматривать его в темноте.

— Еще одна из ваших странных затей, — заметил префект, имевший обыкновение называть «странным» все, что превышало его разумение, и окруженный, вследствие того, со всех сторон «странностями».

— Совершенно верно, — сказал Дюпен, предложив гостю трубку и пододвинув ему удобное кресло.

— Но что же случилось сейчас? — спросил я. — Надеюсь, больше никто никого не убивал?

— Нет, нет, это история совсем иного рода. Конечно, дело это *самое* простое, и я не сомневаюсь, что мы вполне с ним справимся и сами. Но я подумал, что Дюпену интересно будет услышать подробности, потому что дело это *странное* до крайности.

— Простое и странное? — повторил Дюпен.

— Ну да, конечно… или, вернее, нет. По правде говоря, мы все весьма озадачены, ибо дело это *такое* простое, и все же оно ставит нас в тупик.

— Возможно, именно эта простота и сбивает вас с толку, — заметил мой приятель.

— Что за *чепуха!* — воскликнул префект, заливаясь громким смехом.

— Возможно, тайна эта *слишком* прозрачна, — сказал Дюпен.

— Господи помилуй! Нет, вы когда-нибудь слышали такое?

– *Слишком* очевидна…

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ох-хо-хо! — хохотал наш гость, веселясь от души. — Ах, Дюпен, вы меня уморите!

— Но *в чем же* все-таки дело? — спросил я.

— Да я вам расскажу, — отвечал префект с расстановкой, выпуская длинную, ровную струю дыма и устраиваясь поудобнее в кресле. — Расска-

жу в нескольких словах, но, прежде чем начать, мне хотелось бы предупредить вас, что дело это требует полнейшей тайны и что я наверняка потеряю свой пост, если станет известно, что я кому-то о нем поведал.

— Продолжайте, — сказал я.

— Или остановитесь, — сказал Дюпен.

— Так вот, мне стало известно (заметьте, сведения эти идут из очень высокого источника, доступного только мне), что из королевских покоев похищен некий документ чрезвычайной важности. Похититель известен — сомнений здесь быть не может: его видели в момент похищения. Известно также, что документ все еще находится в его руках.

— Откуда это известно? — спросил Дюпен.

— Это явствует, — ответил префект, — из характера самого документа, равно как и из отсутствия неких результатов, которые бы непременно воспоследовали, если б похититель *выпустил* его из рук, вернее, если б он использовал его в целях, для которых оно было похищено.

— Что вы имеете в виду? — спросил я.

— Что ж, я рискну заметить, что документ этот дает его обладателю некую власть в некоей области, в коей власть эта имеет огромную ценность.

Префект любил выражаться дипломатически.

— И все же я не понимаю, — сказал Дюпен.

— Не понимаете? Гм… предъявление этого документа третьему лицу, которого мы оставим безымянным, затронет честь одной особы чрезвычайно высокого рода. Обстоятельство это дает обладателю документа определенную власть над высокочтимой особой, спокойствие и честь которой он подвергает опасности.

— Но эта власть, — вмешался я, — будет зависеть от того, известно ли похитителю, что он известен пострадавшей. Кто же осмелится…

— Вор, — сказал Г., — это министр Д., который осмелится на все, достойное и недостойное мужчины. Способ похищения был столь же хитроумен, сколь смел. Документ, о котором идет речь (откровенно говоря, это письмо), был получен пострадавшей, когда она находилась одна в королевском boudoir. За чтением этого письма ее застало второе высокородное лицо, от которого в особенности ей хотелось его скрыть. Она попыталась сунуть письмо в ящик, но не успела и была вынуждена положить его на стол. Адресом, правда, оно лежало вверх, и, так как текст письма был таким образом скрыт, оно не обратило на себя внимания. В эту минуту входит министр Д.

Его острый взгляд мгновенно замечает письмо, он узнает руку, надписавшую адрес, видит замешательство особы, которой оно адресовано, и угадывает ее тайну. После короткого делового разговора, который, как всегда, он заканчивает очень быстро, он вынимает письмо, весьма похожее на то, о котором идет речь, развертывает, делает вид, что читает его, а затем кладет рядом с первым, потом снова минут пятнадцать беседует о делах государственных. Наконец, уходя, забирает со стола письмо, ему никак не принадлежащее. Законная его владелица все видит, но, конечно, не смеет ничего сказать в присутствии третьего лица, стоящего рядом. А министр удаляется, оставив на столе собственное письмо самого пустого содержания.

— Вот вам условие, — сказал мне Дюпен, — необходимое, как вы говорили, для полноты власти: вор знает, что потерпевшей известно, кто является вором.

— Да, — заметил префект, — вот уже несколько месяцев, как вор злоупотребляет полученной властью в весьма опасных политических целях. Потерпевшая особа с каждым днем все более убеждается в необходимости получить письмо обратно. Но, конечно, это невозможно сделать от-

крыто. В конце концов, в отчаянии она передала это дело мне.

— Само собой разумеется, — сказал Дюпен, окутываясь клубами дыма. — Более мудрого агента нельзя, я думаю, ни найти, ни желать.

— Вы мне льстите, — отвечал префект. — Впрочем, возможно, что такое мнение и существует.

— Очевидно, письмо, — сказал я, — как вы сами заметили, все еще у министра, ибо обладание письмом, а не его использование, дает министру власть. С использованием письма эта власть пропадает.

— Совершенно верно, — согласился Г., — из этого я и исходил. Прежде всего я позаботился о том, чтобы произвести тщательнейший обыск в особняке, где живет министр. Основная трудность заключалась здесь в том, чтобы провести его без ведома министра. Помимо всего прочего, меня предупредили, что опасность будет особенно велика, если мы дадим ему повод заподозрить наш план.

— Но, — сказал я, — вы ведь достаточно au fait[92] в такого рода поисках. Парижская полиция не раз этим занималась.

---

[92] Сноски: 92
Опытны *(фр.)*.

— Безусловно, поэтому-то я и не терял надежды. К тому же привычки министра давали мне большое преимущество. Нередко он не возвращается домой до утра. Слуг у него совсем не много. Спят они довольно далеко от комнат своего господина и, так как большинство из них из Неаполя, их нетрудно напоить. Как вы знаете, у меня есть ключи, с помощью которых можно открыть любые двери в Париже. Вот уже три месяца, как я провожу чуть не каждую ночь в особняке Д. и лично руковожу поисками. Тут замешана моя честь, к тому же, сказать вам по правде, награда обещана огромная. Вот почему я не бросал поисков до тех пор, пока не убедился, что вор не уступает мне в хитрости. Готов поручиться, что я заглянул во все углы, во все тайники, где только можно было спрятать этот документ.

— Но разве нельзя предположить, — заметил я, — что письмо, хоть и находится у министра, в чем, по-видимому, сомневаться не приходится, спрятано где-либо в ином месте.

— Вряд ли это возможно, — сказал Дюпен. — Положение дел при дворе сейчас таково, что письмо должно всегда находиться под рукой, чтобы его можно было предъявить в любую минуту. В этом особый смысл тех интриг, в которых, как извест-

но, замешан министр, и это для него не менее важно, чем то, что письмо находится у него.

— Как вы сказали? Чтобы его можно было предъявить? — спросил я.

— Вы хотите сказать, *уничтожить*, — сказал Дюпен.

— Совершенно верно, — заметил я. — Тогда, конечно, письмо у него в доме. Вряд ли министр носит его с собой — об этом и говорить нечего.

— Это совершенно исключено, — сказал префект. — Дважды его останавливали — будто бы грабители — и тщательным образом обыскивали. Я сам при этом присутствовал.

— Вы могли бы этого и не делать, — заметил Дюпен. — Ведь Д., насколько я понимаю, не так уж глуп и, конечно, ждал таких нападений. Это в порядке вещей.

— Не *так* уж глуп? — сказал Г. — Да ведь он поэт, а от поэта до глупца рукой подать.

— Совершенно верно, — заметил Дюпен, задумчиво выпуская из своей трубки клубы дыма, — хоть я и сам когда-то грешил рифмоплетством.

— Может быть, вы расскажете об обыске подробнее? — предложил я.

— Что ж, торопиться нам было некуда, мы обыскали буквально все. Опыт у меня в этих делах

огромный. Я осмотрел весь дом, комнату за комнатой, положив неделю на каждую, — конечно, искали мы только по ночам. Сначала мы изучили мебель в каждой из комнат. Мы заглянули во все ящики, — вы, вероятно, знаете, что для хорошего агента *«тайников»* не существует. *«Тайник»* при обыске пропустит только олух. Это же так просто. У каждого шкафа есть определенная вместимость, определенный объем — их следует проверить. К тому же правила у нас разработаны весьма подробно. Тут мы и волоска бы не проглядели. После шкафов и секретеров мы принялись за кресла. Подушки мы протыкали длинными тонкими иглами — вам приходилось видеть, как я ими действую. Со столов мы снимали верхнюю доску.

— Зачем?

— Подчас, желая что-нибудь спрятать, снимают со стола или иной мебели такого рода верхнюю доску, выдалбливают в ножке углубление, прячут туда предмет, а потом снова кладут верх на место. В тех же целях используют и ножки кроватей или подпорки балдахинов — в верхней их части или нижней.

— А разве нельзя определить пустоту простукиванием? — спросил я.

— Нет, если, спрятав туда предмет, ее заложили ватой. К тому же нам приходилось работать бесшумно.

— Но ведь нельзя же снять все доски, разобрать на части всю мебель, в которой легко сделать такой тайник! Письмо легко скатать в тоненькую трубочку, не толще вязальной спицы, и вставить — ну, хотя бы в перекладину кресла. Вы ведь не разбирали на части все кресла?

— Нет, если, спрятав туда предмет, ее заложили ватой. К тому же мы осмотрели перекладины во всех креслах в особняке, мало того, — все стыки во всей прочей мебели. Будь там хоть малейшие следы недавнего вмешательства, мы бы тотчас заметили. Соринка, и та была бы видна, словно большое яблоко. Любая трещинка в клее, любая царапинка в стыках не ускользнули б от нашего взгляда.

— Вы, конечно, осмотрели зеркала между рамами и стеклом, перетрясли постели и постельное белье, а также ковры и шторы?

— Разумеется. Покончив с мебелью, мы принялись за дом. Мы разделили всю его площадь на квадраты и пронумеровали их, чтобы не пропустить ни одного; а потом дюйм за дюймом осмотрели с лупой, как и раньше, весь особняк, а

также два прилегающих к нему дома.

— Два прилегающих дома! — воскликнул я. — Однако пришлось же вам потрудиться!

— Да, но награда предложена баснословная.

— Вы не забыли об *участках* при домах?

— Они вымощены брусчаткой. Хлопот тут было сравнительно немного. Мы изучили мох меж камнями — он был нетронут.

— Вы перебрали, очевидно, бумаги Д. и книги в его библиотеке?

— Безусловно. Мы заглянули во все конверты и папки; книги мы не просто перетрясли, как это делают некоторые полицейские, мы перелистали по листику все тома. Мы измерили с точностью до миллиметра толщину каждого переплета и необычайно придирчиво осмотрели их с лупой. Если бы переплет обнаружил следы недавних изменений, это не избежало бы нашего внимания. Пять-шесть томов, только что принесенных от переплетчика, мы осторожно исследовали длинными иглами в продольном направлении.

— Вы изучили полы под коврами?

— Несомненно. Мы сняли все ковры и осмотрели с лупой половицы.

— Обои на стенах?

— Да.

— Вы заглянули в подвалы?

— Конечно.

— Значит, — сказал я, — вы допустили просчет, и письма, вопреки вашим предположениям, в его комнатах *нет.*

— Боюсь, что вы правы, — сказал префект. — Скажите, Дюпен, что бы вы мне посоветовали?

— Снова тщательно все обыскать.

— В этом нет никакой нужды, — отвечал Г. — Я головой ручаюсь, что письма в особняке нет.

— Больше мне вам посоветовать нечего, — сказал Дюпен. — У вас, разумеется, есть точное описание письма.

— Ну, конечно! — Тут префект вынул памятную книжку и прочел подробнейшее описание внутреннего и особливо внешнего вида пропавшего документа. Закончив чтение, он вскоре и удалился в таком подавленном настроении, в каком мне не доводилось еще видеть нашего доброго знакомца.

С месяц спустя он снова нанес нам визит, застав нас все за тем же занятием. Он выбрал трубку и кресло и завел речь о всяких пустяках. Наконец я сказал:

— Послушайте, Г., а как же похищенное письмо? Вы, верно, согласились в конце концов, что

нашего министра не перехитрить?

— Да, черт бы его побрал! Я все же повторил обыск, как предлагал Дюпен, — напрасные старания! Впрочем, я так и думал.

— А какая, вы говорите, предложена награда? — спросил Дюпен.

— О-о, очень большая — очень щедрая награда — мне не хотелось бы называть точную сумму… *Скажу* лишь одно: я лично готов выдать чек на пятьдесят тысяч франков тому, кто доставит мне это письмо. С каждым днем необходимость найти его становится все настоятельнее. На днях награда была удвоена. Но будь она даже утроена, я все равно не мог бы сделать больше.

— Ну, знаете, — протянул Дюпен, попыхивая трубкой. — По правде… говоря, Г…..вы же не исчерпали… всех возможностей в этом деле. Вы могли бы… по-моему, еще кое-что… сделать, а?

— Но как? Каким образом?

— Что ж… пф-ф-ф! пф-ф-ф!.. вы могли бы… пф-ф-ф! обратиться к кому-либо за советом. Помните историю, которую рассказывают про Абернети?

— Нет, пропади он пропадом!

— Конечно, пусть себе пропадает. Только однажды некий богатый скупец задумал получить от Абернети консультацию даром. Заведя для этой

цели общий разговор в одном частном обществе, он поведал своему врачу о болезни какого-то вымышленного лица. «Предположим, — сказал скупой, — что симптомы у него такие-то. Скажите, доктор, что бы *вы* посоветовали ему предпринять?» — «Предпринять?! — сказал Абернети. — Предпринять?! *Обратиться* к врачу, разумеется!».

— Но, — возразил префект, слегка смутившись, — я именно и хочу просить совета и *готов* за него заплатить. Я *действительно* дам пятьдесят тысяч франков тому, кто поможет мне в этом деле.

— В таком случае, — произнес Дюпен, открывая ящик стола и вынимая оттуда чековую книжку, — вы можете выписать чек на упомянутую сумму мне. Когда он будет подписан, я передам вам письмо.

Я был потрясен. У префекта вид был такой, будто земля вдруг разверзлась у него под ногами. Несколько минут он оставался нем и недвижим, очевидно, не веря собственным ушам, — рот у него был открыт, глаза, казалось, выступили из своих орбит; затем, верно опомнившись, он схватил перо и, то и дело останавливаясь и глядя в пространство, выписал чек на пятьдесят ты-

сяч франков, подписал его и подал через стол Дюпену. Последний внимательно проверил чек и положил в бумажник, после чего отомкнул écritoire[93], вынул оттуда письмо и передал его префекту. Тот схватил его вне себя от радости, развернул дрожащими руками, торопливо пробежал, рванулся к двери, остановился и, наконец, махнув рукой на все приличия, ринулся вон, так и не произнеся ни звука с той минуты, как Дюпен попросил его выписать чек.

Когда мы остались вдвоем, мой друг снизошел до объяснений.

— Парижские полицейские, — сказал он, — по-своему очень способные люди. Они настойчивы, изобретательны, хитры и знают до тонкости все, что от них требуется по долгу службы. Вот почему, когда Г. описал нам, как он производил обыск в особняке Д., я ни минуты не сомневался в том, что сделано это самым удовлетворительным образом, — насколько это вообще в его силах.

— Насколько это вообще в его силах?

— Да, — сказал Дюпен. — Метод обследования был в своем роде превосходен, да и осуществлялся наилучшим образом. Будь письмо в круге

---

[93] Сноски: 93

Здесь: настольный письменный прибор в футляре *(фр.)*.

их поисков, эти молодцы, безусловно, его бы обнаружили.

Я только рассмеялся, но Дюпен, по-видимому, был совершенно серьезен.

— Да, метод был по-своему хорош, исполнение еще того лучше, — единственный недостаток заключался в том, что он неприменим в данном случае и к данному человеку. У префекта есть ряд чрезвычайно хитроумных приемов, некое подобие прокрустова ложа, в которое он старается втиснуть все свои замыслы. Однако он то и дело попадает впросак — забирая то слишком глубоко, то слишком мелко, так что нередко любой мальчишка проявит больше сообразительности, чем он. Я знал одного такого школьника, который в свои восемь лет вызывал всеобщее восхищение искусством играть в «чет и нечет». Игра эта очень проста, играют в нее камешками. Один игрок зажимает в руке несколько штук, а второй должен угадать, четное там число или нечетное. Если угадает, значит, выиграл камешек, если же нет — проиграл. Мальчик, о котором я говорю, обыгрывал всех в школе. Разумеется, у него был некий принцип, основанный на наблюдении и оценке сообразительности своих противников. Скажем, играет с ним совершенный простофиля,

зажал в кулак камешки и спрашивает: «Чет или нечет?» Наш школьник говорит: «Нечет» и проигрывает, зато во второй раз он выигрывает, ибо тут он размышляет так: «У этого простофили в первый раз был чет, а хитрости у него как раз настолько, чтобы во второй раз взять нечет. Скажу-ка я «нечет». Он говорит «нечет» — и выигрывает. Ну, а с простофилей рангом выше он рассуждает так: «Этот голубчик помнит, что в первый раз я сказал «нечет». Значит, во второй раз ему захочется, как и первому, попросту заменить «нечет» на «чет», но тут он решит, что это слишком просто и остановится, как и в первый раз, на «чете». Скажу-ка я «чет». Говорит «чет» — и выигрывает. Так вот, способ мышления у школьника, которого товарищи прозвали «счастливчик», что это в конечном счете такое?

— Всего-навсего, — сказал я, — отождествление своего интеллекта с интеллектом противника.

— Безусловно, — сказал Дюпен. — Когда я спросил своего школьника, каким образом он достигает столь *полного* отождествления, в чем, собственно, и кроется его успех, он сказал мне следующее: «Когда я хочу узнать, насколько умен или глуп, насколько добр или зол мой партнер и что он при этом думает, я стараюсь придать

своему лицу такое же, как у него выражение, а потом жду, какие у меня при этом появятся мысли и чувства». Принцип моего школьника лежит в основе всей мнимой мудрости, которую приписывают Ларошфуко и Лабрюйеру, Макиавелли и Кампанелле.

— А отождествление своего интеллекта с интеллектом противника, — сказал я, — зависит, если я правильно вас понял, от точности оценки интеллекта противника.

— В практическом смысле — да, — отвечал Дюпен. — Префект и его приспешники ошибаются столь часто потому, что, во-первых, не умеют отождествлять, а во-вторых, плохо понимают или вовсе не понимают интеллект того, с кем имеют дело. Они размышляют лишь о том, что им *самим* кажется хитростью, и в поисках спрятанного берут во внимание лишь те способы, к которым прибегли бы *сами.* Они правы в одном — их собственная хитрость есть точное воспроизведение хитрости и изобретательности большинства, но, если хитрость отдельного преступника не совпадает по своему характеру с их хитростью, они встают в тупик. Это всегда случается, когда она выше их собственной, а часто и тогда, когда она ниже. Принцип у них всегда неизменен;

побуждаемые в лучшем случае необычайной срочностью или неслыханной наградой, они лишь усиливают, доводят до крайности свои обычные практические приемы, однако в принципе ничего в них не меняют. Скажем, в случае с Д. — изменили они хоть на йоту принцип своих действий? Что значат все эти сверления, протыкания, выстукивания, разглядывания с лупой и деления площади на квадратные дюймы, и нумерация этих квадратов, — что все это такое, как не доведение *до крайности* одного-единственного принципа или совокупности принципов расследования, которые опираются на одну-единственную совокупность представлений о человеческой хитрости, к которой после долгих лет службы пришел префект? Разве вы не видите, для него само собой разумеется, что все станут прятать письмо если не в ножке кресла, то по крайней мере в каком-нибудь углу или щели от глаз подальше, следуя тому же ходу мысли, по которому человек прячет письмо в ножке кресла? И разве не видите вы также, что такие recherchés[94] потайные места пригодны лишь для заурядных случаев и прибегают к ним лишь люди ума за-

[94] Сноски: 94
Изысканные *(фр.).*

урядного, ибо во всех случаях сокрытия, когда предметом распоряжаются таким recherché способом, способ этот прежде всего напрашивается на ум и таким образом успех поисков зависит не от проницательности, а всего лишь от усердия, терпения и настойчивости, а там, где случай значителен или, что в глазах блюстителя закона то же, где награда велика, все эти свойства никогда не подводили? Теперь вы понимаете, что я имел в виду, говоря, что находись похищенное письмо в сфере поисков префекта, другими словами, совпадай принципы похитившего с принципами префекта, найти его не составило бы большого труда. Этого, однако, не случилось, и префект совершенно растерялся; конечная причина его поражения кроется в том, что он предположил, будто министр — глупец, ибо он приобрел известность как поэт. Все глупцы — поэты, это префект знает *инстинктивно* и, сделав отсюда вывод, что все поэты — глупцы, он совершил обычную ошибку non distributio medii[95].

— Но разве поэт — это министр? — спросил я. — Я знаю, что их два брата, и оба приобрели известность своими сочинениями. Министр,

---

[95] Сноски: 95
Нерасчленение среднего *(лат.)*.

насколько я помню, написал ученый труд о дифференциальном исчислении. Он математик, а не поэт.

— Вы ошибаетесь. Я хорошо его знаю — он и то и другое. Как математик и поэт он должен рассуждать хорошо; будь он только математиком, он не умел бы рассуждать вовсе и находился бы таким образом во власти префекта.

— Вы удивляете меня своими рассуждениями, — сказал я, — которые противоречат общепринятому мнению. Не хотите же вы зачеркнуть прекрасно усвоенную мудрость веков: математический ум всегда считался умом par excellence[96].

— Il y a à parier, — отвечал Дюпен, цитируя Шамфора, — que toute idée publique, toute convention reçue est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre[97]. Математики, в этом я с вами согласен, много потрудились, чтобы сделать всеобщим заблуждение, о котором вы говорите и которое тем не менее остается заблуждением, как его ни выдавай за правду. С усердием, достойным

---

[96] Сноски: 96

В истинном значении этого слова *(фр.)*.

[97] Сноски: 97

Можно побиться об заклад, что любое ходячее мнение, любая общепризнанная условность глупы, ибо понравились большинству *(фр.)*.

лучшего применения, они ввели, скажем, термин «анализ» в применении к алгебре. Виновники именно этого превратного толкования — французы, но если термин имеет какое-то значение, если слова получают какой-то смысл от употребления, то «анализ» так же означает «алгебру», как латинское «ambitus»[98] — «амбицию», «religio»[99] — «религию» или «homines honesti»[100] — порядочных людей.

— Кое-кто из парижских алгебраистов вам этого не простит, — сказал я. — Впрочем, продолжайте.

— Я подвергаю сомнению годность, а следовательно, и ценность того разума, который культивируется в любом специфическом виде, кроме абстрактно логического. Особому сомнению я подвергаю разум, взращенный на математических штудиях. Математика — это наука о форме и количестве, математический ум — это всего лишь логика в приложении к наблюдениям над формой и количеством. Величайшее заблужде-

---

[98] Сноски: 98
Хождение вокруг, обхаживание *(лат.).*

[99] Сноски: 99
Совестливость *(лат.).*

[100] Сноски: 100
Честные люди *(лат.).*

ние состоит в том, что мы предполагаем, будто законы науки, которая зовется *чистой* алгеброй, суть законы абстрактные, или всеобщие. Заблуждение это настолько чудовищно, что я никак не могу понять, каким образом оно стало универсальным. Математические аксиомы не обладают всеобщей истинностью. То, что справедливо для науки об *отношениях* — для формы и количества, зачастую оказывается чудовищным вздором в применении, скажем, к морали. В этой области обычно оказывается, что сумма частей не равняется целому. В химии эта аксиома также неверна. Неверна она и для определения мотива действия, ибо два мотива каждый известной побудительной силы при сложении совсем не обязательно приобретают силу, равную сумме слагаемых. Существует множество других математических истин, которые являются истинами лишь в пределах науки об отношениях. Но математик по привычке исходит из этих *истин, имеющих известный предел,* как если бы они имели всеобщее и безусловное применение, — впрочем, так полагает весь свет. Брайант в своей весьма ученой «Мифологии» упоминает аналогичный источник заблуждений, говоря, что «хотя в языческие мифы никто не верит, все же мы постоянно забываем

об этом и делаем из них выводы, как если бы они реально существовали». Алгебраисты, однако, будучи сами язычниками, *верят* в «языческие басни» и делают отсюда выводы не столько из забывчивости, сколько из необъяснимого умопомрачения. Короче, мне так и не встретился ни один математик, на которого можно было бы положиться за пределами совпадающих корней, ни один, который не верил бы втайне в один догмат: что $x^2 + px$ всегда, абсолютно и безусловно равняется q. Попробуйте, скажите кому-нибудь из этих господ, что, как вы полагаете, бывают случаи, когда $x^2 + px$ не совсем равняется q. Разъясните ему, что вы имеете в виду, а потом бегите без оглядки, ибо он, безусловно, постарается сбить вас с ног.

В ответ на это я только рассмеялся, а Дюпен продолжал:

— Я хочу сказать, что если б министр был всего лишь математиком, префекту не пришлось бы выписывать мне чек. Однако я знал, что он и математик, и поэт, а потому применил к нему систему измерений, достойную его масштаба, учитывая при этом окружающие его обстоятельства. Знал я также, что он придворный и к

тому же смелый intrigant[101]. Такой человек, размышлял я, конечно, не может не знать обычных методов блюстителей закона. И, конечно, он не мог не предвидеть — события показали, что он действительно их предвидел, — совершенных на него нападений. Разумеется, он предусмотрел, размышлял я, тайные обыски в его комнатах. Частые ночные отлучки, которые так радовали префекта, вселяя в него надежду на успех, я считал всего лишь *уловками,* рассчитанными на то, чтобы дать полицейским возможность устроить тщательный обыск и тем скорее навести их на мысль, к которой Г. в конце концов и пришел, а именно, что письма в особняке нет. Я чувствовал, что вся цепь этих рассуждений, которые я так подробно сейчас вам излагаю и которых в своих поисках неизменно держатся блюстители закона, я чувствовал, что вся цепь этих рассуждений не могла не прийти в голову министру. Это неизбежно должно было привести к тому, что он с презрением отверг все обычные *«тайники».* У *него* хватит ума, размышлял я, заметить, что для префекта с его иглами, лупами и буравами самое хитроумное, самое потайное место в его особняке

---

[101] Сноски: 101
Интриган *(фр.).*

будет открыто, словно самый обычный шкаф. Словом, я видел, что ходом событий он вынужден будет искать спасения в *простоте,* даже если не склонится к нему одним уморассуждением. Вероятно, вы помните, как безудержно хохотал префект, когда при первом нашем свидании я предположил, что тайна эта, как ни странно, потому-то, возможно, и доставляет ему столько хлопот, что она так *необычайно* проста и очевидна?

— Как же, — сказал я, — помню, как он развеселился. Я думал, с ним судороги будут от смеха.

— Материальный мир, — продолжал Дюпен, — изобилует полнейшими аналогиями миру духовному; вот почему риторическая догма, что сравнение или метафора могут не только украсить описание, но и усилить доказательство, приобретает вид достоверности. Принцип vis inertiae[102], к примеру, видно, одинаков как в физике, так и в метафизике. Если в первой мы справедливо замечаем, что большее тело труднее привести в движение, чем меньшее, и что возникающий при этом momentum[103] соразме-

---

[102] Сноски: 102
Сила инерции *(лат.).*

[103] Сноски: 103
Импульс *(лат.).*

рен этой трудности, то не менее справедливо и то, что в последней интеллекты большей способности или силы, хоть они и более могучи, и постоянней, и значительней в своем движении, чем интеллекты дюжинные, все же сдвинуть труднее, и на первых порах они полны смущения и неуверенности. И вот еще — вы когда-нибудь замечали, какая из уличных вывесок более всего привлекает внимание?

— Никогда об этом не думал, — сказал я.

— Существует игра в загадки, — продолжал Дюпен, — в нее играют над картой. Одна сторона загадывает слово — название города, реки, государства или империи, — в общем, любое слово из тех, что напечатаны на пестрой и разнокалиберной поверхности карты, другая должна его отгадать. Новичок обычно старается сбить противников с толку, задумывая названия, напечатанные самым мелким шрифтом, но игрок опытный выбирает слова, которые крупными литерами тянутся через всю карту. Эти слова, так же как вывески и объявления, написанные слишком крупно, ускользают от нашего внимания именно потому, что они слишком на виду. Физическая слепота здесь в точности соответствует духовной, вследствие которой ум отказывается замечать то,

что слишком явно и очевидно. Но все это, разумеется, выше или ниже понимания префекта. Он ни разу не задумался над тем, что не исключено, а скорее даже — вполне возможно, что министр положил письмо прямо у всех под носом, полагая, что это наилучший способ помешать кое-кому его обнаружить.

Однако, чем больше я размышлял над блистательной, безрассудной, безоглядной изобретательностью Д., над тем, что документ, если он хочет им воспользоваться, должен всегда быть у него *под рукой,* и над результатами обыска, показавшими как нельзя яснее, что в обычной сфере поисков этого достойного чиновника письма не было, тем более я убеждался, что для того, чтобы спрятать письмо, министр прибегнул к простому и остроумному способу — он отказался от всяких попыток его спрятать.

Придя к этому выводу, я обзавелся зелеными очками и в одно прекрасное утро зашел — совершенно случайно, конечно, — в особняк к нашему министру. Я застал Д. дома, он зевал, скучал, слонялся по комнатам и, как всегда, уверял, что умирает от ennui[104]. Я не знаю человека энер-

[104] Сноски: 104
Скука *(фр.).*

гичнее, но таким он бывает, только когда никто его не видит.

Не желая ему уступить, я посетовал на слабость зрения и принялся оплакивать необходимость носить очки, под прикрытием которых меж тем я осторожно и внимательно осматривал кабинет, делая вид, что занят исключительно разговором со своим хозяином.

Особое внимание я обратил на огромный письменный стол, возле которого он сидел и на котором в беспорядке лежали всевозможные письма, бумаги, какие-то музыкальные инструменты и несколько книг. Но как я ни смотрел, я не обнаружил здесь ничего особенно подозрительного.

Наконец, в который раз окидывая взглядом комнату, я заметил картонное саше для визитных карточек с дешевой отделкой и грязной голубой лентой, которое небрежно болталось на бронзовой ручке чуть пониже каминной полки. В саше, в котором было три или четыре отделения, лежали пять-шесть карточек и одинокое письмо. Последнее было порядком захватано и измято. Оно было разорвано чуть не пополам, словно поначалу его хотели вовсе разорвать за ненадобностью, а потом передумали и бросили так. На

нем красовалась огромная черная печать с монограммой Д., адрес на нем был написан мелким женским почерком, к тому же и адресовано оно было Д., то есть самому министру. Его небрежно и даже, казалось, презрительно сунули в одно из верхних отделений саше.

Как только я увидел это письмо, я тотчас решил, что его-то я и ищу. Конечно, выглядело оно совсем иначе, чем то, подробное описание которого читал нам префект. На этом письме стояла огромная черная печать с монограммой Д., на том — небольшая красная с гербом герцога С. Адресовано это письмо было Д. мелким женским почерком, там же на конверте стояло имя некой августейшей особы, выведенное смело и размашисто; лишь размером они походили одно на другое. Но *нарочитость* этого контраста, которая была чрезмерной; грязь; захватанный, рваный вид, столь явно противоречащий *истинным* привычкам Д. к методичности и заставляющий предположить некий умысел; желание убедить в полной никчемности этого документа; все это, равно как и то, что лежал он на самом виду, будто для того, чтобы любой посетитель мог его видеть, что полностью отвечало выводам, к которым я пришел ранее, — все это, повторяю, весьма

способно было навести на подозрение того, кто явился сюда, весьма к подозрению склонным.

Я, как мог, затянул свой визит и, не прерывая оживленнейшей беседы с министром на тему, которая, как я знал, всегда его занимала и волновала, сосредоточил все свое внимание на письме. Хорошенько рассмотрев его, я постарался запомнить до мелочей его вид и положение и неожиданно сделал открытие, уничтожившее последние мои сомнения. Разглядывая края письма, я заметил, что они были *смяты* больше, чем, строго говоря, то было необходимо. Так выглядит плотная бумага, если ее сложить, прижав прессом, а потом развернуть и сложить по тем же сгибам в обратную сторону. Этого открытия было достаточно. Мне стало ясно, что письмо вывернули, словно перчатку, наизнанку, написав на нем новый адрес и заново запечатав. Я простился с министром и ушел, оставив на столе золотую табакерку.

На следующее утро я зашел за табакеркой, и мы с увлечением продолжили нашу беседу. В разгар нашего разговора прямо под окнами раздался громкий, словно из пистолета, выстрел, затем громкие крики и вопли перепуганной толпы. Д. кинулся к окну, распахнул его и выглянул нару-

жу. Я же подошел к саше, вынул письмо, положил его в карман, заменив его fac-similé[105] (внешнего вида, конечно), которое я заранее приготовил дома, весьма успешно воспроизведя монограмму Д. с помощью печатки из хлебного мякиша.

Волнение на улице вызвал какой-то безумец с мушкетом в руках. Окруженный женщинами и детьми, он вдруг решил из него выпалить. Впрочем, оказалось, что выстрел был холостым, и беднягу отпустили подобру-поздорову, сочтя безумным или пьянчугой. Когда он исчез за углом, Д. отвернулся от окна, где, заполучив необходимый мне предмет, стоял с ним рядом и я. Вскоре я с ним простился. (Мнимый безумец был моим человеком.)

— Но какую цель вы преследовали, — спросил я, — заменив письмо на fac-similé? Не лучше ли было открыто схватить его в первый же визит и уйти?

— Д., — ответил Дюпен, — человек отчаянный, его не испугаешь. К тому же было бы ошибкой полагать, что в особняке нет преданных ему людей. Сделай я такую безумную попытку, вряд ли мне удалось бы покинуть общество министра

---

[105] Сноски: 105
Точное воспроизведение документа *(фр.).*

живым. И мои милые парижане больше обо мне бы и не услышали. Но, помимо этих соображений, была у меня и некая цель. Вам известны мои политические склонности. В этом деле все мои симпатии были на стороне дамы. Полтора года министр держал ее в своей власти. Однако теперь роли переменились, ибо он, не подозревая о том, что письма у него больше нет, будет, конечно, как и прежде, ее шантажировать и тем вернее навлечет на себя полное политическое банкротство. Падение его будет не только молниеносным, но и весьма скандальным. Что бы ни говорили о facilis descensus Averni[106], но во всяком деле подыматься гораздо легче, чем опускаться, как говаривала, бывало, Каталани о пении. В настоящем случае у меня нет ни сочувствия, ни даже жалости — к тому, кто спускается. Он — monstrum horrendum[107], человек одаренный, но беспринципный. Признаюсь, правда, что мне было бы любопытно узнать, что именно он подумает, когда, встретив отпор со стороны той, кого префект величает «некой особой», прочтет наконец письмо, которое я оставил ему в саше.

---

[106] Сноски: 106
Легкости сошествия в преисподнюю *(лат.).*

[107] Сноски: 107
Страшное чудовище *(лат.).*

— Как? Разве вы что-нибудь там написали?

— Как вам сказать... Положить туда чистый лист бумаги мне казалось как-то неловко, — это было бы попросту оскорблением. Когда-то в Вене Д. сыграл со мной злую шутку, и я вполне благодушно сказал ему, что я ее не забуду. И вот, зная, что ему будет небезынтересно узнать, кто же его так провел, я решил, что обидно будет не дать ему хоть какого-то ключа. Он мой почерк хорошо знает — вот я и написал ему на чистом листе:

Un dessein si funeste,

S'il n'est digne d'Atrée, est digne de Thyeste[108]. Это из «Атрея» Кребийона.

1845

---

[108] Сноски: 108

Такой пагубный план достоин если не Атрея, то Фиеста *(фр.)*.

Овальный портрет[109]

Замок, в который мой камердинер осмелился вломиться, чтобы мне, пораженному тяжким недугом, не ночевать под открытым небом, являл собою одно из тех нагромождений уныния и пышности, что в жизни хмурятся среди Апеннин столь же часто, сколь и в воображении госпожи Радклиф. По всей видимости, его покинули ненадолго и совсем недавно. Мы расположились в одном из самых маленьких и наименее роскошных апартаментов. Он находился в отдаленной башне здания. Его богатое старинное убранство крайне обветшало. На обтянутых гобеленами стенах висело многочисленное и разнообразное оружие вкупе с необычно большим числом вдохновенных произведений живописи наших дней в золотых рамах, покрытых арабесками. К этим картинам, висевшим не только на стенах, но и в бесконечных уголках и нишах, неизбежных в здании столь причудливой архитектуры, я испытывал глубокий интерес, вызванный, быть может, начинающимся у меня жаром; так что я

---

[109] Сноски: 109

© Перевод. В. Рогов, наследник, 2016

попросил Педро закрыть тяжелые ставни — уже наступил вечер, — зажечь все свечи высокого канделябра в головах моей постели и распахнуть как можно шире обшитый бахромой полог из черного бархата. Я пожелал этого, чтобы отдаться если не сну, то хотя бы созерцанию картин и изучению томика, найденного на подушке и посвященного их разбору и описанию.

Долго, долго я читал — и пристально, пристально смотрел. Летели стремительные, блаженные часы, и настала глубокая полночь. Мне не нравилось, как стоит канделябр, и, с трудом протянув руку, чтобы не тревожить моего спящего камердинера, я поставил канделябр так, что свет лучше попадал на книгу.

Но это произвело совершенно неожиданное действие. Лучи бесчисленных свечей (их было очень много) осветили нишу комнаты, дотоле погруженную в глубокую тень, отбрасываемую одним из столбов балдахина. Поэтому я увидел ярко освещенной картину, ранее мною вовсе не замеченную. Это был портрет юной, только расцветающей девушки. Я быстро взглянул на портрет и закрыл глаза. Почему я так поступил, сначала неясно было и мне самому. Но пока мои веки оставались опущены, я мысленно отыскал

причину. Я хотел выиграть время для размышлений — удостовериться, что зрение меня не обмануло, — успокоить и подавить мою фантазию ради более трезвого и уверенного взгляда. Прошло всего несколько мгновений, и я вновь пристально посмотрел на картину.

Теперь я не мог и не хотел сомневаться, что вижу правильно, ибо первый луч, попавший на холст, как бы отогнал сонное оцепенение, овладевавшее моими чувствами, и разом возвратил меня к бодрствованию.

Портрет, как я уже сказал, изображал юную девушку. Это было всего лишь погрудное изображение, выполненное в так называемой *виньеточной* манере, во многом напоминающей стиль головок, любимый Салли. Руки, грудь и даже золотистые волосы неприметно растворялись в неясной, но глубокой тени, образующей фон. Рама была овальная, густо позолоченная, покрытая мавританским орнаментом. Как произведение искусства ничто не могло быть прекраснее этого портрета. Но ни его выполнение, ни нетленная красота изображенного облика не могли столь внезапно и сильно взволновать меня. Я никак не мог принять его в полудремоте и за живую женщину. Я сразу увидел, что особенности рисунка,

манера живописи, рама мгновенно заставили бы меня отвергнуть подобное предположение — не позволили бы мне поверить ему и на единый миг. Я пребывал в напряженном размышлении, быть может, целый час, полулежа и не отрывая взгляд от портрета. Наконец, постигнув истинный секрет произведенного эффекта, я откинулся на подушки. Картина заворожила меня абсолютным *жизнеподобием* выражения, которое вначале поразило меня, а затем вызвало смущение, подавленность и страх. С глубоким и трепетным благоговением я поставил канделябр на прежнее место. Не видя более того, что столь глубоко взволновало меня, я с нетерпением схватил томик, содержащий описания картин и их истории. Найдя номер, под которым числился овальный портрет, я прочитал следующие неясные и странные слова:

«Она была дева редчайшей красоты, и веселость ее равнялась ее очарованию. И отмечен злым роком был час, когда она увидела живописца и полюбила его и стала его женою. Он, одержимый, упорный, суровый, уже был обручен — с Живописью; она, дева редчайшей красоты, чья веселость равнялась ее очарованию, вся — свет, вся — улыбка, шаловливая, как молодая лань, ненавидела

одну лишь Живопись, свою соперницу; боялась только палитры, кистей и прочих властных орудий, лишавших ее созерцания своего возлюбленного. И она испытала ужас, услышав, как живописец выразил желание написать портрет своей молодой жены. Но она была кротка и послушлива и много недель сидела в высокой башне, где только сверху сочился свет на бледный холст. Но он, живописец, был упоен трудом своим, что длился из часа в час, изо дня в день. И он, одержимый, необузданный, угрюмый, предался своим мечтам; и он не мог видеть, что от жуткого света в одинокой башне таяли душевные силы и здоровье его молодой жены; она увядала, и это замечали все, кроме него. Но она все улыбалась и улыбалась, не жалуясь, ибо видела, что живописец (всюду прославленный) черпал в труде своем жгучее упоение, и работал днем и ночью, дабы запечатлеть ту, что так любила его и все же с каждым днем делалась удрученнее и слабее. И вправду, некоторые, видевшие портрет, шепотом говорили о сходстве, как о великом чуде, свидетельстве и дара живописца и его глубокой любви к той, кого он изобразил с таким непревзойденным искусством. Но наконец, когда труд близился к завершению, в башню перестали допускать

посторонних; ибо в пылу труда живописец впал в исступление и редко отводил взор от холста даже для того, чтобы взглянуть на жену. И он *не желал* видеть, что оттенки, наносимые на холст, отнимались у ланит сидевшей рядом с ним. И, когда миновали многие недели и оставалось только положить один мазок на уста и один полутон на зрачок, дух красавицы снова вспыхнул, как пламя в светильнике. И тогда кисть коснулась холста, и полутон был положен; и на один лишь миг живописец застыл, завороженный своим созданием; но в следующий, все еще не отрываясь от холста, он затрепетал, страшно побледнел и, воскликнув громким голосом: «Да это воистину сама *Жизнь!*», — внезапно повернулся к своей возлюбленной: — *Она была мертва!*»

1842